

Май 20
ГЕК

СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ
ГРУСТНАЯ ЖИЗНЬ

Лев Дуров

*Мой 20
век*

ЛЕВ ДУРОВ

**СМЕШНАЯ
ГРУСТНАЯ ЖИЗНЬ**



ВАГРИУС

**ЛЕВ
ДУРОВ**

**СМЕШНАЯ
ГРУСТНАЯ ЖИЗНЬ**

ГРЕШНЫЕ ЗАПИСКИ

МОСКВА • ВАГРИУС

УДК 882-94
ББК 84(2Рос=Рус)6
Д84

Серия основана в 1995 году

Послесловие Владимира Качана и Владимира Ершова
Дизайн серии Евгения Вельчинского

В книге использованы фотографии из личного архива автора, в том числе — фотографов Н.Аловерт, В.Баженова, И.Гневашева, М.Гутермана, В.Зайковского, А.Калининой, С.Петрухина, В.Плотникова, А.Типольга

Дуров Л.К.

Д84 Смешная грустная жизнь: Грешные записки / Лев Дуров; послесл. В.Ершова, В.Качана. — М.: Вагриус, 2008. — 304 с.; ил.

ISBN 978-5-9697-0661-3

В книге воспоминаний народный артист СССР Лев Дуров рассказывает о наиболее интересных, подчас курьезных эпизодах своей жизни: трагизм положений здесь переплетен с юмором, буффонада — с анекдотом... Среди героев «Смешной грустной жизни» — Анатолий Эфрос, Юрий Никулин, Наталья Дурова, Виктор Астафьев, Юлиан Семенов, Алексей Баталов, Армен Джигарханян, Александр Ширвиндт, Михаил Державин и множество других весьма ярких, колоритных личностей — друзей и коллег знаменитого артиста.

УДК 882-94
ББК 84(2Рос=Рус)6

Запрещается полное или частичное использование и воспроизведение текста и иллюстраций в любых формах без письменного разрешения праволадельца

ISBN 978-5-9697-0661-3

© Дуров Л.К., 2008
© Ершов В., Качан В., послесловие, 2008
© Оформление. ЗАО «Вагриус», 2008

ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛИ!

«Аще где в книге сей грубостию моею пропись или небрежением писано, молю вас: не зазрите моему окаянству, не клените, но поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело исполнен неведения».

Вот так древнерусские книжники заранее оправдывались перед будущими читателями за свое «окаянство». Лучше не придумаешь! На Руси никогда лежачих не били. Поэтому я, не мудрствуя лукаво, решил использовать эту спасительную для автора форму как свою собственную. Имею на это абсолютное право, потому как полностью с ней согласен. На любое возражение готов ответить своим гениальным одностишием: «Я негодяй, но вас предупреждали!»

Впрочем, о стихах потом. Сначала о прозе. Сейчас все пишут. Даже те, кто вообще не умеет писать и давно уже успел забыть, где ставить подлежащее, а где — сказуемое. Я тоже не уверен, что сохранил в своей памяти такие мелочи из школьной программы. Поэтому постоянно напоминаю об этом всем, кто надоел мне одним и тем же вопросом: «Ты пишешь книгу? Ты пишешь книгу?»

Ребята, говорю, я не умею писать! Я не писатель! Я — актер, и мне нравится моя профессия. Что вам еще от меня надо? Я даже не каждую роль и сыграть-то могу. Не могу же я, к примеру, сыграть Джульетту. Хотя, уверен, появись театральная афиша, где черным по белому было бы написано: «Джульетта — Лев Дуров», народ бы валом повалил на спектакль! В проходах бы места не осталось.

Но это уже был бы цирк. Совсем другая история...

— Послушай, скромник, а как же быть с теми рассказами, которые ты написал и которые напечатали аж в Америке?!

Черт меня дернул написать эти рассказы! Действительно, я как-то сгоряча написал несколько небольших рассказов и баек и просил воспринимать их не как нечто поучительно-назидательное, а просто как забавные истории, свидетелем или участником которых оказался. Когда я был в Америке, ребята из роскошного русскоязычного «Королевского журнала» попросили их у меня, и я им не отказал. А в Прибалтике у меня попросили что-нибудь для книги «Актеры пишут». И им я не отказал. Вскоре они мне и гранки прислали.

Нет, с этими рассказами одна морока!

— Ребята, — говорю я доброхотам, которые услужливо подсовывают мне авторучку, — после этих рассказов Виктор Астафьев вообще запретил мне писать!

— Почему?

— А потому!

Случилось так, что дал я эти гранки художнику-фронтовику Евгению Капустину, а тот в свою очередь решил поделиться драгоценным приобретением с Виктором Петровичем Астафьевым, который улетал к себе на родину, в Красноярск. Проходит какое-то время, звонит мне Виктор Петрович из Красноярска и хохочет.

— Тут, — говорит, — Капустин дал мне на дорожку твои рассказы, мы читали их и так хохотали, что чуть самолет не перевернули. — Потом поутих немного и добавил: — А ты никогда больше не пиши: графоманов и без тебя хватает.

Когда я рассказал Капустину об этом телефонном звонке, он успокоил меня:

— Это Петрович от зависти. А ты пиши, пиши.

Не скрою, меня это взбодрило. Не настолько, конечно, чтобы сразу же приняться за сочинение эпопеи наподобие «Войны и мира», но, как сказал поэт: «всё же, всё же, всё же...»

А тут еще лукавый ввел меня в соблазн поэтического творчества. Схлестнулся я как-то в Доме журналистов с В. Вишневским, который пишет потрясающие одностишия, и так, без обиды, по-товарищески говорю:

— А я тоже могу!

А он мне:

— Ой-ой-ой!

— Ну давай, — говорю, — любую тему.

— Ну, война, — предлагает он мне.

— Пожалуйста, — говорю. — «Я вскинул автомат, а он быстрее», «Схватился за наган и тут же вспомнил», «Война: добыча цинка возрастает». Хватит или еще?

— Да-а...

Чувствую, начинает относиться ко мне более серьезно.

— А про правительство можешь? — спрашивает.

— Пожалуйста: «Уж раз вы президент, так воздержитесь».

— Ну, а про себя?

— Пожалуйста: «Никто ко мне не ходит на могилу», «Я негодяй, но вас предупреждали!»

— Да ты и правда негодяй! Можно, я твои напечатаю как свои?

— Валяй!

Совсем не собирался срывать с головы гения лавровый венок. Меня вполне устраивает собственный головной убор: он хотя бы не бросается прохожим в глаза. Просто после моральной поддержки художника и признания поэтом моего поэтического дарования я в полной мере осознал всю справедливость народной мудрости «не боги горшки обжигают».

«Господи, — мысленно обратился я к Всевышнему, — укрепи и наставь меня на новом пути, по которому я пошел не из-за гордыни, которая мне глубоко чужда, а токмо из искреннего желания освободить своих товарищей от вопроса, который, чаю, надоел и им самим: “Ты пишешь книгу? Ты пишешь книгу?”»

Вот, написал. И «не зазрите моему окаянству», ибо «вас предупреждали».

ЛЕФОРТОВО

Вряд ли имя швейцарца Франца Яковлевича Лефорта осталось бы в памяти москвичей, если б не слобода на левом берегу Яузы, где стоял триста лет назад полк этого сподвижника Петра Великого. Она так и называлась: Лефортская слобода. А уж потом этот исторический район стали называть совсем просто: Лефортово. Вот там и прошло мое детство на 2-й Бауманской улице, старое название которой было не совсем благозвучным: Коровий брод.

Боже мой, в какую же даль завела меня память — на целых три века назад! Но что мне швейцарец Франц Яковлевич, если, отбросив еще страницу истории, длиною в век, я увижу своего предка, выборного дворянина из города Романова, который участвовал в избрании царя Михаила Федоровича — дедушки Петра Великого. Это уже 1613 год. Как сказано в Общем Гербовике Российской империи, «фамилии Дуровых многие служили Российскому престолу дворянские службы и жалованы были от государей в 1629 и других годах поместьями».

Но об этом, конечно, в пору моего сопливого детства я и понятия не имел. Наверное, тогда так и надо было: меньше знаешь, дольше проживешь. Это сейчас все рвутся в дворяне, потому как нет никакого риска — никто тебя не назовет «недорезанным буржум» и не попытается дорезать или донести куда следует, чтобы приняли меры к искоренению.

Недавно ко мне в театр приходит один господин и спрашивает:

— Лев Константинович, а почему бы вам не вступить в наше Дворянское собрание?

И тогда я ему сказал:

— Если уж ты собираешь под свои знамена всех прохожих, так перелистай сперва Гербовик или хотя бы загляни в него.

Его шестую часть занимает родословная потомственных дворян Дуровых. Тогда бы не было тебе нужды задавать мне глупые вопросы.

Не обошел своим вниманием моего далекого предка и Александр Сергеевич Пушкин. Не только не обошел, но даже посвятил ему целых две страницы. Итак, слово нашему Гению:

О ДУРОВЕ

Дуров — брат той Дуровой, которая в 1807 году вошла в военную службу, заслужила Георгиевский крест и теперь издает свои записки. Брат в своем роде не уступает в странности сестре. Я познакомился с ним на Кавказе в 1829 г., возвращаясь из Арзрума. Он лечился от какой-то удивительной болезни, вроде каталепсии, и играл с утра до ночи в карты. Наконец он проигрался, и я довез его до Москвы в своей коляске. Дуров помешан был на одном пункте: ему непременно хотелось иметь сто тысяч рублей. Всевозможные способы достать их были им придуманы и передуманы. Иногда ночью в дороге он будил меня вопросом: «Александр Сергеевич! Александр Сергеевич! как бы, думаете вы, достать мне сто тысяч?» Однажды сказал я ему, что на его месте, если уж сто тысяч были необходимы для моего спокойствия и благополучия, то я бы их украл. «Я об этом думал», — отвечал мне Дуров. «Ну что ж?» — «Мудрено; не у всякого в кармане можно найти сто тысяч, а зарезать или обокрасть человека за безделицу не хочу: у меня есть совесть». — «Ну, так украдите полковую казну». — «Я об этом думал». — «Что же?» — «Это можно бы сделать летом, когда полк в лагере, а фура с казною стоит у палатки полкового командира. Можно накинуть на дышло длинную веревку и припрячь издали лошадь, а там на ней и ускакать; часовой, увидя, что фура скачет без лошадей, вероятно, напугается и не будет знать, что делать; в двух или трех верстах можно будет разбить фуру, а с казною бежать. Но тут много также неудобства. Не знаете ли вы иного способа?» — «Просите денег у государя». — «Я об этом думал». — «Что же?» — «Я даже и просил». — «Как! безо всякого права?» — «Я с того и начал: ваше величество! я никакого права не имею просить у вас то, что составило бы счастье моей жизни; но, ваше величество, на милость образца нет, и так далее». — «Что же вам отвеча-

ли?» — «Ничего». — «Это удивительно. Вы бы обратились к Ротшильду». — «Я об этом думал». — «Что ж, за чем дело стало?» — «Да видите ли: один способ выманить у Ротшильда сто тысяч — было бы так странно и так забавно написать ему просьбу, чтоб ему было весело, потом рассказать анекдот, который стоил бы ста тысяч. Но сколько трудностей!..» Словом, нельзя было придумать несообразности и нелепости, о которой бы Дуров уже не подумал. Последний прожект его был выманить деньги у англичан, подстрекнув их народное честолюбие и в надежде на их любовь к странностям. Он хотел обратиться к ним с следующим *speech*: «Г.г. англичане! я бился об заклад об 10 000 рублей, что вы не откажете мне дать взаймы 100 000. Г.г. англичане! избавьте меня от проигрыша, на который навязался я в надежде на ваше всему миру известное великодушие». Дуров просил меня похлопотать об этом в Петербурге через английского посланника, а свой прожект высказал мне не иначе, как взяв с меня честное слово не воспользоваться им. Он готов был всегда биться об заклад, и о чем бы то ни было. Говорили ли о женщине, — «хотите со мной биться об заклад, — прерывал Дуров, — что через три дня я буду ее иметь?» Стреляли ли в цель из пистолета, — Дуров предлагал стать в 25 шагах и бился о 1 000 р., что вы в него не попадете. Страсть его к женщинам была также очень замечательна. Бывши городничим в Елабуге, влюбился он в одну рыжую бабу, осужденную к кнуту, в ту самую минуту, когда она была уже привязана к столбу, а он по должности своей присутствовал при ее казни. Он шепнул палачу, чтоб он ее поберег и не трогал ее прелестей, белых и жирных, что и было исполнено; после чего Дуров жил несколько дней с прекрасной каторжницей. Недавно получил я от него письмо; он пишет мне: «История моя коротка: я женился, а денег все нет». Я отвечал ему: «Жалею, что из 100 000 способов достать 100 000 рублей ни один еще, видно, вам не удался».

8 октября 1835

Множество историй связано с моими дедами — Анатолием и Владимиром Дуровыми. Постараюсь быть поскромнее и приведу лишь один «анекдот», касающийся взаимоотношений Анатолия Леонидовича и, как сейчас говорят, СМИ.

Надо сказать, что мой предок, гастролируя со своими животными по разным городам России, часто вступал в кон-

фликт с местными властями за свои слишком смелые шутки в их адрес.

В Москве у него случилось «недоразумение» с одной из газет. Вот как рассказывает об этом Инкогнито:

«Началось оно с пустяков.

Сын редактора, веселого нрава молодой человек, задумал однажды над ним посмеяться.

В то время когда Дуров стоял у входа на арену, приготавливаясь к своему номеру, он с насмешливой улыбкой подошел к нему, окруженный приятелями-пшютами, и спросил:

— Пользуетесь успехом, господин клоун?

— Как видите.

— А правда ли, скажите, пожалуйста, чтобы пользоваться на цирковой арене успехом, нужно иметь непременно глупую физиономию?

— Правда, — ответил Дуров без смущения. Компания захохотала. Победа юного остряка казалась очевидной, но каково было их поражение, когда Дуров после минутной паузы, доставив им удовольствие досыта насмеяться, прибавил:

— И если бы я обладал такой физиономией, как ваша, мой успех был бы еще обеспеченнее.

Компания замолкла и поспешила исчезнуть.

Однако это для Дурова не прошло даром. На следующий же день в газете папеньки-редактора появилась рецензия, наполненная энергичными выражениями. Дурова разносили вовсю. Чего только не было сказано по его адресу! И бездарность-то он, и нахал, и грубиян... В продолжение двух месяцев шла эта систематическая травля, потешавшая, в конце концов, одного только владельца газеты, так как для публики был слишком заметен пристрастный тон этих репортерских заметок, развенчивающих его в ничто. Дуров долгое время терпел несправедливые нападки, но наконец не выдержал своего угнетения и показал зубы.

В один прекрасный вечер, когда “сам” редактор сидел в одной из ближайших к барьеру лож и с презрительной миной смотрел на его упражнения, Дуров выпустил на арену свою чушку и заставил незаметно для публики стать передними ногами на барьер как раз против старого редактора. Потом стал отзывать ее, но так, что она не трогалась с места:

— Чушка! Чушка! Назад! Иди сюда! — Она оставалась неподвижной.

— Иди же, говорю я тебе! Не хочешь? — То же самое.

— А, понимаю! Старых знакомых увидала! На своих насмотреться не можешь!

Публика поняла этот вопль огорченной души и без умолка хохотала над его рискованной проделкой, которая повлекла за собою появление на другой день громовой статьи.

Травля усилилась. Для этой газеты Дуров сделался чуть ли не единственной злобой дня.

Дуров начал полемизировать с арены.

Так к своему бенефису он приготовил злую шутку над враждебной газетой. Он знал, что ее владелец непременно посетит его торжество, чтобы иметь возможность лишний раз поиздеваться над ним, и поэтому не в счет программы придумал он “свинью-читательницу”.

Разгуливавшей на арене чушке он вынес целую кипу разных газет. Она уселась в свое кресло, а Дуров стал подносить ей одну за другой газеты. Она с негодованием отворачивалась от них и презрительно хрюкала.

— Ишь ты, — заметил клоун, — она не всякую газету любит, а ищет свою... Ищи, ищи! Интересно посмотреть на вашу свинскую газету...

Сначала зрители думали, что свинья вообще не терпит гласности, но к ее глазам Дуров приблизил то издание, в котором не выносили хладнокровно его имени, она радостно захрюкала, завертела хвостом и, уткнувшись носом в газету, с визгом заводила им по строкам.

Клоун отомстил. Это был последний залп полемической перестрелки. Газета стала его замалчивать, а он о ней никогда не вспомнил».

Я не искал встреч со своими именитыми родственниками, не напрашивался к ним ни в братья, ни в племянники. Если уж говорить честно, я с ними познакомился довольно поздно и по чистой случайности.

Конечно, я с молодых ногтей знал, что принадлежу к известной цирковой династии: отец же — Дуров. Когда я был еще маленький, в семье что-то говорили о цирке, но я не очень-то обращал внимание на эти разговоры. Мои родители не имели

к искусству никакого отношения: мама работала в военно-историческом архиве, отец — во «Взрывпроме», где занимался мирными взрывами.

И вот однажды играю в пинг-понг в доме отдыха. Подходит высокий стройный красавец и говорит:

— Здорово, брат!

Я думал, что он шутит, и отвечаю так же шутя:

— Здорово, брат.

А он мне:

— Лёва, да я на самом деле твой брат!

Оказалось, это Пров Садовский. А со знаменитой артистической династией Садовских Дуровы в родственных отношениях: дочь Владимира Леонидовича Дурова, стало быть, моя тетушка Анна, когда вышла замуж за артиста Малого театра Прова Михайловича, стала носить фамилию Дурова-Садовская.

Конечно, Прова как актера я не мог не знать, но никогда даже не предполагал, что он мой брат.

А с Натальей Юрьевной мы познакомились при довольно интересных обстоятельствах. Я пришел в Верховный Совет РСФСР получать звание народного артиста. И вдруг подходит ко мне красивая женщина и неподражаемо приятным голосом говорит:

— Вот, брат, какой у нашей династии сегодня большой праздник...

Она в роскошном платье, но я улавливаю не только аромат дорогих духов, но и запах зверей. И тут я сообразил, что это та самая Наталья Дурова, которую я видел по телевизору. С этой минуты мы стали с ней друзьями.

Чуть позже я познакомился еще с одной сестрой — Терезой Васильевной, обаятельной и отважной женщиной, которая прекрасно работала на манеже.

Как ни странно, не знаю почему, но часто между цирковыми артистами не бывает такой однонастийной дружбы. Ведь не секрет, что наши деды, великие клоуны Анатолий и Владимир, не слишком-то жаловали друг друга.

Я иногда задаю сам себе вопрос: почему выбрал театр, а не цирк? Видно, это тот случай, когда, не находя ответа, пытаешься все объяснить одним, ничего не проясняющим словом: судьба. А если серьезно, то, наверное, просто никто не позвал

в нужный момент. Если бы кто-то поманил пальцем, я наверняка оказался бы в цирке. Может быть, даже униформистом — кто знает! Эта пресловутая судьба могла сложиться по-разному. Я ведь знаю: цирк — зараза такая же, как театр, и даже страшнее. Кто попадает в цирк, оттуда уже не уходит. А если уходит, то по каким-то трагическим обстоятельствам. Даже из одного жанра в другой переходят. Акробаты часто становятся иллюзионистами: физически уже трудно работать, а цирк они покинуть не могут. И на пенсию уходить не хотят. Их можно понять: с цирком очень трудно расстаться.

У меня с цирковыми отношения складываются мгновенно. Вот только увидел человека: бац — и готово, и я уже влюбляюсь в него, и дружба навек. Наверное, бродят во мне эти цирковые гены, будоражат кровь и время от времени дают о себе знать.

Почему меня тянет к цирку? Почему моим любимым другом был Юрий Никулин? Почему мне постоянно хотелось заехать к Наташе в «Уголок», просто посидеть там с ней, с ее помощниками? Чтобы тебя собачка укусила за ногу или попугай на голову накакал. Все это неосознанно приятно...

Я цирк просто обожаю. Мне там все нравится, начиная с запаха. Вот этот запах пота, опилок, навоза, зверей — он ни с чем не сравним. В театре совершенно другой запах. Кроме Театра зверей, конечно. Люблю побродить за кулисами цирка, и, так как я — Дуров, меня не гонят. Люблю смотреть, как разминаются акробаты, как отдыхают в своих клетках звери.

Очень люблю коверных. Мне кажется, что если б я этим занимался, то был бы неплохим коверным. Как-то я выразил эту мысль Юрию Владимировичу Никулину, и он поддержал меня:

— Да, — сказал он, — ты был бы хорошим коверным.

Но все это, как нынче говорят, в порядке бреда и предположений. Актер в цирке очень сильно отличается от актера в театре. Совсем другие и эстетические требования, и законы жанра.

Банальные слова, но цирк действительно поистине народное зрелище. Я обратил внимание, как иностранцы рвутся именно в цирк. И вот, смотришь, сидит рядом и московская интеллигенция, и нью-йоркская, и лондонская. И тут же сидят рабочие, люди из провинции, крестьяне, детишки. И почти все получают одинаковое удовольствие.

Ну, может быть, я как профессионал улавливаю в репризах чуть больше, чем неискушенный зритель: ведь все эти нюансы реприз и есть украшение действия. А кто-то смотрит просто широко раскрытыми глазами. Детскими глазами. Наверное, так и надо смотреть — наивно-доверчивым взглядом. Впрочем, уже не всегда получается видеть искусство детскими глазами...

Если говорить серьезно, то я думаю, что изначальные истоки театра следует искать в цирке. Когда-то, в незапамятные времена, на городской площади появлялся акробат и удивлял окружающую его толпу незамысловатыми гимнастическими упражнениями. Потом появились мимы, их сменили мистерии, а уж из мистерий, скорее всего, и родился театр Древней Греции. И все эти огромные греческие театры были построены, наверное, гораздо позже того, как на площадь вышел первый акробат.

Я заметил, что, если на сцене удается соединить трагизм с эксцентрикой, происходит эмоциональный разряд огромной мощи. Поэтому я часто использую в своих спектаклях цирковые элементы. У меня вот, скажем, в спектакле «Весельчаки» по Нилу Саймону работали акробаты братья Воронины. В спектакле «А все-таки она вертится» и живые собаки бегали, и в руке актера огненный шар загорался, и НЛО летали. Мечтаю поставить спектакль с элементами цирка и эксцентрики. Надеюсь на помощь Никулина, который мог бы подсказать мне какие-нибудь оригинальные трюки, остроумные репризы. Но, увы, уже и Юрия Владимировича не стало, а я все вынашиваю свою мечту...

Как бы там ни было, эту мечту я все же претворю в жизнь. К этому меня обязывает почетное звание Трагический клоун. Да-да, есть у меня среди прочих и такое вот звание. И присвоили мне его не партия и не правительство — его я получил в Англии.

На Эдинбургский фестиваль в 1978 году мы привезли «Женитьбу» Гоголя, которую поставил А.В.Эфрос. И меня там в одной газетной рецензии назвали — всякие лестные эпитеты были, но бог с ними, — «трагическим клоуном». Это стало для меня высшей наградой. Подумал тогда: «О, как замечательно, если это действительно так. И не нужно мне никакого другого звания». Автор рецензии писал, что спектакль

стоит посмотреть хотя бы из-за того, что в нем занят «трагический клоун Лев Дуров».

Я считаю Чарли Чаплина гением в нашем деле. Ведь кто он такой? Трагический клоун! Я, конечно же, не могу, да и не хочу, сравнивать себя с Чаплином. Но если меня назвали так, значит, чего-то я стою. Повторяю: это для меня самое почетное звание — Трагический клоун.

Однако вернемся в Лефортово. В его военные годы. Все, что было до войны, не представляло для меня ничего значительного и былшем поросло. Так — детский лепет с манной кашей пополам. С войной детство как-то сразу оборвалось, и наступила пора взросления. Появились новые слова, новые понятия. Рухнул привычный уклад спокойной, размеренной жизни, и она стала угловатой, колючей, жестокой. К ней нужно было привыкать, и чем быстрее, тем лучше — для выживания. Детские игры сменили взрослые обязанности.

Немцы были где-то рядом. Их авиация сбрасывала на Москву фугасы, зажигалки. Но живых немцев, чтобы вот так — лицом к лицу, никто из нас еще не видел. Фашисты для меня были абстрактным понятием. Плакатные карикатуры на них вывешивали в «Окнах ТАСС», показывали, опять же в шаржированном виде, в кинобоевиках и художественных фильмах — придурочных, беспомощных, трусливых, которых полковой повар Антоша Рыбкин крушил своей поварешкой десятками.

А между тем эти «придурочные» стояли уже у ворот Москвы, и судьба ее висела на волоске. Вообще-то несоответствие действительности и вымысла присуще комедийным жанрам, но тогда москвичам было вовсе не до смеха. И не только москвичам.

И вот я увидел живого немца.

«МОЙ НЕМЕЦ»

...Пасява, Вовка-Сопля и я лезли на крышу нашего Лефортовского дворца по бесконечной пожарной лестнице. Но вот и крыша. Теперь надо осторожно ступать там, где кровельные листы плотно прилегают к перекрытиям, чтобы не наделать шума. Если услышат внизу, во дворе, не миновать хая:

— Куда вас черти занесли?! Слазь сейчас же!

Нам этого не нужно. На четвереньках подползли к трубе и сели, прижавшись к ней спинами... Рядом заманчиво зияет чердачное окно. На чердаке, конечно, интересно, но мы туда не лазали. Как-то по нашему двору водили экскурсию, и черт дернул экскурсовода рассказать легенду о том, как умер Франц Лефорт и что за этим последовало.

А умер он в самый разгар бала. Встал с бокалом в руке, чтобы сказать что-то веселое, потому что улыбался и был счастлив, но вдруг рухнул навзничь и испустил дух. А было ему в ту пору немногим за сорок. И вот после его кончины на чердаке дворца целую неделю стоял странный и непонятный гул. Суеверные обитатели дворца в ужасе бросились вон. Но царь Петр, будучи мужиком крутым и безбоязненным, приказал всем вернуться. А чтобы не сеяли панику, велел для примера кое-кого высесть. Высесть, конечно, высекли, но гул-то от этого не прекратился.

Мы не лазали на этот чертов чердак. Нет, не потому, что трусили, а просто ни у кого не было фонарика. А чего же лезть в черную паутинную пустоту, если ничего не увидишь!

Мы сидели у трубы и ждали. Скоро должен был начаться налет. Немцы прилетали с какой-то идиотской пунктуальной точностью. И начинали сыпать зажигалки. Это такие аккуратные бомбочки весом в один килограмм — длинные дюралевые тупорылые цилиндрики с зеленым стабилизатором. Сыпали их как горох — тысячами. Стукнется она тупым своим рыльцем и начинает разбрызгивать во все стороны, как новогодний бенгальский огонь, жидкое белое пламя. И все, что может гореть, — горит. А пожар — это страшная вещь. Как нам объяснили, пожары деморализуют население. Мы понимали значение этого заковыристого слова, но правильно произнести его никто из нас не мог.

Так вот, за этими бомбочками мы и охотились. Только услышишь удар по крыше — бегом туда. Заходишь со стороны стабилизатора, берешь рукой — и в ящик с песком. Она еще немного пофыркает, повоняет и умрет. И это твой трофей. Больше всего бомб было у Вовки-Сопли — семнадцать. И мы ему завидовали. Он был длинноногий и ухитрялся прискакать к бомбе быстрее всех. Зато у него был на-сморг.

Так мы сидели и молча ждали. А внизу тощий кот, звали его красиво — Грот, черный, с оторванным ухом, прижимаясь к земле и поруливая хвостом, крался к воробьиной стайке. Голубей к тому времени в Москве уже не было — их съели. Вдруг воробьи с громким вспорхом метнулись в сторону и улетели. Грот поднялся и долго тупо смотрел на то место, где только что копошилась стайка.

Мы тихо засмеялись. И в это время из-за дома неожиданно вынырнул самолет. Он летел, почти касаясь крыш выпущенными шасси. Немец! Со всеми своими крестами! Он летел очень медленно. Было отчетливо видно круговое вращение пропеллера. Самолет приближался; и вот он уже совсем рядом. И тут я увидел пилота. Он повернул голову в нашу сторону и встретился со мной взглядом. У него было длинное красивое лицо. И он вдруг весело улыбнулся и подмигнул мне левым глазом. Я почувствовал, как мое лицо стало багроветь и раздуваться. В виске что-то сильно стукнуло, и голову пронзила резкая боль.

Я уже испытал такое однажды. Ехал из школы на подножке трамвая, а рядом стоял подвыпивший мужик. Я старался его придержать, чтобы он не свалился. Он улыбался. А когда сошли на остановке, он неожиданно фальшиво выкрикнул:

— По карманам лазишь, гаденыш?! — И наотмашь ударил меня по лицу.

А вокруг молча стояли и смотрели люди. По-моему, они всё видели и всё понимали, но никто не сказал ни слова. Никто даже не двинулся с места. Мужик повернулся и пьяной разбитной походочкой пошел прочь.

И тогда со мной случилось это. Я долго шел за мужиком, ничего не соображая. Шел, и всё. Глядя в его квадратный затылок. Его счастье и мое, конечно, что не попался по дороге булыжник или какая-нибудь железяка. В конце концов я остановился и сильно выдохнул. Наверное, устал от напряжения. Зашел в какой-то пустой двор и долго плакал в углу.

Когда я увидел улыбающееся лицо немецкого пилота, со мной произошло то же самое. А самолет стал набирать высоту, потом завис на мгновение и, накренившись, рванул вниз.

— Пи-ки-ру-ет! — заорал Пасява. — На госпиталь!

Раздался страшный грохот, зазвенели стекла, нас горячей волной прижало к трубе. И наступила гнетущая тишина, ко-

торую, впрочем, тут же разорвал истошный вопль коменданта.

— Черти! Куда вас занесло! — орал он снизу. — Дуров, это ты там? Слезайте все! Шкуру с задниц спускать буду!

Но все обошлось, и «тылы» наши остались в неприкосновенности. Немец промазал. Бомбы попадали в Язу и заделали только парапёт набережной. Правда, одна бомба все же упала во двор госпиталя, но, к счастью, осколки никого не заделали.

А у меня появились неприятные сны. Сначала — голодный. Издалека на меня летит огромная краюха хлеба, летит с ужасным гулом, а вокруг нее, как спутник вокруг Земли, вращается расписная деревянная ложка. Я вздрагиваю и просыпаюсь. В холодном поту, конечно. Этот сон снился мне так часто, что чуть не доконал меня.

Теперь к этому сну добавился еще один — «мой немец». Крутится пропеллер, все быстрее и быстрее, и выплывает лицо немецкого летчика — длинное и красивое. Он улыбается и подмигивает мне левым глазом. В висках у меня начинает стучать. Я просыпаюсь и чувствую, как лицо мое пылает от беспомощности, злобы и стыда. И этот сон стал мучить меня каждую ночь. Как я его ненавижу — «моего немца»!

Потом, года три спустя, то ли в газетах было сообщение, то ли слух прошел (а в Москве, как известно, слухам надо верить), но всем вдруг стало известно, что по улице Горького и Садовому кольцу с вокзала на вокзал проведут колонну военнопленных в двадцать три тысячи человек.

Такое пропустить было нельзя. И рано утром мы двинулись из Лефортова в путь: Пасява, Вовка-Сопля и я. На Садовом было не пробиться, и мы сразу же потеряли друг друга. Протискиваясь сквозь толпу, я искал место поудобнее и повыше. И тут мне кто-то положил на макушку тяжелую руку.

— Швейк, а Швейк, как жизнь?

Я обернулся и сначала увидел «иконостас». Тут было все: пять нашивок за ранения, две из которых золотые — за тяжелые, две «Отечественных войны», «Красная Звезда», две «Славы» и «За отвагу». Выше — старшинские погоны, а еще выше — незнакомое курносое веселое лицо. Из-под фуражки — лихой чуб.

— Как жизнь, спрашиваю, Швейк?

— Гут, — ответил я. — Зер гут. А Гитлер — капут.

— Ну ты даешь! Лезь сюда! — И он сильной рукой зашвырнул меня на столб от ворот.

Ворота и заборы в Москве все сожгли, а вот столбов не тронули; наверное, чувствовали, что им еще служить да служить.

— Ну как там? Как НП?

— Хорошо!

— Ну и сиди, Швейк, докладывай!

Стало тихо. И вдруг издалека возник и стал нарастать какой-то странный незнакомый звук. Даже не звук, а какое-то созвучие. И показалась первая колонна. Впереди шли генералы и старшие офицеры в длинных плащах и темных очках. Они шли, глядя прямо перед собой. А за ними длинной серо-зелено-голубой лентой потянулась немецкая армия. Солдаты, обвешанные опаленными на кострах котелками, как-то неуверенно и жалко громыхали толстыми подошвами по мостовой. Этот грохот сливался в один монотонный печальный звук. И на этом шумовом фоне гордо и уверенно ступал подкованными сапогами конвой да звонко цокали копыта лошадей, на которых с обнаженными шашками чуть небрежно сидели казаки. А немцы всё шли и шли...

И вдруг в виске у меня что-то резко стукнуло. Да, точно! Крайний в третьем ряду — он! «Мой немец»! Я впился в него глазами. Видно, он почувствовал это и повернул голову в мою сторону. Наши взгляды встретились. Я ждал... Длинное красивое лицо. Неужели он сейчас... Я ждал... Нет — он не улыбнулся! Отвернулся и опустил голову. И тогда я заорал:

— Ты, ты!.. Что же ты не улыбаешься? А?! Что же не подмигнешь?!

Он не обернулся. Его колонну сменила другая. Они прошли все.

— Прыгай!

Я свалился вниз, опершись на сильную руку. И тут только увидел, что левый рукав у старшины пустой — подвернут и аккуратно заколот булавочками.

— Ну ты даешь, Швейк! Приятеля увидел?

— Да, я его знаю.

— Ну ты даешь! Ты артист, ей-богу, артист!

А в это время вслед уходящим колоннам двинулись поливальные машины, и их широкие струи весело играли с солнцем. Старшина, позванивая орденами и медалями, держал меня своей единственной рукой за плечо и от души хохотал.

— Швейк, да ты артист! Ей-богу, артист! Неохота с тобой расставаться!

— Мне тоже.

— Эх, Швейк, вот бы нам с тобой на передовую! Мы бы... Прощай, артист. — И пошел вниз по Садовому.

Смешно, но скоро во дворе меня стали звать Швейком, а потом я стал артистом. А все этот незнакомый старшина с пустым рукавом.

Но на этом история с «моим немцем» вовсе не закончилась.

После войны наш Лефортовский дворец реставрировали пленные. Их привозили в крытой грузовой машине, выстраивали, а потом распределяли на работу. Они чистили белокаменные пилястры, белили стены, что-то подштукатуривали. Конвоировали их чисто условно, для вида. Они разговаривали с нами, заходили в квартиры.

Вот в прихожей раздается звонок. Мама открывает дверь. На пороге двое.

— Вассер...

Просят пить. Но мы-то всё понимаем: они всегда голодные, хотя их кормили так же, как наших заводских рабочих по карточкам. Видно, в отличие от русского, их немецкий желудок не привык к пайковой системе и постоянному недоеданию. И к чему бы это им хотелось все время пить, на голодный-то желудок?

— Садитесь, — говорит мама.

Они садятся к столу, и мама наливает им суп и режет хлеб, который мы получаем по карточкам. А они, сняв пилотки (такие знакомые эти пилотки), молча едят. А мы смотрим на них.

Я уже знаю, что этот молодой, с надоевшим до тошноты именем Фриц, — из Дрездена. Учился в «школе». А тут тотальная мобилизация, и попал он в зенитную батарею. Мешая русские слова с немецкими, рассказывал он, как американская воздушная армада за какой-нибудь час оставила от города один щебень.

— Ад! Ад! — повторял он и хватался руками за голову.

А этот угрюмый — крестьянин, «бауэр».

Они ужинают, а мы смотрим на них.

А потом их не было целую неделю. И мы решили, что их перевели в другое место. И вдруг звонок. На пороге Фриц, «бауэр», и сзади маячит какой-то новенький.

— Вассер...

— Входите, садитесь.

Третий шагнул в кухню из темноты... В виске моем опять сильно стукнуло, но сразу стихло. Это был «мой немец».

Они сели к столу, и я стал наливать в стаканы молоко. Рука не дрожала. Нарезал хлеб. Спокойно! «Мой немец», глядя в пол, машинально взял кусок хлеба, подержал в руке и положил на стол. «Бауэр» о чем-то спросил его. «Мой» тихо и коротко ответил. «Бауэр» взял его стакан и выпил, а хлеб положил в карман.

— Данке шён.

И двинулись к двери. Последним встал «мой». Дошел до порога и резко обернулся. Впился в меня взглядом. Я спокойно выдержал этот взгляд. Совсем спокойно. Он повернулся и шагами слепца вышел из кухни.

Больше я его не видел. И стал засыпать спокойно, не боясь, что вновь закрутится пропеллер и длинное красивое лицо улыбнется и подмигнет мне левым глазом.

В своей книге «Испытание памятью» актер Евгений Лебедев размышлял:

«Где еще, как не в больнице, можно так разглядеть и понять человека? Увидеть и услышать от него, каков он есть. Нигде так не раскрывается человек, как в больнице...

В больнице открывается перед человеком конечная перспектива его жизни — смерть. Все здесь напоминает ему о ней, как бы ни старались его отвлечь цветками в горшках, — сама больница, запахи ее, носилки, коляски, иголки, шприцы. Все, кроме самих врачей, тут иное, чем там, на воле...

Каждый больной хочет узнать от врача всю правду про свою болезнь и, как у кукушки в лесу, спрашивает, сколько осталось, сколько осталось...

Грядущая смерть вызывает в человеке самое сильное ощущение бытия, устраивает ему встречу с самим собой, с совес-

тью, со всей прожитой жизнью. Приходит ощущение твоей временности, неизбежности конца. Потому-то она и страшна, смерть, что вызывает в тебе прожитую жизнь как жизнь умершего. И переиграть ее заново нельзя...»

Евгений Алексеевич написал эти строки о людях с «прожитой жизнью». А что, если эта жизнь обрывается на взлете, когда ты не успел еще воспарить, чтобы оглядеть хотя бы тот мир, который можно охватить взглядом? Смерть страшна в любом возрасте, и всё же...

Я уже упоминал, что рядом с нами находился гарнизонный госпиталь; на нем было написано: «Военная гошпиталь». Так вот мы, местные пацаны, ходили туда, чтобы хоть как-то, в меру своих возможностей, если не утешить страждущих, то хотя бы отвлечь их от горестных мыслей. Читали им книжки, пели и плясали перед ними — кто на что был способен. У нас среди раненых, несмотря на разницу лет, были настоящие друзья, которые делились с нами самым сокровенным, изливали перед нами душу.

Ванечка душу не изливал. Несчастье его было так велико, что для его выражения слов уже не хватало — оставалась лишь протяжная, выматывающая душу мольба о смерти.

ГРУСТНЫЙ РАССКАЗ

Ванечка лежал в третьей, «тяжелой» палате. Он был «самоваром». Это когда человек остается без рук и без ног — обрубок.

До войны Ванечка работал трактористом. Войну начал танкистом. На Курской был тяжело ранен и после госпиталя попал в пехоту. А уж из пехоты — в «самовары». В бою под Киевом, где клокочущей кашей перемешались земля и люди, железо и огонь, шел Ванечка в очередную остервенелую атаку и наступил на немецкую мину. Вынесли его из боя, как обсученное бревно из леса. Жена от него отказалась. Так и написала: зачем ей, молодой и здоровой, обрубок? У нее вся жизнь впереди. Пострадал, мол, за Родину, вот пусть она о нем и позаботится. Это нам рассказывала санитарка тетя Паша, а уж она-то знала все.

Конечно, Ванечке это письмо супруги не зачитывали, а просто объяснили, что, мол, ищем твою жену. Уехала куда-то

в эвакуацию, а куда — и соседи не знают. Вот, мол, кончится война, и придет за тобой твоя Клабочка.

А Ванечка все понимал и молил об одном — о смерти своей. И молитва его звучала по-былинному распевно, но с такой горькой тоской и печалью, что реветь хотелось:

Ребятюшки вы мои славные, да что ж вы это делаете!
Да пристрелите вы меня, никуда не годного.
Да на кой же мне хер жизнь такая бескрылая!
Да нужен мне ваш гуманизм, как ржавый гвоздь в заднице.
Да убейте же вы меня, собаки вы паршивые!

И дальше, поднимая и поднимая голос, начинал всех материть:

И минёра немецкого хитрого,
И санитаров-подлецов старательных,
Тех, что с поля боя меня вынесли,
И хирурга Фиру — стерву рыжую,
Что меня так хорошо обработала.

Постепенно его причитания сливались в протяжный жуткий вой. Никто его не останавливал, знали — бесполезно, и молча лежали и ждали, когда он наконец устанет, выдохнется, беззвучно заплачет и тихо уснет. И так каждый день. Это был его ритуал, его реквием по самому себе.

Что греха таить, многие считали, что Ванечке действительно лучше бы не жить. Поставь... какое там «поставь», положи себя на его место, и жизнь тебе покажется сплошной черной жутью — беспросветной.

Я часто после школы заходил к Ванечке и читал ему что-нибудь из хрестоматии. Он всегда слушал с закрытыми глазами. Лицо его было каменным, и страшно синели на нем пороховые веснушки. Только однажды, когда я читал ему «Муму», губы у него задрожали, дрогнули, замокрев, ресницы. Он скрипнул зубами и процедил с ненавистью:

— Саму бы ее утопить, тварь старую!..

Он никогда не улыбался, хотя я и старался читать ему что-нибудь посмешнее. Да, думаю, он и слушал-то меня вполуха. Я чувствовал, я почти осязаемо ощущал, как под своей череп-

ной коробкой он упорно буровит свою неотступную свинцовую думу.

Гришка Черный, разбитной чубастый парень из штрафников, с серебряным трофейным перстнем (череп и две кости) на безымянном пальце правой руки и с трагически-кокетливой наколкой на плече «Нет в жизни счастья», появился в госпитале шумно.

— Братцы! — кричал он дурашливо-приблатненно. — Вы все тут кто куда ранетые! А я-то весь как есть контуженый! Мне теперь такую справку дадут, что, чего ни нахреначу, отвечать не буду. Эх, трясись теперь моя милиция! Сочиняйте, братцы, чего отчубучить мне, и подавайте в письменном виде, а то вся моя фантазия отбита!

Зашел он и в третью с этой просьбой. И увидел Ванечку. А тот как раз только завел свое:

Ребятуски вы мои славные...

Гришка Черный застыл в дверях и не мигая смотрел на Ванечку. И когда тот завыл, лицо Гришки перекосила судорога, правая щека ушла куда-то вверх и начала дергаться, как затвор у автомата. Такого зрелища не мог вынести даже контуженый.

— Го-о-о-ре! — завопил он.

Когда я пришел на следующий день в госпиталь, там стояла тревожная тишина. Старались друг с другом не разговаривать. Встречаясь, отводили глаза.

Тетя Паша, увидев меня, вдруг заплакала, закусив кончик платка.

— Помер наш Ванечка, — проговорила она сквозь слезы. — Пожалели его «ребятуски славные» — застрелили ночью... Особисты приехали, ищут — кто, а все молчат: не видели и не слышали.

Я прошел в третью.

Ванечка лежал, накрытый простыней. В палате стояли начальник госпиталя и двое незнакомых без халатов.

— Можно? — спросил я.

Начальник госпиталя отвернулся. Один из тех, кто был без халата, долго смотрел на меня, будто хотел о чем-то спросить, но передумал и еле заметно кивнул. Я откинул простыню. Ванечка улыбался.

Я вышел из палаты и спустился вниз.

Вскоре вышли из подъезда те двое и начальник госпиталя. Остановились у «виллиса» и молча закурили. Курили долго. Наконец один из тех двоих нервно вмял окурок в землю тяжелым каблуком и, глядя куда-то вбок, глухо сказал:

— Я знал, что мы ничего не добьемся. Напишите в медицинском заключении: «Покончил жизнь самоубийством».

— Не понял! — вскинул голову начальник госпиталя.

— А чего тут понимать! Так и напишите. Но неприятности у вас все равно будут. Это уж как пить дать!

— Я знаю...

Двое сели в «виллис», и машина тихо тронулась к воротам.

Слов нет, военный госпиталь не лучшее место для юмора. Но такова уж жизнь, репертуар которой никогда не ограничивается одним жанром: трагедией или комедией. На одной сцене бушуют нечеловеческие страсти со скрежетом зубным, а на другой раздается гомерический хохот. Смеются над нелепостью положений, над глупостью, над беспредельной наивностью — да мало ли над чем могут потешаться люди, если уж им не зазорно даже над собой смеяться!

А поскольку эти сцены находятся по соседству, то зачастую происходит смешение жанров.

Палаты, в которых лежали Ванечка и Витёк, были, можно сказать, тоже по соседству. И в то время, когда на одной сцене (в Ванечкиной палате) занавес опустился, на другой действие только начинало развиваться.

Витёк был моим другом, и мне доставляло большое удовольствие потешать своей самодеятельностью именно ту палату, где он лежал. Я одновременно пел, отбивал чечетку и не забывал строить рожицы поуморительнее, чтобы было веселее. Пел я, конечно, не оперные арии и даже не русские народные песни. У меня был свой репертуар, который пополнялся за счет услышанного на всяких пьянках-гулянках и от местных пацанов.

Не помню, что я исполнял в тот раз, но последнюю частушку запомнил хорошо:

Сидит Гитлер на заборе,
Просит кружку молока,
А колхозник отвечает:
«Хрен сломался у быка!»

Сбавив последнее колено отбивочки, раскинув в присядке руки, я закончил свой номер. Раненые, покатываясь со смеху, оглушили меня аплодисментами.

— Ну, Швейк! Ну, даешь! Ну, артист!

Только санитарка тетя Паша, стоя в дверях, укоризненно качала головой.

— Выдрать его надо как сидорову козу, а они радуются, кобели, да еще руками хлопчут. Тьфу ты, господи!

И собралась в знак протеста уходить.

— Тетя Паша! — закричал Витёк. — Куда ты? Он еще и не такое знает! Не уходи, послушай! Про Геббельса! Вали, Швейк! — И он потрянул своей красивой кудрявой башкой.

ВЕСЕЛЫЙ РАССКАЗ

Витёк был истребителем. Сбили его как-то по-дурацки. Выполнил задание и возвращался домой. Шел на малой высоте. Снизу вслепую били зенитки. Шальной снаряд попал в Витькину машину и разорвался у него под задницей. Как дотянул до своих, как сел, как его вытащили из машины — ничего не помнил. Пришел в сознание только на третий день на операционном столе. Сквозь тошнотную дурноту услышал противный звук — кусочек металла упал в таз.

— Двадцать седьмой! — услышал он низкий женский голос. — Жопа как решето... — И через короткую паузу, раздумчиво: — А вот что с этим-то делать?.. Куда же он с таким пеньком? И морда у парня больно красивая... Тяжелых сегодня много?

— Трое, Фира Израилевна. — Это уже девчоночий голос, как отметил про себя Витёк.

— Скажи Василию Григорьевичу, — приказала Фира, — пусть сам их обработает. А я попробую пришить этому дураку его достоинство, там ведь не до конца перебито. Угораздило ж его...

А потом Витёк лежал в палате и соображал, что же с ним произошло. До конца сообразить ему помогли товарищи по

палате. Его историю ему рассказывали с веселым хохотом и похабными подробностями. Оборжавшись до слез, говорили, что один солдат пожертвовал Витьке часть своего достоинства: кровь-то ведь сдают, так почему же этим не поделиться! Вот Фира и пришила ему эту надставку. Так что с войны он вернется с припеком.

Несмотря на разницу в возрасте, мы очень дружили с Витьком, и он мне, пацану, часто рассказывал о себе. Говорил, что есть у него невеста — самая красивая девчонка в районе. Показывал мне ее фотографию: смешное курносое лицо. Но мне тоже казалось, что она действительно самая красивая на свете. Говорил, что у него есть тихая и добрая мама. А отца зарезал пьяный деревенский психопат. На Пасху напился и стал все крушить на своем пути. Витькин отец решил урезонить его по хорошему. Тот и впрямь будто послушался. А потом вдруг ударил сзади Витькиного отца ножом. Да и попал точно между ребер в сердце. Отец сел на землю и тихо сказал:

— Дурак же ты, Феденька... — И умер.

Мать так и не вышла второй раз замуж. Не захотела, хоть и сватались многие. А по ночам Витёк слышал, как она давилась слезами...

Витёк очень любил поговорить со мной. Я понимал, что ему нужен слушатель, который бы смог разделить с ним его боли и печали и не посмеялся бы над ними. Я был как раз таким слушателем.

Витёк не переставал говорить о своем идиотском ранении, о Фириной жалости, о невероятной по тем, а может, и по сегодняшним временам операции. И очень волновался: как все будет, когда заживут его интимные раны. Однажды Витёк сказал, что его собираются выписывать, но хрен-то он тронется с места, пока не убедится, что все у него в порядке. Я толком не соображал, о каком порядке идет речь, но понимал, что для Витька это важнее жизни.

— А нет — застрелюсь к едрене-фене, — шептал он мне на ухо. — Чтоб я к Вере говном явился?! «Вальтер» у меня в клумбе закопан.

Тогда у многих в госпитале было оружие. Его приматывали бинтами под кальсоны. Я первый по разговорам и слухам узнавал, когда будет «шмон», и всех предупреждал. Они быстро отбинтовывали свои «ТТ», «браунинги», «вальтеры», и я их

в охапке, как дрова, уносил в сад и закапывал под яблоней. У меня там был тайник. А Витёк свой «вальтер» закопал сам, и я знал, что он точно застрелится, если не будет «порядка».

И вот как-то Витёк отозвал меня в сторону и сказал, что Фира сама предложила ему убедиться, что не зря она возилась с ним целых три с половиной часа.

— Я, говорит, — шептал мне Витёк, — сама его вернула к жизни, сама и опробую. Договорился я с Фирой. Понял? Завтра, говорит, садись в общую очередь на прием и жди вызова. Во дает Фира!

Фира Израилевна была огромной и красивой. Этакая огненно-рыжая валькирия. Как говорили о ней раненые, сначала в палату минут пять Фирина грудь входит, а уж потом она сама. Фира не стеснялась в выражениях. Говорила громко и гулко. Хирургом она была потрясающим.

О чем она тогда с Витьком договорилась, я опять же толком не понял, но чувствовал, что это очень важно для него и что это — тайна для всех. Только мне доверил свою тайну Витёк, и я должен держать язык за зубами.

На следующий день я с трудом досидел в школе последний урок. В госпиталь бежал бегом. Поскорее хотелось узнать, как дела у моего. Очень мне не хотелось, чтобы он застрелился.

В госпитале творилось что-то странное. Врачи бегали по коридорам и орали на раненых:

— Прекратите ржать, немедленно прекратите ржать!

— Пожалейте хоть сами себя! Швы у вас, у идиотов, разойдутся! Черт бы вас побрал!

Громче всех грохотала Фира:

— Молчать! Палец им покажи, коблám! Я вас заново сшивать не собираюсь. — Но сама, не выдержав, закатилась в припадке хохота: — Ох, вот дура! На свою голову.. Ох! Ох! — И, схватившись за живот, убежала к себе.

— Иди к своему — он там зубами всю подушку порвал, — сказал мне кто-то. — Ну, Фира! — И, лязгнув золотыми зубами, взвыл по-собачьи, замахал, как ребенок, руками. — Не могу! — И скрылся в сортире.

Я вошел в палату. На кровати сидел серый Витька.

— Ты что, Витёк?

— Пойдем, — сказал он. — Давай лучше в окно, а то они опять начнут...

Мы вылезли в сад, сели на траву.

— Понимаешь, Швейк, я сделал как уговорились. Сел со всеми в коридоре. Жду. Вызывает. «Ну, пришел, красавец? Давай проверим результаты усилий отечественной медицины. Раздевайся». Снял я пижаму за ширмой. «Выходи», — говорит. Вышел я, а она как распахнет халат, и вся голая. У меня аж горло перехватило. Я и не чувствую ничего, а она говорит: «Ну вот, Витюша, все у тебя в порядке, я после войны на тебе диссертацию защищу. Ну, счастливо! Невесте — привет». Запахнула халат, взяла меня за загривок, дала под зад, я и вылетел в коридор. Только я не заметил, что она мне пижаму на «хозяйство» повесила. Так я и дошел до палаты с пижамой на... А в коридоре-то народу полным-полно... Ну и началось! Сволочи!

— Витёк, да пусть ржут. Главное-то — всё в порядке.

Витька посмотрел на меня своими огромными голубыми глазами, упал навзничь в траву и зашелся в хохоте:

— Ну, Фира! «Невесте — привет»! А пижаму-то... А я-то по всему коридору... С пижамой... А в коридоре-то полно... А?! А я с пижамой... Во кино!

Через несколько дней Витька выписали. Провожать его высыпал весь госпиталь. Никто не смеялся, только улыбались. Витёк бросил вещмешок в кузов грузовика и сам ловко запрыгнул в него. Машина тронулась. Вдруг Витёк метнулся к кабине и забарабанил по ней:

— Стой! Стой!

Он смотрел куда-то вверх. Все повернули головы. В окне третьего этажа стояла огненная Фира и улыбалась. Витёк уехал. В отпуск. По ранению.

Были у нас и свои дворовые увлечения, среди которых не последнее место занимали кулачные бои — старая русская потеха.

Не знаю, во всяком случае не слышал, чтобы нечто подобное было в других странах среди других народов. Гладиаторские бои, рыцарские турниры — все это не то: банальное смертоубийство. Даже кулачные бои, которые практиковались в Древней Греции, не идут ни в какое сравнение с русской потехой. Вспомните знаменитую скульптуру древнего мастера

«Кулачный боец» и обратите внимание на кисти его рук. Там такое наворочено, что сразу же на ум приходит бандитский свинцовый кастет.

Не дай бог, если б у нашего бойца заметили зажатый в кулаке тяжелый медный пятак! Его сразу же с позором бы выгнали из своих рядов.

В старину обычно бились зимой на льду рек. И когда шли стенка на стенку, то это представляло собой целый спектакль.

Бойцы стояли на противоположных берегах и будто бы ко всему были равнодушны, словно все происходящее вокруг во-все их и не касалось. А между тем начиналось первое действие спектакля под открытым небом. Развитию сюжета помогало то, что все действующие лица знали не только друг друга, но и родню каждого до третьего колена.

И вот на авансцену выходила мелкая пацанва и начинала подзуживать своих сверстников на противоположной стороне:

— Эй, длинный! Скажи своей кривой сестре, чтоб глаз соломой затыкала-а!

— А ты, горлопан, продай теткин скелет, я его на огороде поставлю!

Пока мелочь пузатая перебирает близких и дальних родственников, мужики только посмеиваются. Но вот дело доходит до отцов.

— Эй, косорылый! Спроси, чевой-то у твоего тятки морда го-ла-ая!

— Оплетало-о! Подтяни у своего тятки порты — потеряет!

Тут уж мужики начинают нервничать и медленно сходить-ся. Ребятишки бросаются врассыпную, и — второе действие.

Не доходя двух-трех шагов друг до друга, бойцы останавливаются и ждут. Вот выходит самый могучий, выбирает себе достойного супротивника, такого же богатыря, и — бьет! Потеха началась.

Третье действие спектакля: радость победы у одних и горечь поражения у других. Подсчет синяков и шишек и общее братание, чтоб не помнили обид. Этаким хеппи-энд. Так ведь игра: «Сегодня ты, а завтра я». Ни обид, ни злобы, ни ненависти — полюбовно пошалили, полюбовно и разошлись. Не без разбитых носов, не без выбитых зубов, не без сломанных ребер, — но ведь игра-то мужская!

Когда в паровом котле поднимается критическое давление, его нужно срочно сбросить, иначе котел просто разорвет. И чтобы сбросить это давление, существует предохранительный клапан. Вот эти потешки и служили для русского человека клапаном, который давал выход той неиспользованной энергии, что грозила взорвать человека изнутри.

Бой одиночных бойцов напоминал одноактный спектакль. Об этом хорошо написал Лермонтов в «Песне про купца Калашникова». Помните?

Как сходилися, собиралися
Удалые бойцы московские
На Москву-реку, на кулачный бой,
Разгуляться для праздника, потешиться.

Но здесь, правда, купец использует потешку как возможность в честном бою смыть позор со своей семьи. И поэт красочно описывает этот скоротечный бой:

Вот молча оба расходятся, —
Богатырский бой начинается.

Размахнулся тогда Кирибеевич
И ударил впервой купца Калашникова,
И ударил его посередь груди —
Затрещала грудь молодецкая,
Пошатнулся Степан Парамонович;
На груди его широкой висел медный крест
Со святыми мощами из Киева, —
И погнулся крест и вдавился в грудь;
Как роса из-под него кровь закапала;
И подумал Степан Парамонович:
«Чему быть суждено, то и сбудется;
Постою за правду до последнева!»
Изловчился он, приготовился,
Собрался со всею силою
И ударил своего ненавистника
Прямо в левый висок со всего плеча.

И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал замертво.

Тогда «царь Иван Васильевич прогневался гневом, топнул о землю» и приказал отрубить купцу головушку.

И вот четыре века спустя...

Боже, что ж это «с памятью моей стало»? Бросает она меня из века в век, будто от утра до вечера, от репетиции — к спектаклю. Видно, и в самом деле не дают мне покоя мои «потомственные» гены. Да какие там гены! Скорее всего, мы всё же помним, что мы — русские, у которых всегда был избыток физических и духовных сил. И эта перехлестывающая через край энергия нуждалась в освобождении даже в годы полуголодного детства.

Бились двор на двор, улица на улицу не только в Лефортове и не только в Москве. Потом я спрашивал своих сверстников из разных российских городов, и оказалось, что эта потеха не чужда была никому. «Потешаться» перестали где-то в первые послевоенные годы, когда наше поколение подросло, а новому было не до потешек. И древняя русская традиция как-то незаметно и бесследно исчезла. Сейчас если и дерутся, то наверняка используют вместо кулаков более подходящий инструмент: чтобы враз хлоп — и наповал!

А тогда...

Тогда существовал целый свод неписаных правил, так сказать, джентльменских соглашений. Руки должны быть свободными от всяких предметов. Помню, в нашем дворе появился новенький. Этаким чистенький интеллигентный мальчик. Ему, наверное, очень хотелось показать себя, как сейчас говорят, «крутым». И он предложил драться на ножах. Это нам показалось настолько диким, что ему тут же вежливо предложили удалиться и больше здесь не появляться. И он исчез так же незаметно, как и появился.

Нельзя было бить лежащего, а уж размахивать ногами считалось позором. Эта мода пришла, кажется, с увлечением карате. Гуманным считался бой «до первой крови». Если одному бойцу расквасили нос или рассекли бровь, бой заканчивался, как бы ни хотел пострадавший продолжить его.

В тот день я дрался с пацаном из соседнего двора. Ни у меня к нему, ни у него ко мне не было никаких претензий, никакой вражды. Просто мы хотели помериться силами. Пацан крепко вlepил мне в глаз, и глаз стал быстро заплывать. Но крови не было, и бой продолжался.

Прицеливаясь и увертываясь, мы с противником утаптывали снег. Вокруг стояли наши и ребята с соседнего двора и молча ждали окончания поединка. Вмешиваться, подсказывать и науськивать со стороны строго запрещалось. Наконец по снегу рассыпалась «клюква». На этот раз из моего носа.

Сразу несколько человек подняли руки.

— Всё, кончайте!

— Да у меня нос слабый! — пытался я протестовать, хотя и знал, что это бесполезно.

Тут слегка обиделся и мой противник:

— А я тебе что — Буратино? У меня, что ли, нос деревянный?

— Да пошел ты!.. — огрызнулся я.

— Да иди ты сам... — беззлобно ответил противник, чтобы не остаться в долгу.

На том наш «базар» и кончился. Все было по правилам, и обижаться нужно было только на самого себя: не успел вовремя увернуться.

Время было еще детское, и кто-то предложил:

— Кончай, ребята. Пошли в парк!

И все толпой, уже забыв о драке, вышли из-за сараев. Нос сильно распух и очень ныл. Я приложил к нему лепешку снега, запрокинул голову и пошел вместе со всеми. И вот тут кто-то придержал меня за руку.

— Подожди! — Это был парень из нашей школы, но жил он на Почтовой.

— Чего тебе? — прогнусавил я.

— Охота была тебе драться? Больше делать, что ли, нечего? Вон как нос-то распух...

Напоминание о носе мне не понравилось.

— Слышь, — приостановился я, — а чего это ты ко мне пристал?

Но парень не стушевался.

— Приходи лучше завтра в Дом пионеров, — предложил он. — В драмкружок запишешься.

У меня даже нашлепка с носа свалилась. Я подумал, что ослышался. И переспросил:

— Че-е-во?!

— «Чево-чево», — передразнил он, — в драмкружок запишешься. Это поинтереснее будет, чем морды друг другу квасить.

Не знаю почему, но завтра я все же появился в этом Доме пионеров. Наверное, взяло верх обычное любопытство. Как говорят, познание непознанного. И будто попал в другой мир.

Смехота! Все разговаривают как «очкарики»: «цирлих-манирлих», «будьте любезны»... И одеты все аккуратно, у всех белые воротнички. А у меня фингал под глазом и нос неопределенного цвета. Но их руководитель, Сергей Владимирович Серпинский, кажется, не обратил на это ни малейшего внимания.

— Ну, что ты нам считаешь? — спросил он вежливо, глядя мне прямо в глаза.

— Чего? — не понял я.

— Ну почитай нам что-нибудь, что сам хочешь, — пояснил Серпинский. — Что ты знаешь наизусть?

— Ничего.

— Совсем ничего?

— Совсем.

Серпинский не удивился, не возмутился.

— Ну ладно, — спокойно сказал он, — тогда послушай других, а когда приготовишь что-нибудь, скажешь. Ну, кто первый?

И вот кружковцы стали по очереди выходить на маленькую сцену и читать: кто — стихи, кто — рассказ. Многие читали очень хорошо, видно, уже воображали себя артистами. Мне нравилось. А вот некоторые будто металлическую трубу пилили ножовкой: вжик-вжик, вжик-вжик, вжик-вжик! Вот зануды, думал я, не умеют, а лезут!

Домой я возвращался членом драматического кружка Дома пионеров Бауманского района города Москвы. И прощался со всеми за руку — до среды.

Я долго думал, что бы выбрать для чтения, и остановился на рассказе Чехова «Толстый и тонкий». Помните? «На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий». Два бывших гимназических приятеля. Один теперь очень важный: он только что пообедал, и «пахло от него хересом и флёрдоранжем».

Что такое «флёрдоранж», я не знал, но слово было красивое, и я произносил его с большим удовольствием.

А от другого пахло «ветчиной и кофейной гущей». И был он бедным, худым, а из-за его спины выглядывала худенькая жен-

щина с длинным подбородком, его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом, его сын Нафанаил.

И вот тонкий расхвастался, а узнав о положении толстого, растерялся и тут же начал заискивать перед ним, жалко хихикать, ставя толстого в неловкое, дурацкое положение. Меня очень разозлил этот тонкий. Ведь бывшие друзья, так чего же ты враз скукожился? И жену ты свою унижил. И Нафаня твой — балда стоеросовая, рот разинул и «уронил фуражку».

Рассказ короткий — всего две странички. Я его быстро выучил наизусть, но никому об этом не сказал. Долго молчал, пока Серпинский сам не вызвал меня, решив, что за такое время пора бы уж чего-нибудь да выучить.

— Ну давай, Дуров, не скромничай.

Я взошел на сцену, и горло у меня перехватило. Мне понадобилось несколько минут, прежде чем я собрался с духом. Наконец я устоялся куда-то в угол и стал читать...

На этот раз домой я уже возвращался «способным».

Потом мы поставили спектакль «Два капитана» по Каверину. Спектакль был необычным: он шел два вечера. В нем я играл три роли. Одна из них была — ночной сторож, старик. Мне нацепили бороду, я ходил по сцене и стучал колотушкой.

Декорации делали сами. А оформлению одной из картин и сейчас позавидовал бы любой художник. В нашем дворе было много старых тополей. Некоторые из них посадил еще мой отец задолго до войны. И вот я спилил все высохшие ветки, а они были толщиной с хороший ствол, и на сцене вырос красивый настоящий лес. Я и сейчас мог бы не стыдяться представить на обсуждение любого худсовета такое оформление. Этот спектакль всегда пользовался у зрителей огромным успехом, и нас неизменно награждали бурными аплодисментами. Конечно, нам, мальчишкам и девчонкам из драмкружка, это очень льстило: мы чувствовали себя настоящими артистами и играли с полной отдачей. Зрители это понимали и поощряли нас, как родители поощряют добрые задатки у своих детей.

А детьми мы были — как бы это поизящнее выразиться? — далеко не паиньками. И играли не только на сцене.

У мальчишек все-таки главной сценой был двор, в котором мы знали каждый укромный уголок, каждую выбоину, все водосточные трубы и весь дом — от подвала до крыши. И среди нас были и свои авторы, и свои постановщики спектаклей,

и свои исполнители. Но, что самое главное, мы втягивали в свои спектакли и взрослых. Без них мы просто не могли обойтись. Хотя сами они, думаю, даже и не предполагали, что становятся участниками наших спектаклей.

У нас за забором, в Московском высшем техническом училище имени Баумана (МВТУ), была площадка, куда свозили трофейное вооружение: пушки, танки, гаубицы, самоходки и прочие железки. Все это служило учебным пособием для студентов военных кафедр. Мы тоже там лазали и изучали все виды неприятельского вооружения.

Весь этот арсенал, конечно, охранялся. Но мы давали охраннику пачку махорки, и, пока он проходил свой контрольный путь туда и обратно, мы должны были исчезнуть: он нас не видел. За это время мы хватали все что хотели и разбегались. А чего там только не было по мелочи!.. «Шмайссеры», пистолеты, наградные ножи «Адольф Гитлер». У меня на чердаке даже стояла пушка-пулемет. Потом кто-то настучал на меня, пришла милиция и все конфисковала. Ах, как я тогда плакал! Конечно, было жалко расставаться с таким богатством...

Но это произошло чуть позже. А тогда я не успел драпануть от охранника и запрыгнул в танкетку. Там стояла такая маленькая танкетка с маленькой башенкой, напоминающей по форме каску. Я запрыгнул в нее и захлопнулся. Сидел, сидел, и уж пора было выходить, а крышка — ни с места. Можно, конечно бы, поорать или постучать какой-нибудь железякой о броню. Но это было бы не по-мужски: я подводил бы охранника и сам выглядел бы несолидно.

Меня выручило знание неприятельской военной техники. Мы ее изучали не хуже студентов военных кафедр. Осмотревшись, я увидел защелку, и люк приоткрылся. Охранника нигде не было. Я спрыгнул и мягко приземлился рядом с колесом гаубицы. И поскольку у меня, как и у всех пацанов во дворе, был талант исследователя, а проще говоря — зуд любопытства, меня удивило маленькое открытие: колеса у гаубицы были резиновые, а на них я не увидел ни одного соска, через которые накачивается в баллоны воздух.

Это было уже интересно, и я не мог не утолить свое любопытство. Через час я уже снова лежал рядом с этим странным колесом, но уже с сапожным ножом в руках. Я вонзил этот нож

в баллон и, к своему удивлению, не услышал шипящего звука. Так я впервые в жизни увидел микропорку. И не воспользоваться этим открытием было просто невозможно.

Я вырезал здоровенный кусок и уже дома придал ему форму футбольного мяча. А весу в нем было килограмма три. Для шутки, которую мы придумали, это было как раз то, что надо. Для детей эта шутка выглядела несколько жестковатой, но...

Недавно я наткнулся у нашего последнего ученого-энциклопедиста Алексея Федоровича Лосева на любопытное наблюдение. Он утверждал, что официальные социологические исследования совершенно лишены объективной информации. И что тот, кто хочет узнать, чем озабочена нация, пусть внимательно понаблюдает, во что играют дети.

Перед Отечественной войной девочки играли в куклы и в сестер милосердия. Мальчики возили за веревочки машины и стреляли друг в друга из игрушечных пистолетов.

Сейчас мальчики тоже стреляют друг в друга, но уже не из пистолетов, а из автоматов на батарейках, и машины у них с визгом и сиренами в пульсирующем световом сопровождении. Девочки играют в карты, жетоны и в банкиров: кто быстрее скупит какие-то акции.

Ни на что не намекаю и уж тем более не делаю никаких далекоидущих выводов. Просто хочу сказать, вспомнив Лосева, что наши игры ведь тоже были порождением своего времени.

Итак, я стоял во дворе за аркой, а мой наводчик на улице — перед аркой. Он должен был выслеживать очередную жертву. Особенно интересно было, когда шел какой-нибудь фраер с девицей.

Наводчик в нужный момент делал мне отмашку, и я выкапывал этот трехкилограммовый мяч на улицу фраеру под ноги. И тут же кричал:

— Мужик, подай!

Ну какой же фраер откажется хвостануть перед своей дамой спортивной ловкостью. Он, конечно, тут же бросал свою даму и со всей дури бил по мячу. Но ведь это все равно что бить носком ноги в бетонную стену! Мужик хватался за ногу, корчился и матерился на все Лефортово. Дама его от стыда убегала, а мы-то веселились от души: ведь дети! А тут еще взрослые нас поддерживали:

— Ты чего материшься! Здесь дети играют!
А дети в это время выбирали очередную жертву.

Но детям, впрочем как и взрослым, всегда претит однообразие. Скоро этот мяч нам надоел, и мы сочинили другой спектакль. Но он был посложнее — там уже требовались навыки то ли баллистика, то ли артиллериста.

Сетками мы ловили на помойке кошек. Наловим штук пять-шесть и сажаем их в мешок из-под картошки. Они там и замирают. Видно, пытаются угадать, что их ждет дальше. Но хрен они могли отгадать!

Вот тут и начиналась игра. Мы залезали с этим мешком по пожарной лестнице на крышу пятиэтажного дома и подбирались к своей водосточной трубе, которая выходила на улицу. Труба была замечательна тем, что в ней не было швов. Для нашей игры это имело немаловажное значение. А внизу стоял наводчик — главное действующее лицо спектакля. Он должен был дать сигнал с точностью до секунды, когда начинать действие. И вот мы видим: он дает отмашку. Я вытаскиваю из мешка кошку и пускаю ее в трубу: ш-ш-ша! Только шорох идет!

Здесь во мне, наверное, опять просыпались гены моего деда, который, как известно, знавался с большими учеными и изучал вместе с ними повадки зверей. Не зная, за что уцепиться, вырвавшись из страшной темной трубы, кошка хватается за все, за что только можно уцепиться. И если расчет точный, животное, выскочив из трубы, цепляется за ногу обреченного прохожего. Тот не понимает, в чем дело, начинает орать и срывается с места. Кошка тоже ничего не понимает и боится отцепиться. Так они и несутся вместе до первой автобусной остановки. Ну а там уж им люди помогают расцепиться.

А мы ждем новую жертву: у нас ведь в мешке еще много этого зверья!

Это было очень смешно.

Но если наводчик ошибался, мы его били. И били очень больно. За вторую ошибку его дисквалифицировали. И тогда он плакал уже без лупки: кому же хотелось терять такую почетную должность!

Были, конечно, и традиционные, безобидные игры: казаки-разбойники, двенадцать палочек, лапта, штандер... Носи-

лись как угорелые! Сейчас этого не наблюдается. Наверное, время ушло.

У меня сейчас такое ощущение, что все дети сели за компьютеры, уткнулись в видики и телевизоры и скоро совсем обезножат. И родители еще хвастают: «Ах, мой сынок уже овладел компьютером! Ах, моя внучка уже файлом по факсу!..» И не понимают того, что их сынкам и внучкам прежде всего нужно овладеть своим телом, а не этими электронными железками. Не следует забывать, что прежде, чем стать гениальным ученым на века, Аристотель был чемпионом Олимпийских игр. И если наши дети научатся только нажимать на кнопки и глазеть в мутные подслеповатые экраны, то мы получим поколение с атрофированными ногами и отвисшими животами — таких гофмановских крошек Цахесов.

Совсем не пытаюсь напугать кого-то этими «пророчествами». Ведь не я же сказал: в здоровом теле здоровый дух. Я просто подумал о том, что какими бы ни были жестокими наши детские игры, они могут показаться шалостью по сравнению с нынешними интеллектуальными забавами. Это может обернуться жестокостью по отношению к самим себе.

Я меньше всего хотел бы выстраивать какие-либо логические умозаключения и делать из всего сказанного скороспелые выводы. Я всего-навсего артист и сужу со своей колокольни. Так вот, первая моя встреча с Шекспиром произошла в нашем доме, в Лефортове. Это я к тому, что за последние годы я что-то не слышал о подобных трагедиях. Может быть, из слабых тел выветрился здоровый дух?

Возьмите любую газету, и вы прочтете, как один зарезал, пристрелил, расчленил другого. Почему? По пьянке, под наркотой, не помнит — без объяснения причин! Кому это интересно? Мне не интересно.

Алексей Толстой еще более семидесяти лет назад размышлял: «Лев Толстой написал Платона Каратаева; они, Платоны, миллионами в то время бродили по русской земле. Теперь Платон — да не тот. Я не хочу читать про то, как один человек выпустил кишки другому. Это их частное дело, это меня не касается. Я хочу знать, каков сейчас этот стомиллионный Платон.

Достоевский написал Грушеньку. Она, хотя бы одной капелькой, жила в каждой русской женщине. Теперь Грушень-

ка — да не та. Но какая? Пойдет эта новенькая Грушенька со мной на каторгу? А Раскольников — убьет сегодня старуху? А Ставрогин — повесится на чердаке?

...Я хочу знать этого нового человека. Я хочу знать сегодня самого себя».

Ау!.. Не слышу ответа на все эти вопросы. И вот — впервые с шекспировской трагедией я встретился не на театральной сцене, а в лефортовском доме. В нашем доме. И участниками этого спектакля были ребята чуть старше меня — они были ровесниками Ромео.

Васька Мурашов занимался в спортивном обществе «Локомотив». И у него был преданный ему прекрасный товарищ — тоже спортсмен.

И вот мы, пацаны, стоим как-то и смотрим, как во дворе мужики играют в домино. И тут из-под арки выходит Васька со своим товарищем. Оба задумчивые, ни на кого не обращают внимания. И один из игроков окликает:

— Здравствуй, Вася!

Его все любили во дворе — он был честным и скромным парнем.

Вася обернулся и как-то рассеянно сказал:

— А может быть, и прощайте... Я еще не знаю...

Никто, конечно, не обратил внимания на эту «проходную» реплику. А ребята вошли в подъезд, где жил Васька. Отец у него работал проводником на поездах дальнего следования, мать где-то служила, так что парнишка был предоставлен самому себе.

О чем ребята там говорили, неизвестно. Но на другой день они пришли на стадион и рассказали своему тренеру, что влюбились в одну девушку и будет честно, если один из них уйдет из жизни.

А Васькин товарищ добавил:

— Еще честнее будет уйти из жизни вдвоем. Мы уйдем вместе.

И тренер не принял их слова всерьез — мальчишки!

А ребята между собой решили действительно уйти из жизни вдвоем. Взяли наган, а тогда это была не проблема — найти наган. Впрочем, как и сейчас.

Зашли к Ваське в квартиру, положили в шапку две бумажки с номерами и стали тянуть жребий...

Первый номер достался Васькиному товарищу. Тот взял наган и вышел в другую комнату. Скоро Васька услышал выстрел и открыл дверь в соседнюю комнату. Его друг лежал мертвый. С дыркой в виске.

И тут Васька струсил. Даже не то что струсил, — с ним случился шок. Он лег рядом со своим другом и вырубился. А когда утром очнулся, пришел на стадион и все рассказал тренеру.

Потом приехала милицейская бригада и убедилась в том, что действительно это было не убийство, а самоубийство. Девушку, из-за которой ребята стрелялись, я не видел. Но думаю, что она была прекрасна. Для них.

Вот такие случались страсти по Шекспиру. Правда, скоро вся Васькина семья переехала: родители боялись, как бы сын все-таки не выполнил свое обещание. Ведь здесь все ему напоминало о данном другу и не сдержанном слове.

Больше я Ваську не видел. Может, все-таки застрелился? А что — я этого совсем не исключаю. Хотя мне очень хотелось бы верить, что у него все зарубцевалось. Но для этого ему прежде всего нужно было бы изменить свое понятие о чести. Вряд ли он был способен на это...

Лефортово... Там каждый двор был историческим заповедником. Когда мы копали землю под клумбы или грядки, совсем нередко под лопатой оказывалась монета времен Петра или Екатерины. Часто попадались всякие безделицы тех времен: хитроумные ключи от дверей и шкатулок, перламутровые веера, да мало ли что накопилось под нашими ногами за два с половиной века. Думаю, что и теперь, если покопать там, найдется много интересного. Эта земля таит в себе замечательные исторические пласты.

У меня вообще слабость к археологическим раритетам. Я уже писал о своей коллекции огнестрельного и холодного оружия, которую изъяла у меня милиция. Так вот, вместе с оружием она прихватила и немецкий генеральский мундир, на спине которого я насчитал двадцать семь дырок от осколков: видно, наступил генерал на мину, и она нашла его железом.

Сейчас у меня в театре лежит солдатский немецкий ремень — кожаный. На нем пряжка с надписью: «Gott mit uns» («С нами Бог»). Есть у меня русская и немецкая каски. Обе с дырками.

Лежит у меня и немецкий офицерский погон, серебряный, витой. Есть чистый бланк-картонка из рейхстага — с рабочего стола Гитлера. На нем гриф «Адольф Гитлер» и короткое пояснение, чтобы никто не сомневался, откуда этот бланк: «Отсюда приказывают». Был у меня такой бланк и с текстом. Но я дал его одному художнику, а он обменял его на скелет мамонта. У каждого своя блажь.

Но если честно, то никакой я не коллекционер — я обычный барахольщик. Что-то понравилось, и я тяну или домой, или в театр. А может, пригодится! Да и просто интересно: карман-то вся эта мелочь не тянет. Многие вещицы мне дарят, и они дороги мне как память. Память о людях или событиях, с которыми связаны эти сувениры. Ведь любая вещь может рассказать о себе очень даже интересную историю. И я подумал, что будет справедливо посвятить им отдельную главку «Моя барахолка», которую можно поместить в книге в соответствующее место.

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

Школу я не любил, а она — меня. Да я в нее фактически и не ходил. Прогуливал безбожно.

Зато задолго до окончания школы я уже прекрасно овладел ненормативной лексикой, научился курить и цыкать сквозь зубы, как заправская шпана. Но курить меня отучили быстро — без всяких пилюль и нотаций.

Однажды, когда в школе шли уроки, я скрылся в туалете и с папироской в зубах стал комментировать из окна футбольную игру в школьном дворе:

— Рыжий, так тебя и эдак! Кому ты подаешь, эдак тебя и так! А ты, Длинный, трах-тарарах, совсем мышей не ловишь!

Слышу — кто-то вошел. Ну, думаю, еще один такой же прогульщик, как и я. А оглянуться мне некогда — очень уж увлекся игрой. И тут меня хлопают по плечу и просят:

— Оставь.

Я, опять же не оборачиваясь, откусываю слюнявку и передаю через плечо с обязательной в таких случаях репликой:

— Свои надо иметь.

Тот не отвечает и продолжает за моей спиной докуривать мой чинарик. А я уж совсем в раж вошел:

— Славка, так тебя и эдак! Не видишь, куда бьешь, эдак тебя и так?!

— Ну, Дуров, пойдем — хватит.

Оборачиваюсь — директор школы! Спускаемся в его кабинет.

— Мерзавец, — говорит он мне, — ты что куришь?

— «Беломор», — отвечаю.

— Дай сюда!

Я вынимаю из кармана пачку, кладу ему на стол.

— Сколько тебе денег дает мать на день?

Не помню уж сейчас после всех этих денежных реформ, сколько мне давала мать на обед. Мы жили бедно, и всего было в обрез. Называю сумму.

— А сколько стоит «Беломор»? — спрашивает.

Опять называю сумму, которая сжирает весь мой дневной бюджет.

— Негодяй! — говорит он, кладет мой «Беломор» в стол и вытаскивает оттуда пачку «Прибой». — Вот что тебе, стервеццу, надо курить! И тогда тебе останется хоть на булочку! Вон отсюда, чтобы я тебя больше не видел!

Когда я вышел из кабинета, почувствовал, что лицо мое горит. Ведь он не ругал меня за прогул, не говорил о том, что «курить вредно». Ведь ни один дурак не станет утверждать, что «курить полезно». Он всего-навсего хотел, чтобы я имел возможность покупать себе каждый день булочку! Директор школы курит «Прибой», а его сопливый ученик позволяет себе «Беломор», который в три раза дороже!

Эта беседа в одни ворота произвела на меня такое впечатление, что через несколько дней я бросил курить. И понял, какой это был грандиозный педагог. Окончательно я убедился в этом после другой истории.

Однажды мы затеяли драку — класс на класс. Конечно, тут же доложили директору. Он ворвался в класс, дернул свой мундир так, что с него все пуговицы осыпались, и закричал, повышая голос по хроматической гамме:

— Дуров! Сегодня ты ударил своего товарища, завтра ты ударишь своего учителя, потом — меня, потом ты убьешь члена правительства, а потом начнешь бить стекла!

Все замерли. Тогда я мало чего понял. А вот позже, анализируя его тираду, допёр: ну что такое член правительства? Ничто! А вот стекла после войны — это была великая проблема. Особенно — для директора школы.

Да, грандиозный был педагог наш директор.

С учителями отношения у меня никак не складывались. Была у нас преподавательница химии Крестова. С ней у меня были полные нелады. Я же не учился, и ее, как каждого педагога, это обижало и раздражало. А время шло к выпускным экзаменам. Моим соседом по парте был Лёва Коган, очень умный юноша. Вот он мне и говорит:

— Ты ведь в театральное училище собираешься идти?

— Да вроде...

— Так десятилетку надо кончать? Давай будем заниматься вместе.

— Лёвка, — говорю, — ты же идешь на золотую медаль, а со мной у тебя ничего не получится. Ты разучишься и вместо аттестата и медали получишь только справку.

Но Лёвка был упрямым человеком и настоял на своем. И вдруг оказалось, что он блестящий педагог.

— Давай, — говорит, — будем играть с тобой в химию.

— А как?

— А вот так.

Он взял учебник по химии МВТУ имени Баумана, и мы стали заниматься с ним по этому учебнику. А в нем кроме задач были еще и интересные упражнения. И вот мы с ним играли, играли, и я вдруг начал ощущать себя блестящим химиком, чуть ли не Менделеевым.

Пошел я на экзамен, иду по своей Почтовой улице весело, уверенно, даже подсакивая. Чувствую, что знаю химию, как стихи, что я ее не боюсь и сдам экзамен блестяще. Мне интересно было увидеть лица учительницы и членов комиссии. А в то время на выпускных экзаменах присутствовали очень даже представительные комиссии.

Прихожу в школу. Все трясутся. Рассказывают всякие страсти. Будто за парту сажают так, чтобы между учениками было не меньше полуметра. Тут уж никакую шпаргалку не передашь.

Короче, вызывают меня, и я сразу вижу по лицам членов комиссии, что они обо мне уже всё знают. Химичка наверняка уже рассказала им, что, мол, сейчас придет гад, который не знает абсолютно ничего; вы увидите, какое это чудовище; вообще его надо изничтожить... У них были такие лица, как будто им горчицы в рот плеснули. А она, наоборот, довольная: «Ну вот, вы сейчас сами увидите, что бывает на свете». И так хитро говорит:

— Билет тащи.

Я подхожу к столу и не глядя — цап! А она показывает пальчиком:

— Вон твоя парта.

Смотрю, а парта стоит отдельно, в отдалении. Нарочно поставила, чтобы изолировать меня ото всех. Как в зоне. И я говорю:

— А мне не надо. — И пошел к доске.

Взял мел и стал писать. Доска огромная, а я пишу, пишу, пишу, не останавливаясь, и чувствую спиной, как столбенеет моя бедная комиссия с моей Крестовой. Все смотрят на Крестову, Крестова — на доску. А я дописал внизу, кинул мелочек и вытер о шаровары руки. Она потеряла голос и прохрипела:

— Задачу...

Я подошел к столу, прочитал задачу и так бойко объяснил:

— Трам-пам-пам, тра-та-та, ту-ту-ту плюс пятнадцать калорий.

И она потеряла сознание. Ей стали капать валерьяновые капли — приводить в чувство. Очень запахло в классе валерьянкой. А я стоял и ждал, когда она придет в себя. Знал: это не смертельно. Она очнулась, и тогда я спросил:

— Всё?

И все члены комиссии закивали.

— Всё, всё, всё! Ты свободен!

Я вышел во двор, все интересуются, как и что, и я сказал:

— Блестяще!

А потом мы все вместе выпивали с представителем горono в скверике. Он был фронтовиком, имел несколько тяжелых ранений и сломался раньше нас. Мы его увели домой. А он все плакал и говорил, что настаивал, чтобы мне поставили годовую пятерку. А химичка заявила: если вы поставите больше тройки — она повесится. Комиссия пожалела ее и уважила просьбу: мне поставили тройку. Да и мне ее было жалко — ну не вешаться же, в самом деле, из-за отметки! И Крестова осталась жива. А я получил жуткий, но все же аттестат.

Много лет спустя, когда в Доме науки у меня был творческий вечер, в зале появился красивый пожилой человек с букетом. Он вышел на сцену и сказал:

— Лёвочка, Лёвочка, ты помнишь меня? Это я — Зиновий Борисович, твой преподаватель математики. — И обратился к залу: — Товарищи, вы знаете, это был мой любимый и лучший ученик!

Я чуть не упал в обморок, как когда-то Крестова, потому что никогда не вылезал из двоек. И вот неожиданно оказался его лучшим и любимым учеником.

Итак, аттестат получен. Но куда можно было идти с такими оценками! Да меня никуда и не тянуло. Только в театральное училище. А если не примут — на завод. Больше меня ничего не привлекало. Многие из моих товарищей пошли на завод и стали отличными токарями, слесарями, фрезеровщиками, наладчиками.

Никто не верил, что меня примут в театральное: ни родители, ни учителя. А в школе даже откровенно посмеивались над моей «блажью». Да, честно говоря, я и сам-то не очень верил. Верил в меня только один человек — Серпинский.

До сих пор не могу понять, почему Сергей Владимирович, одареннейшая личность, руководил каким-то драмкружком в Доме пионеров! Он великолепно знал астрономию, преподавал математику в вузе. Его отстранили от преподавания за то, что он провел выпускные экзамены, нарушив все предписанные педагогикой каноны. Прекрасно играл на фортепьяно. Блистательно знал мировую литературу. Одно время работал в литературной части Камерного театра. Это был удивительный человек! Вот только он один и верил в меня.

Сейчас, вспоминая о нем, я думаю: а может, эта вера и поддержала меня тогда, не дала упасть духом, укрепила уверенность в своих силах? Наверное, так оно и было. Без поддержки человек теряется и может так больно упасть, что больше и не поднимется. А кроме того, я не мог не оправдать доверия нашего общего любимца. Это было бы предательством по отношению к нему.

До сих пор благодарен я и своим товарищам, которые штопали прорехи в моем образовании: поднатаскали меня по всем предметам, чтобы я закончил десятый класс.

Поступал я в Школу-студию МХАТ имени М. Горького. На первый тур пришел в отцовском костюме. Прошло всего три года после войны, и все ребята ходили в лыжных байковых куртках. Куртка синяя, а кокетка голубая. Или в другом сочетании, но обязательно комбинированная.

У меня была замечательная желтая куртка с коричневой кокеткой. Но все родственники и близкие решили, что в театральное училище надо поступать обязательно в костюме. А отцовский костюм был мне, конечно же, очень велик. Постави-

ли меня посреди комнаты, что-то подвернули, убрали, подшили, и я отправился на закланье.

Коридоры студии были буквально забиты поступающими. Говорили, что на каждое место претендует больше тысячи человек. А всего нужно было принять двадцать два.

Ребята были разные и отовсюду. Мельтешили и те, кто за войну поизносился, вроде меня, и оделся в то, что осталось, но встречались и такие яркие пижоны, что даже как-то неловко за них становилось. Один такой — высокий красавец в роскошном костюме — все привязывался ко мне. Как встретит в толпе, так обязательно спросит сверху:

— Вы еще тут? А я думал, вы уже играете во МХАТе.

Мне очень хотелось врезать ему, но его самоуверенность и улыбчивая наглость обезоруживали.

Наконец дошла очередь и до нас. Я читал «Толстого и тонкого».

А потом Георгий Авдеевич Герасимов, который набирал курс вместе с Сергеем Капитоновичем Блинниковым, подзвал меня и спросил:

— А у вас нет костюма попроще? Я думаю, для вашего исполнения лучше быть, ну, скажем, в куртке. У вас есть куртка?

Он был очень тактичным человеком. И я подумал, что, действительно, к этому рассказу Чехова куртка подошла бы больше.

И так случилось, что вслед за мной выпало читать моему красавцу.

— Что вы нам предложите? — спросил Блинников.

— Монолог Сатина, — ответил красавец нарочитым басом и почему-то в фамилии сделал ударение на второй гласной.

Произнес он это так уверенно и с таким апломбом, что Блинников не выдержал и тут же, с ходу, спросил:

— А монолог трикотажа не прочитаете?

Я сразу же понял, что этот пижон не очень-то ему понравился. Но красавец даже и не думал смущаться. Он набычился и стал фальшиво орать, что человек — это звучит гордо! Ему не поверили. Никто не поверил.

Я вышел вслед за ним и хотел спросить: «Вы еще здесь? А я думал, вы играете...» Но когда увидел его растерянное лицо и жуткую тоску в глазах, то вспомнил правило: лежачего не бьют. И попытался его немного успокоить.

— Ладно, — сказал я ему, — плюнь ты на них. На втором туре и я наверняка погорю.

Но меня допустили до третьего тура. На нем были все старые мхатовцы: Топорков, Массальский, Карев, Раевский и, конечно же, сам Блинников.

Я стал читать:

— «На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля...»

И хотя все смеялись, меня прервали на половине рассказа.

— Достаточно. Спасибо, — поблагодарил меня директор студии Радомысленский и спросил у Блинникова: — Вы как считаете, Сергей Капитонович?

— Все понятно, хватит, — махнул ладошкой Блинников.

Мне тоже все было понятно. Занавес за мной опустился. Я вышел на лестничную площадку и попрощался с ребятами, для которых экзекуция была еще впереди.

— Ну, пока, парни. Счастливо вам!

И стал медленно, как в замедленной съемке, спускаться по лестнице. И тут услышал, как кто-то наверху спросил:

— Кто тут Дуров? Есть тут Дуров?

— Есть! — крикнул я снизу, еще не понимая, кому бы тут мог еще понадобиться.

— Иди скорее. Тебя Блинников ищет.

Я поднялся, открыл дверь в студию и сразу же столкнулся с Сергеем Капитоновичем.

— Ты все еще здесь маешься? Можешь бежать домой: мы тебя приняли, — засмеялся и ткнул меня пальцем в живот.

Вот так и решилась моя судьба.

«Тяжело в ученье — легко в бою», — сказал великий полководец.

Не знаю, как со второй частью этого изречения (в боях не был), а с первой ее частью согласен полностью. Нас не щадили с утра до вечера. Это не средняя школа, где можно было смыться с уроков и проторчать в туалете в компании таких же прогульщиков.

Расписание было таким плотным, что иголку не просунешь:

Мастерство актера.

История русского театра.

Сценическая речь.
Французский язык.
Западная литература...

И так далее и тому подобное, чему не видно ни конца ни края. И вечером опять — «Мастерство актера». Студию обычно покидали очень поздно, а с утра...

- Си-се-са-со-су-сы! Си-се-са-со-су-сы!
- Дуров, ну что это! «Си-се»... Уколи, уколи, как булавочкой, с двумя «с»: с-с-и! А из тебя будто пар выходит. Ну, давай еще!
- С-с-и, с-с-е, с-с-а, с-с-о, с-с-у, с-с-ы...
- Ну ладно, хотя бы так.

Тон академический, безапелляционный:

— Петров-Водкин говорил о современном мире образами-метафорами, в невероятном открывая перспективы его перемен, а в обычном — силу тех традиций, которым должен этот мир подчиниться в своем движении. Он мечтал об очищении человечества и лелеял идею его обновления. В «Купании красного коня» эти традиции... Звонок? Да-да, слышу... Следующий раз мы встречаемся с вами в субботу.

А это уже упражнения для тела.

— Кульбит вперед, кульбит назад... Вперед, назад! Вперед, назад!..

— Взяли рапиры. Та-а-к!.. Шестая позиция. Кисть руки держите на высоте груди. Та-а-к! Локоть отодвинут от тела на пятнадцать-двадцать сантиметров и слегка согнут. Так. Кисть развернута ладонью вверх. Рапира является как бы продолжением предплечья, острие находится примерно на высоте шеи бойца.

Шаг вперед — раз, два! Шаг назад — раз, два! Шаг вперед — раз, два! Выпад — коли! Стойка! Хорошо. А теперь по кругу — марш!

От топота копыт пыль по полю летит,
Пыль по полю летит от топота копыт,
От топота, от топота, от топота копыт
Пыль по полю, пыль по полю, пыль по полю летит.

— Быстрее, быстрее!.. Еще быстрее!..

Сшит колпак не по-колпаковски,
Вылит колокол не по-колоколовски,
Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать,
Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать.

— Быстрее! Быстрее! Еще быстрее!
Язык начинает заплетаться, но все же в конце концов находит свое место.

Этюды, этюды, этюды...

Беспредметные, с воображаемыми предметами, на память физических действий, с текстом и без текста...

У нас сложилась троица: Горюнов, Анофриев (тот, который и поет на эстраде, и сам пишет песни, и много снимается в кино) и я.

И как только педагог спрашивал: «Кто приготовил новый этюд?», мы выскакивали первыми.

— Опять вы? Ну давайте.

И мы давали! Кого и чего мы только не переиграли! Но запомнился, как мне кажется, наш самый лучший этюд «В окопе». Тогда мы еще проходили этюды без слов.

В маленьком окопе (им служили поваленные стулья) три бойца отражают танковые атаки противника. Рычать моторами мы попросили наших товарищей. По общей договоренности, я погибал при отражении первой же атаки. Пуля попадала мне прямо в сердце. И чтобы было понятно, что рана смертельная, я хватался руками за левую сторону груди. А товарищи, скорбно постояв над моим телом с обнаженными головами, должны были снова взяться за оружие и отражать атаки противника. Потом по нашему сюжету должен был погибнуть Горюнов. Анофриев оставался один. Он обвязывался гранатами и бросался под танк.

Это по сюжету, который мы приняли единогласно.

И вот мы начали. Залегли среди стульев, и студенты зарычали: танки пошли!

Мы трататакали из воображаемых автоматов, ухали разрывавшимися снарядами, бахали гранатами, вжикали пулями, свистели осколками. Все получалось очень здорово!

Но — мне вдруг не захотелось умирать. Какого черта я должен умирать, если есть возможность повоевать еще!

Атака была отбита. Мои сокопники посмотрели на меня и в недоумении переглянулись: он живой!

Началась вторая атака. Я понял, что надо получить хотя бы легкое ранение, схватился за плечо и застонал. Ко мне подполз Горюнов и, перевязывая меня, зашептал:

— Ты что, спятил? Мы же договорились — лежи тихо!

— Ничего не спятил! — зашипел я. — Умирай сам! — И пополз на боевую позицию.

Та-та-та-та-та-та-та-та! У-у-у-у-у-ух!

Меня опять ранило, но не смертельно. И я продолжал стрелять.

И вдруг Анофриев заорал:

— Пристрели его! Он же мучается!

Горюнов сделал скорбное лицо, сморщился, отвернулся и выстрелил в меня из указательного пальца:

— Чпа-а-ах!

Я вздрогнул, немного подумал и понял, что делать мне больше нечего и пора умирать.

А они, поднявшись во весь рост и обнявшись, поддерживая друг друга, так как тоже получили не одно ранение, запели почему-то:

— Ра-аскинулось мо-оре широ-око-о!..

И пошли на танки.

Мужественные люди... Этюд продолжался двадцать три минуты.

А Герасимов потом, после небольшой паузы, сказал:

— С завтрашнего дня начинаем этюды со словами.

Видно, понял Учитель, как нам хочется выразить свои чувства словами...

Мы учились на втором курсе, когда сказали, что нам оказана честь быть занятыми в дипломном спектакле «Бронепоезд 14-69». Ставил спектакль Павел Владимирович Массальский.

Мне тоже доверили поучаствовать в эпизоде, где я играл беженца. Но увлекло меня совсем другое.

Ведь что такое бронепоезд? Это грохот тяжелых вагонов-башен, перестук литых колес на стыках и стрелках, выстрелы, залпы...

Я подошел к Массальскому и сказал:

— Павел Владимирович, можно, я сделаю шумы для вашего спектакля?

— А ты умеешь? — недоверчиво посмотрел на меня Масальский.

Я снисходительно улыбнулся.

— Спрашиваете тоже...

— Ну давай!

Понятно, что шумами до этого я никогда не занимался. И даже представления об этом не имел ни малейшего. Но как это делали другие, мне не нравилось. Ведь всегда кажется, что ты можешь сделать намного лучше. Здесь можно было бы порассуждать о самомнении, но я не стану отвлекаться.

И вот я начал экспериментировать. Прежде всего я собрал солидную бригаду добровольцев. Мы натаскали кровельного железа, куски рельсов и устроили сложнейшую сигнализацию.

И вот спектакль!

Я проверил готовность нашей «аппаратуры» — всё на месте, всё под контролем.

Мужики стоят на рельсах и ждут прибытия бронепоезда. Кто-то должен пожертвовать собой, чтобы остановить его.

И вот издалека: ши-ши, ши-ши, ши-ши, ши-ши... Идет! Красиво идет!

Резонатор (деревянный ящик с фанерными боками) вступает за резонатором. Щетки, утыканные гвоздями, сыпят с боков резонаторов опилки. Ах, как хорошо!

— Приготовиться стыкам! Пошли!

Та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та!

Прекрасно! Поезд приближается.

— Врежь, ребята!

Та-та-та! Та-та-та! Та-та-та!

— Железо! Начали!

Зза-за-за! Зза-за-за! З-з-за-а!..

Нервно запели листы кровельного железа в руках увлеченных «ассистентов». Так и надо!

— Большой барабан!

Бу-а-а-а-а-а!.. Бу-а-а-а-а-а!..

— Залп!

Боже мой! Ахнуло все сразу! Дрогнули старые стены. В конце коридора что-то с грохотом рухнуло. На вешалке испуганно взвизгнула тетя Дуся:

— Господи! Да что ж это такое!

Я весь в поту. У меня у самого мурашки бегут. Фурор!

В зале овация! Прибежали из МХАТа — ведь наши здания рядом.

— Что тут у вас происходит?

— Спектакль.

— У нас чуть все стекла не вылетели! Мы думали — салют! Но ведь никакого праздника нет! Еще один такой спектакль — и рухнет вся наша альма-матер!

Да, хотя мы и наделали много шума, но «Бронепоезд» не прошел.

Первыми диссидентами в нашей стране были три студента Школы-студии МХАТ: Петр Фоменко, ставший потом известным режиссером, спектакли которого с успехом идут и у нас, и за рубежом, Саша Косолапов и Гена Павлов, который потом стал режиссером на телевидении.

Они не были политическими диссидентами — они первыми выразили некий протест против жесткой регламентации, которой подвергалась тогда общественная жизнь. Это их бесило, и они придумали свой образ жизни, свои нормы поведения.

Когда они входили в школу-студию, то поднимали руки (а у каждого тогда был фибровый чемоданчик с книжками, тетрадками, полотенцем и всякой мелочью), роняли чемоданчики, бежали вперед животами, ударялись ими друг о друга, падали навзничь, лежали несколько секунд, потом вставали и дули друг на друга. А когда они дули на кого-то, то это означало, что они уважают его. И шли на лекцию.

Они никогда не улыбались. И уже не могли играть нормально отрывки из любого автора, будь то Шекспир, Островский — не имело значения. Они читали текст с мертвыми лицами, на сцене дули на своих партнеров, и все это производило странное впечатление. Очень странное.

Петю Фоменко отчислили, Саше Косолапову вроде дали закончить школу-студию, и он тут же попал в Театр им. Станиславского. Это был высокий роскошный брюнет, очень красивый. И вот премьера спектакля, в котором Саша играл главную роль. Саша выходит на сцену и не говорит ни слова. Вообще он был непонятным человеком: никогда нельзя было понять, сколько в нем «сидит» — или вообще ничего,

или литр. Это не отражалось ни на его лице, ни в речи, ни в жестах.

Так вот, он вышел на сцену и молчит. Партнеры стали подсказывать ему текст. Саша молчит, опять подсказывают, опять молчит, потом тихо говорит:

— Да замолчите вы! Все я прекрасно знаю...

Вышел на авансцену и уже громко в зрительный зал:

— Скажите, вам не стыдно это смотреть? — Повернулся к своим партнерам и спросил: — А вам не стыдно это играть? Занавес закройте, пожалуйста.

А они должны были играть какую-то современную пьесу. Разразился жуткий скандал, который кончился тем, что по всем театрам Советского Союза было разослано предписание: артиста Косолапова не принимать на работу ни в коем случае. Как актер он пожизненно был дисквалифицирован за хулиганские действия на сцене.

Потом оказалось, что Саша — прекрасный художник-иллюстратор. Он выпустил массу книг со своими изумительными рисунками.

Как-то я встретил его на улице. Он шел, махая руками, как крыльями, имитируя полет орла и чуть подпрыгивая, как птица при разбеге. То ли он начал играть, когда увидел меня, то ли он все время так шел — не знаю.

Я сказал:

— Саша, здравствуй!

Он что-то пробормотал невразумительное:

— А...а...а... — и показал ребром ладони на свой рот. — Нет-нет-нет, Лёвочка! Боюсь, что расплескаю... Я полетел!

И он «полетел» дальше. Вся улица с изумлением смотрела на него.

Но было это много позже. А когда мы учились в Школе-студии МХАТ, эта тройка вытворяла черт знает что.

Вдруг кто-то прибегает и говорит:

— Ребята, на улице Горького скандал: наши там такое вытворяют!.. Их сейчас заберут в милицию!

Мы, конечно, бежим туда и видим: на трех липах на улице Горького сидят наши добры молодцы. Они по-настоящему жрут кору, а милиционеры пытаются стащить их с деревьев. Саша Косолапов отбрыкивается от них ногой и бормочет:

«Не троньте меня! Не мешайте! Я белочка! Я белочка! Я голодная белочка!» — и продолжает жрать кору.

Петя Фоменко верещит:

— Я зайчик! Я зайчик! Не трогайте меня — я голодный бедный зайчик!

Гена тоже что-то выкрикивает и жрет кору.

Их все-таки стащили и, как мы ни просили не забирать ребят, их увезли в «полтинник» — известное 50-е отделение милиции. Мы побежали туда. Не прошло и нескольких минут, как их выпустили и милиционер сказал:

— Всё-всё-всё! Сейчас их развезут по домам — и всё!

Оказалось, что в кабинете начальник обвинил их в том, что они создали аварийную ситуацию на проезжей части центральной улицы Москвы. «Что вы вытворяете, сукины дети?!» — стыдил он их. Те молча и тупо смотрели на него, и он растерялся. Потом они все трое синхронно ударились затылками о стену, наклонились над столом и выпустили огромную лужу слюны. Начальник заорал на своих подчиненных:

— Не видите, кого вы мне привезли?! Они все больные! Развезите их по домам! Мне что, за них отвечать?

Ребята подули-подули на этого начальника, сели в милицейскую машину, и их развезли по домам.

Прошло какое-то время, и опять кто-то прибегает и кричит:

— Ребята, выручайте! Будет большой скандал!

Мы снова бежим на улицу Горького и видим: Саша Косолапов лежит посреди дороги на животе и расставляет поперек проезжей части аптечные пузырьки. Где они их взяли, не знаю. У Гены Павлова был огромный мешок с этими пузырьками. Он доставал их по одному и передавал Саше, а тот перегораживал ими улицу Горького. А Петя Фоменко руководил уличным движением:

— Товарищи, товарищи, обходите, пожалуйста! Машины, объезжайте, объезжайте! Мы берем пробы воздуха! Берем пробы воздуха!

Пешеходы обходят, машины тормозят или объезжают. Ребята так убедительно разыгрывали эту сцену, что им нельзя было не поверить: люди действительно занимаются серьезным делом. И когда поток машин запрудил улицу и движение прекратилось, Саша и Гена разбросали эти пузырьки ногами и стали кричать:

— Всё, товарищи! Движение открыто! Проезжайте, проезжайте!

Никто не понял, что произошло и где милиция. А они, довольные тем, что закончили такую сложную работу, спокойно пошли гулять.

А история, которая с ними случилась в 1951 году, могла закончиться очень даже плачевно.

Секретарем комсомольской организации у нас был Шестаков, ленинградский парень, настоящий долдон. И эта тройка очень его не любила. А Шестаков носил огромные ботинки — кажется, 46-го размера. После занятий по пластике он ставил их у шведской стенки и спрыгивал с нее прямо в ботинки. И однажды после танцев, как обычно, Шестаков спрыгнул в ботинки и — замер. Потом сказал:

— Я все понял: это политический выпад...

Он пошел к директору студии Радомысленскому.

— Они мне написали в ботинки как комсомольскому вождю, — сказал он. — Это политический выпад.

И Радомысленский вызвал проказников к трем часам к себе в кабинет. Ровно в три часа Гена распахнул дверь кабинета, и Фоменко с Косолаповым в позе «Рабочего и колхозницы» большими скачками «подлетели» к столу директора и выпалили:

— Именем Сталина клянемся, что не мы писали Шестакову в ботинки!

А ведь Сталин-то еще был жив! Радомысленский потерял дар речи, понял, что он уже в Сибири и ребята эти — в Сибири. («Что здесь у вас за воспитание?! Что это за работа проводится с молодежью?!») И он уже представил себя на руднике, закованным в кандалы, добывающим уран или еще что похуже. И обреченно сказал:

— Вон...

Ребята подули на него и опять же скачками «вылетели» в коридор.

Радомысленский не выходил из кабинета, наверное, часа два — видно, решал, что с ними делать. Он понимал, что, если предаст это гласности, его тоже нет вместе с ними. И он принял мудрое решение: сделал вид, что вообще ничего не было, ничего не произошло. Не было — и всё! Таким образом, все остались живы и здоровы.

И вот несколько лет назад я встретил уже известного режиссера Петра Фоменко на улице. Он страшно обрадовался:

— Лёвочка, как я рад тебя видеть!

Мы обнялись, поговорили о делах, и пришло время нам прощаться. Я пожелал Пете успехов, он пригласил меня на свой спектакль, сказал «прощай». Потом неожиданно снял с ноги ботинок и кинул его вверх. Ботинок описал дугу и упал на карниз над вторым этажом.

— Петя, — сказал я, — что ты делаешь?

— Лёвочка, — воскликнул он, — это все равно не омрачит мне встречу с тобой!

И в одном ботинке пошел по улице, помахал мне рукой и завернул за угол.

А ведь со студенческой поры прошло столько лет!..

Студия подарила нам много личных знакомств не только с большими театральными деятелями, но и с великими государственными мужами. Сейчас-то об этих «мужах» и память небось выветрилась, а тогда!..

Ведь наша студия находилась рядом с Красной площадью, а стало быть, и рядом с Кремлем, и мы имели удовольствие наблюдать многих вершителей судеб тех времен. (Хотел добавить: эти встречи оставили неизгладимый след в наших сердцах. Но мое сердце почему-то запротестовало.)

Первый раз я увидел Никиту Сергеевича Хрущева при открытии одного из подземных (подуличных) переходов на улице Горького. Сама идея переходов пришла в голову Хрущева после его визита в США. Очень она ему понравилась, и он решил претворить ее в жизнь.

И вот выхожу я как-то из проезда Художественного театра на улицу Горького. На углу застыла небольшая толпа. Суетятся взволнованные официальные лица, одетые как манекены. Нетерпеливо смотрят в сторону Красной площади. Явно кого-то ждут.

Вижу, действительно — несется «членовоз», резко тормозит, и из него вылезает Хрущев. В шляпе, которая давит на уши, и в серо-голубом костюме.

Толпичка напряглась. И вдруг от нее отделяется мужичонка, простирает руки вверх и с криком «Господи!» начинает пятиться перед Никитой Сергеевичем. Пятился, пятился и, же-

лая, наверное, выразить верноподданнический восторг, завопил:

— Хинди — руси! Пхай-пхай!

Хрущев остановился, побагровел и заорал на всю улицу Горького:

— Ах ты, пьянь! Ах ты, рожа! А пошел ты на ...! — и выкрикнул известный адрес.

Мужичонка нырнул в толпичку и растворился в ней. А Никита Сергеевич никак не мог успокоиться:

— Вот пьянь! Я те дам пхай... говно собачье.

И, выкрикивая, притоптывал коротенькой ножкой в какой-то странной кустарной босоножке, и звук босоножка издавала необычный: блямкающе-звонкий. И я увидел, что босоножки подбиты железными подковками. Экономный был мужик Никита Сергеевич.

Кто-то из официальных лиц подскочил к нему с подушечкой, на которой лежали огромные ножницы.

— Никита Сергеевич, пожалуйста!

— А побольше не могли найти? Ведь надорваться можно! Я те дам пхай, морда пьяная... — И пошел по ступенькам вниз разрезать ленточку.

И тут с визгом подлетели черные машины. Из них стали выскакивать плотные ребята в одинаковых костюмах.

— Где он? Где он?!

Вся толпа молча показала пальцем в преисподнюю улицы Горького. Ребята ринулись туда.

А в это время Хрущев вышел с другой стороны, сел в подкатившую машину и умчался в Кремль. Охрана так и не настигла его.

Переход был открыт.

Вторая моя встреча с Никитой Сергеевичем произошла на том же самом месте.

Когда-то на углу улицы Горького и проезда Художественного театра был коктейль-бар. Потом, видно по морально-политическим соображениям, его переделали в кафе-мороженое. Но несмотря на такую метаморфозу, туда всегда стояла очередь.

И вот однажды стоим. Ждем. Подъезжают три черные «те» машины. Из одной выходят Хрущев и Тито.

— Ребята, вот Броз интересуется, за чем очередь.

— За мороженым, Никита Сергеевич.

— Слышь, Броз, это за мороженым. Чего? Тоже хочешь?
Ну давай встанем.

Все зашумели.

— Да вы что, Никита Сергеевич! Ну уж вы... Проходите!

— Уважаете? Ну ладно, пойдем без очереди, Броз... Ой, а у меня и денег-то нет. Ребята, дайте кто-нибудь пятерку, нам хватит.

Подскочил охранник.

— Никита Сергеевич...

— Не, у тебя не возьму. Ты охрана — вот и охраняй. Я у людей прошу.

Я стоял рядом с Хрущевым и протянул ему пятерку.

— Пожалуйста, Никита Сергеевич.

— Спасибо, а то видишь — без копейки. А ты, — обращается к охраннику, — запиши его адрес, я потом дам тебе деньги, и ты перешлешь ему. — И опять ко мне: — Ты не волнуйся, я верну.

— А я и не волнуюсь.

Никита Сергеевич доволен:

— Видишь, Броз, — верят. Ну, пойдем.

Через неделю я получил перевод на пять рублей. Тогда почта к переводу менее десяти рублей не принимала.

А в третий раз я увидел его в Кремле. На ёлке. Хрущев должен был приехать с какой-то своей учительницей, но опоздал. И всех детей, которые уже посмотрели одно представление в Георгиевском зале, оставили на следующее, и они, бедные дети, всё смотрели дважды. Приезжает Хрущев с этой своей учительницей. И начинается настоящий цирк. Георгиевский зал переполнен, Никита Сергеевич сидит с учительницей в окружении детей на стульчиках. А неподалеку сидит начальник кремлевской охраны — генерал-лейтенант (не помню уже его имени). И вот наш режиссер Леин, видно, решив выслужиться, встает на четвереньки, подползает по ковру к Хрущеву и давай ему объяснять, что вот это, мол, поют, а вот танцуют... Тут его замечает генерал — и к охранникам:

— Это кто там ползает? Кто такой? Ну-ка быстро за жопу его и ко мне!

Охрана тоже ползет на четвереньках, окружает Леина и в буквальном смысле за жопу тащит его к генералу. Генерал его спрашивает:

— И чего там тебе надо?!

А Леин:

— Ну, я рассказываю, объясняю Никите Сергеевичу...

На что генерал грозным шепотом:

— А он что, по-твоему, дурак, да? Он что, без тебя не понимает, кто пляшет, кто поет? Ну-ка быстро отсюда! Ползком!

И Леин, несчастный, исчез.

А Никита Сергеевич досмотрел ёлку с радостью. На этом представлении, кстати, была занята масса хороших артистов. Олег Николаевич Ефремов, например, был Добрым Молодцем и проходил с хоругвью в руках через весь зрительный зал. Гордо. Не говоря ни единого слова. Вот такая история...

Хрущеву, как человеку простому, эмоциональному, может, даже неуправляемому, со временем стало казаться, что он сумеет все: и в сельском хозяйстве разберется, и в том, и в другом, и в третьем... Он, конечно, понаделал массу ошибок. Но никто из приходящих «на престол» от этого не застрахован. А ему ошибки прощали. Даже художники простили ему разгром в Манеже. И, кстати, говорят, что он утром проснулся и сказал: «Не мешайте. Они все талантливые люди, пусть работают». И вот парадокс: он громил Неизвестного, Никитова...

С Неизвестным была целая история. На знаменитой выставке, глядя на его работы, Хрущев спросил:

— Как твоя фамилия?

— Неизвестный.

— Нет, кто ты такой?

— Я Неизвестный.

— Никита Сергеевич, — подсказывают Хрущеву, — это фамилия у него такая — Неизвестный.

Тогда он говорит:

— А! Ну, считай, что с сегодняшнего дня ты совсем неизвестный!

Потом, еще раз посмотрев на работы, Хрущев спрашивает:

— А где ты бронзу берешь?

— На помойках, — отвечает тот.

— Лучше сдавай ее государству, — советует Хрущев. — У нас очень мало цветного металла для шестеренок.

На что, по легенде, Неизвестный ответил:

— В метро у вас висит очень много идиотской бронзы. Снимите, переплавьте, и у вас получится очень много шестеренок...

И вот как все обернулось: надгробие Никите Сергеевичу сделал Эрнст Неизвестный. И памятник получился очень хороший и такой, прямо скажем, «в лоб»: колонна белая (и не прямая колонна, а изогнутая) — колонна черная, то есть его светлые и темные дела. А на полочке стоит золотая голова то ли крестьянина, то ли римского императора, то ли он плачет, то ли улыбается — понять трудно. Ведь Хрущев был очень сентиментальным, эмоциональным. Вспомните хотя бы, как он встречал Гагарина. Нормальный мужик, нормальный человек. Я знаю, что, став пенсионером, он увлекался фотографией. А говорят еще, однажды позвонил то ли Васнецову, то ли Никонову и попросил приехать и показать, как тот трудится — как грунтует холсты, как накладывает краску на холст. Не знаю, насколько это правда, насколько легенда, но говорят, будто бы Хрущев стал заниматься на даче живописью. Абстрактные полотна писал. И очень здорово. Ведь талантливое абстрактное полотно от дилетантского отличить очень легко. И, опять же по легенде, в день смерти Хрущева какие-то люди все полотна на территории его дачи сожгли. И кто знает, может быть, в тот день не стало русского художника-абстракциониста Никиты Хрущева. Эта легенда мне нравится, и я в нее верю.

Четыре года пролетели в студии как один день. И вот государственные экзамены, дипломные спектакли.

Я был занят в нескольких, но основным и любимым для меня был «Егор Булычов». Ставил спектакль Сергей Капитонович Блинников. И работал он с нами уже как с профессиональными актерами.

Я был одним из его любимых учеников. В студийном капустнике был даже такой номер.

Заседает педсовет студии.

— Сергей Капитонович, что вы будете ставить?

— «Гамлета».

— А кто Гамлет?

— Лёвка, кто ж еще!

— А потом что будете ставить?

— «Брандта» Ибсена.

— А кто Брандт?

— Лёвка, кто ж еще! Ну, а на диплом будем ставить «Булычова».

— А кто Булычов?

— А Булычов... Конечно, Лёвка, кто ж еще!

Это было близко к правде, но в «Булычове» я играл трубача. Я использовал весь арсенал «старого» театра: парик, наклейки и даже гуммозный нос, весь в дырочках: надо было прятать молодость...

(Смешно, смешно!.. Прошло время, и в спектакле «Снятый и назначенный», где я играл молодого ученого, мне уже пришлось прятать... ну, не старость, конечно, но полянку на голове пришлось прикрыть бойкой накладочкой.)

Почти всегда на сцену с трубачом приходили студенты с других курсов. Набивались в тесные кулисы и аплодировали вместе со зрителями. И мы все были горды и счастливы.

Много лет спустя я был приглашен на эту роль в кино. И вот втроем: М.Ульянов (Булычов), С.Соловьев и я бьемся над этой сценой... Бьемся несколько дней, а нужное, единственное решение так и не приходит.

Я уверен, что в дипломном спектакле эту роль я играл лучше: тоньше, драматичнее, чем в фильме, где я снимался, будучи уже опытным актером.

И вот окончен дипломный спектакль. Сняв вазелином грим, я пошел по длинному студийному коридору к «своим», которые были на спектакле.

— Молодой человек, как мне найти Дурова? — останавливает меня солидный мужчина, чем-то напоминающий грека Дымбу в фильме по чеховской «Свадьбе», того, который говорил: «В Греции всё есть». Только человек этот без усов, очень деловой и спокойный и говорит с небольшим восточным акцентом.

— Я Дуров.

— Я вас не узнал. Вы ведь в спектакле весь заклеенный. Очень хорошо вы играете.

— Спасибо.

— Я Шах-Азизов. Директор Центрального детского театра. Хотите работать у нас? У нас очень хороший театр.

— Да, я знаю. Мне Олег Ефремов рассказывал. Он ведь у вас играет, а у нас преподает. Да и спектакли я ваши видел.

- Понравились?
- Да.
- Ну вот и хорошо. Считайте, что вы в нашей труппе.
- Но ведь комиссия...
- Я уже договорился. Очень хорошо играешь. Ну, отдыхай.

В сентябре я пришел на первый в своей жизни сбор труппы, где встретился с Анатолием Васильевичем Эфросом, с которым мы потом не расставались почти двадцать семь лет. А в Центральном детском театре я проработал около десяти лет. Сколько же ролей было сыграно! И каких!

Уверен, что далеко не каждый актер может похвастаться, что он играл... репей! Да-да — именно репей! Липкие колючки, которыми так любят бросаться дети. А потом матери, причитая, выстригают эти колючки из их спутанных волос. И была у репья даже любовь (конечно, в рамках детского театра) — пелуния. А под финал появлялся даже маленький грудной репейничек!

Или, скажем, — огурец. И не какой-нибудь огурец, а — молодой. Так и в программе стояло: Молодой огурец — Л.Дуров.

А кто играл тучку? Ну, кто? Никто! А я играл. Сам придумал решение и сам играл. И летал на семиметровой высоте, повиснув на веревочной лестнице в гриме эффелевского бога, в фартуке, резиновых сапогах и с лейкой в руках.

И добрая волшебница, которую играла Валентина Александровна Сперантова, кричала мне снизу:

— Здравствуй, тучка!

А я ей сверху в ответ:

— Здравствуй, мать!
 Что изволишь приказать?
 Хочешь снега или града?

— Снега, града — нам не надо.
 Ты листочки поскорей
 Теплым дождичком полей,
 По листочкам постучи,
 Только нас не замочи.

И я, полив цветочки из лейки и потанцевав с жучками и бумажками, улетал дальше.

— Полечу теперь опять
Кукурузу поливать!

Это был очень красивый спектакль — «Цветик-семицветик». Огромная деревянная жирафа, качая своей длинной шей, прощалась с детьми:

— До свиданья, до свиданья, до свиданья.

Зал хором отвечал:

— До свиданья, до свиданья, до свиданья!

И сцену заполняли огромные разноцветные шары. Они медленно плыли в воздухе, и звучал вальс.

— До свиданья, до свиданья, до свиданья...

Каждый новый спектакль был для нас огромным творческим событием. По причине нашей «детскости» острые общественно-политические страсти обходили нас стороной.

Но вот однажды в моей квартире раздаётся звонок. Срочно вызывают в театр. Что такое? По телефону не объясняют. Приезжаю.

— Сегодня на спектакле «Двадцать лет спустя» будет товарищ Хо Ши Мин.

— Ну и что? — спрашиваю.

— Надо хорошо играть.

— А я плохо не умею.

— Бросьте ваши дуровские штучки! Отнеситесь к этому серьёзно!

И я понял, что действительно шутки неуместны: к полудню театр заполнили какие-то молчаливые, спортивной выправки люди. Всё осматривали, всё обстукивали и молчали. В театре воцарилась странная напряжённая и таинственная атмосфера. Как будто вот-вот что-то должно случиться. Наконец кто-то шепотом сообщил:

— Приехал...

С небольшим опозданием начали спектакль по пьесе Михаила Светлова. Самого автора искали целый день, но так и не нашли.

Играем. Волнуемся. А зал смотрит не на сцену, а на дедушку Хо, который сидит со свитой в ложе. А вот и финал. Дедушка Хо громко аплодирует, кричит:

— Браво!!

И весь зал начинает орать:

— Браво!!!

Кланяемся минут пять. Полный успех! Радостные расходимся по гримуборным, а там везде «мальчики».

— Не раздевайтесь, не разгримировывайтесь: сейчас придет «сам».

И вот появляется «сам». Улыбающийся от уха до уха, с козлино-козьей бородой на желтом лице — дедушка Хо.

— Дорогие мои! Ну как хорошо вы играете! Вот молодцы! — причитает он на чистом русском языке. — Вот порадовали старика! Спасибо, спасибо вам, родные. Я подумал: зачем цветы? Ведь завянут. И решил привезти вам конфеты.

Тут же внесли огромные круглые коробки. А я понял, как ловко он выкрутился. Когда ему сказали: «Детский», он подумал, что в этом театре играют не артисты, а дети, вот и привез конфеты.

Он стал громко и долго всех хвалить, начал нам пересказывать содержание пьесы. А высокий красивый брюнет, заслоняя собой проем двери, нетерпеливо покачивал головой. Потом вдруг сказал, бесцеремонно оборвав дедушку Хо на полуслове:

— Хо, Хо! Всё, всё, хватит болтать! Баиньки, баиньки! — И захлопал при этом в ладоши.

— Подожди ты! Кто при ком? — отмахнулся Хо и попытался продолжить.

— Ну всё, надоело! — не выдержал красивый брюнет. — Берите его, ребята!

Два здоровенных парня отделились от стены, взяли под руки Хо, оторвали от пола и понесли на выход. Дедушка Хо, перебирая в воздухе ножками, кричал:

— Ну, видали, как обращаются с одним из лидеров мирового коммунистического движения? Видали?

А брюнет шел следом, хлопал в ладоши и приговаривал:

— Баиньки, баиньки... Уморил ты нас за день, говорун ты наш. И нам пора бай-бай.

Дедушку Хо унесли.
А мы набросились на конфеты.
И — никаких международных конфликтов.

Иногда, желая похвалить какого-нибудь актера, говорят: «Он играет не на технике», вкладывая в слово «техника» пренебрежительный смысл.

Так как же с ней быть — с этой самой техникой? Нужна она или нет? И вообще, что это такое? Что под ней подразумевается?

Конечно, техника необходима, и не элементарная, а профессиональная: хорошая дикция, умение двигаться, владеть своим телом и тому подобное. Это актерская азбука.

В моем понимании владение техникой — это внутренняя подвижность, умение мгновенно менять психологические ходы, готовность в любой момент к высшим проявлениям. Это каждодневная мобилизация себя с утра до вечера, а выходных, как правило, у актеров не бывает. Подчинение своего настроения и, может быть, использование его. Я думаю, что такое понятие, как вдохновение (а оно, несомненно, существует), тоже является техникой.

Ведь что такое вдохновение? Это радость от умения и внутренняя свобода, когда тебе подвластно течение спектакля, его ритм, его музыка, когда ты готов увидеть и принять любое движение партнера, когда ты готов к импровизации.

Конечно, техника необходима. Нельзя же каждый вечер буквально переживать смерть близкого человека («Брат Алеша», «Ромео и Джульетта») или собственную смерть («Отелло», «Ромео и Джульетта»). Но сыграть истинно, сыграть приближенно к подлинному — актер просто обязан.

В связи с этим расскажу одну историю.

Эфрос ставил, здесь же, в ЦДТ, пушкинского «Бориса Годунова», где Воронов играл царя Бориса, а я — царевича Федора. Как мы ни бились, никак у нас не получалась сцена смерти Бориса Годунова и прощания его с сыном. Не получалась — и всё!

Сцена известная. Умиряющего Бориса вносят бояре. Вбегает царевич.

— Подите все, — говорит Борис. — Оставьте одного царевича со мной. Умираю! Обнимемся!

Царевич бросается к умирающему отцу, и тот дает ему наставления, как править государством и как вести себя:

— Прощай, мой сын, сейчас ты царствовать начнешь.

Разбираем сцену. Конечно, наивно думать, что Борис просто дает наставления. Скорее всего, это от страха за судьбу ребенка, который остается наследником среди бояр, перед которыми сам царь Борис часто бывал бессилён. Да еще царевна-дочь. Значит, скорее всего, это говорит отец, а не царь. И хочет он сказать своему сыну как можно больше. Нужно успеть, успеть... А смерть все ближе и ближе...

Кажется, все ясно, но не получается. И вот мы решили с Вороновым встретиться до репетиции, кое-что попробовать и показать Эфросу. И договорились вот до чего: Иван Дмитриевич представит по-настоящему, мобилизовав всю свою фантазию, что он действительно умирает, настроится на это. А я представлю, что это умирает мой отец...

Такая уж профессия — приходится подкладывать и самое страшное.

Сговорились. Пришел Эфрос. Репетировали в кабинете Марии Осиповны Кнебель. Мы переглянулись и начали сцену.

Я вбежал в кабинет и увидел бледного Воронова в кресле. Губы у него тряслись. Он открыл глаза, в них была жуткая боль.

— Умираю, обнимемся...

Я бросился к нему и зарыдал. Стал гладить его лицо, встряхивать, отгоняя оцепенение. У Воронова по щекам потекли слезы.

— Советника, во-первых, избери... Для войска ныне нужен...

Из кресла он сполз на пол, а я лежал, уткнувшись в его колени, и рыдал. И вдруг речь Воронова стала сбивчивой, а затем началось просто бормотание.

Я посмотрел на царя-батюшку и перестал играть. Лицо у него было белым как простыня, вокруг рта обозначился черный клин, глаза закатились. Он умирал!

Эфрос бросился к телефону и стал вызывать «неотложку». А я выскочил в фойе и стал орать:

— У кого есть что-нибудь от смерти?!

Воронов потерял сознание и лежал на стульях, куда его перенесли. Что-то ему дали или влили, я уже не помню, но он открыл глаза и сел.

— Вы с ума сошли... — говорил бледный Эфрос. — Да разве так можно? Это ж театр, а не... Это ужасно!

Все обошлось, слава богу. Иван Дмитриевич на моей памяти никогда не болел. Это был крупный и сильный человек. За кулисами он часто проделывал такой фокус: брал в руку большой гвоздь и с размаху пробивал им толстенную доску.

И хоть этот случай был действительно ужасным, но на нем я понял, сколь велики возможности актера. А Воронов потом мне часто с гордостью говорил:

— Ну, как мы с тобой тогда! Пусть кто-нибудь так попробует, а мы посмотрим!

А мне, честно говоря, очень не хотелось, чтобы он еще раз так «попробовал» — это бы добром не кончилось.

В 1955 году Виктор Сергеевич Розов написал комедию «В добрый час» и принес ее Эфросу. С тех пор драматург остался верен нашему театру, и все свои пьесы приносил нам: «В поисках радости», «Неравный бой», «Перед ужином»...

И я был занят во всех этих спектаклях, что доставляло мне огромное счастье и приносило большое творческое наслаждение.

Но особенно запомнился первый спектакль, может быть потому, что я сыграл в нем у Эфроса свою первую роль. Конечно, не только поэтому. Это был великолепный спектакль, на который валила вся Москва.

У меня сохранилась фотография: участники вместе с гостями. А среди гостей: Б.Бабочкин, Л.Утесов, В.Марецкая. И это только на одном спектакле. А играли: Людмила Чернышева, Олег Ефремов, Валерий Заливин, Маргарита Куприянова, Олег Анофриев, Матвей Нейман, Геннадий Печников, Галина Новожилова.

Не стану объяснять, почему спектакль стал событием в театральном искусстве, об этом хорошо сказал еще в то время драматург Николай Погодин:

«Раздумывая о нашем искусстве драмы, мы часто с беспокойством оглядываемся вокруг — что-то нет и нет ничего нового, ибо не всякая пьеса, впервые поставленная на сцене, есть новая пьеса. Понятие новизны в искусстве, не говоря уже о “новом слове”, — понятие емкое, содержательное и многообещающее. Как в науке, так и в искусстве под этим

понятием скрывается какое-то открытие. И таких пьес, которые бы открывали нечто новое для нас, мы долгое время не видели.

Но вот сегодня явилась живая пьеса и такой спектакль, и мне радостно сделать это обязывающее предисловие и назвать пьесу драматурга В.Розова и спектакль Центрального детского театра “В добрый час” выдающимся событием в жизни нашего искусства. Искусство, если под него даже подводить вещественность и даже видеть в нем живую Мельпомену с ее характером, сколько мне доводилось наблюдать, совершенно не заботится о местоположении, адресе и признанности сцены и уживается там, где ему, искусству, лучше всего дышится. Вот что мне хотелось сказать о театре, именуемом Центральным детским, о молодом режиссере А.Эфросе, о всем ансамбле, явно дружном, остро творческом, сыгравшем этот спектакль».

Это было нашим началом. И все мы тогда были молодыми. А потом нам принес свою первую пьесу «Друг мой, Колька» молодой Александр Хмелик. И тогда Эфрос впервые пригласил меня в режиссуру, назначив своим ассистентом. Это был мой дебют в режиссуре.

Собственно, дебютантами были все: актеры, студенты драматической студии ЦДТ, всего полтора года тому назад закончившие школу, и, как ни странным это может показаться, постановщик спектакля Эфрос. Так как впервые в этом спектакле он выступил не только в привычной роли режиссера, но и в качестве педагога.

Кольку играл Геннадий Сайфулин, теперь известный актер. Играл блестяще! Да все играли прекрасно: и В.Лакирев, и И.Гулая, и В.Аванесов, и М.Логвинов, и Б.Захарова, и А.Дмитриева, и Л.Чернышева, и В.Калмыков...

Главный режиссер Центрального театра Советской Армии Алексей Дмитриевич Попов, посмотрев спектакль, сказал:

— Их могут переиграть только собаки! Настолько они естественны и правдивы.

А одна из газетных рецензий заканчивалась так:

«Существует особый вид художественной удачи, когда произведение перерастает свою ближайшую цель. Часто говорят о каком-либо детском (иногда и о взрослом) спектакле: “Конечно, серенький, средний, но... учит”.

Это неверно! Скука и посредственность никогда не могут быть воспитателями. Воспитывать может только яркая художественная удача, такая, например, как “Друг мой, Колька”...»

Здесь ничего ни убавить ни прибавить, и я с чистым сердцем подписался бы под этими словами.

К глаголу «учить» вообще следует относиться очень осторожно и бережно. В конце концов, искусство никогда и никому никого не учило и не учит. У него другая задача: оно воспитывает! Помните, у Пушкина: «...чувства добрые я лирой пробуждал». Вот это и есть великая цель искусства: пробуждать в людях добрые чувства. А учить...

Надежда Мандельштам, вдова поэта Осипа Мандельштама, в своих воспоминаниях с возмущением и горечью писала о поразительном самомнении коммунистической партии, которая взяла на себя исключительное право «учить народ». Тот самый народ, который издревле является носителем и национальной идеи, и национального сознания, и национальной нравственности.

Сейчас это кажется какой-то чудовищной фантазмагорией, бредовой фантазией: сын сапожника (Иосиф Джугашвили) и сапожник (Лазарь Каганович) взяли на себя исключительное право учить и воспитывать великий народ с великими нравственными и культурными традициями. Королевство кривых зеркал!

И что поразительно! Когда эти учителя уже ушли в небытие, иные прилежные ученики с благоговением перенесли свое преклонение перед кумирами на предметы их обожания. Какими бы странными они ни были. Чтобы пояснить свою мысль, расскажу две истории.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

Среди нашей братии бытует поговорка «волка кормят ноги, а актера — ёлки». Ёлки — это новогодние детские представления. Когда я работал в Центральном детском театре, то играл ёлки везде: в Колонном зале, в Парке культуры, в Кремле, в клубе «Каучук», в клубе Зуева. Где только не играл!

И вот однажды в Кремле в перерыве между ёлками захожу в необходимую всем комнату с буквой «М».

Стою, журча. Рядом встает еще кто-то. Тоже журчит. Я ско-сил вниз глаза — вижу генеральские лампы. И вдруг печаль-ный вздох:

— Ох, ох, ох!.. — И через короткую паузу провоцирующее на вопрос: «Что вы говорите?»: — Да-а-а...

Молчу, журчу..

— Да, молодой человек, а ведь вы и не знаете, что это лю-бимый писсуар Климента Ефремовича Ворошилова. Да-да-да!..

И лампы ушли. И столько было в этом «да-да-да» боли, что я невольно прервал прозаический ритуал.

Действительно, какой-то задрипанный артист узурпировал любимый писсуар легендарного полководца, луганского сле-саря Клима. Правда, я до сих пор не знаю ни одного сражения, выигранного им, да и конармейскую тачанку, кажется, изобре-ли махновцы. Но это неважно. Все равно — легендарный.

Глядя в любимый фаянсовый маршальский эллипс, я вы-держал секунду уважения и... дописал. Потом вымыл руки кремлевским мылом и отдал писсуару честь.

Скептики могут принять эту историю за актерскую байку. Но вот другая история, о которой мне поведал писатель К. Он просил не называть его имени только потому, что его приятель, очень известный писатель И., недавно ушел в мир иной и ему не хотелось бы поминать его в связи с этим случаем.

Итак —

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

Несмотря на разницу лет и неравное общественное положение, эти два писателя давно были на «ты»: их сближало родственное отношение к творчеству. Фронтовик И., кавалер чуть ли не дю-жины боевых орденов, начиная с ордена Ленина, лауреат почти всех отечественных литературных премий, бессменный секре-тарь Союза писателей, был человеком скромным и общитель-ным. Орденов никогда не носил и званиями не кичился. Писал он только о войне и о современной армии.

И вот в канун Нового года К. задумался: какой бы подарок сделать старшему товарищу? И тут вспомнил об одной вещи-це, которая несколько лет лежала у него в писательских закро-

мах. Это был Атлас генерального штаба германских вооруженных сил, изданный в 1912 году. Форматом почти полметра на полметра. В толстом переплете, обтянутом голубым муаром. Как потом выяснилось, таких экземпляров сохранилось в мире только три. Это то, что известно. У К. был четвертый — неизвестный. С этим Атласом немецкий генштаб работал, готовясь к Первой мировой войне.

Вот К. и решил подарить этот Атлас своему другу. Дело было в Переделкине, где эти писатели жили недалеко друг от друга.

Пришел, поздравил с наступающим и вручил обернутый в плотную бумагу Атлас. Тот взял подарок и чуть не уронил: в нем было не менее пяти килограммов.

— Что это?

— Посмотри сам.

И. положил подарок на стол, развернул и откинул крышку переплета. Долго смотрел на титульный лист, даже погладил его ладонью и, вздохнув, закрыл.

— У меня нет таких денег... — сказал он, чуть не плача от досады, что не может приобрести такую вещь.

— Ты что? — возмутился К. — Я тебе продавать пришел? Это тебе подарок к Новому году! Мне-то на хрен нужен этот Атлас? Я же не пишу о войне. А тебе сгодится для работы.

И тогда И., все еще не веря, что это — его, мотнул, не оборачиваясь, головой на шкаф, на котором всегда стояла батарея бутылок.

— Возьми чего хочешь, а я еще посмотрю. — И он стал любовно гладить муаровый переплет, забыв обо всем на свете. Потом опомнился: — А чего ты стоишь? Садись, где тебе удобнее.

К. увидел в углу старое продавленное кресло в черной потрескавшейся коже и, чтобы не мешать товарищу восторгаться приобретением, плюхнулся в него. Услышав жалобный скрип пружин, И. резко вскинулся и вдруг рявкнул:

— Встань! Сейчас же встань!

К. подумал, что, видно, он рискует проткнуть себе задницу лопнувшей пружиной, и вскочил.

— Ты знаешь, что это за кресло? — спросил его с придыханием И.

К. пожал плечами.

— Сталинских времен? — предположил он неуверенно.

— Это любимое кресло Вячеслава Михайловича Молотова! — сказал И. с большим значением. — Когда он приезжает ко мне, то всегда садится в него.

И К. решил пошутить:

— Стало быть, я могу теперь гордиться, что познакомился с Вячеславом Михайловичем жопами!

— Дурак, — сказал беззлобно И. и снова возвратился к Атласу. — Ладно, теперь садись. Главное, чтобы ты прочувствовал.

Что это — фетишизм? Тоска по безвозвратно ушедшим идолам? Не знаю. Пусть в этом разбираются психоаналитики. А я, как и мои товарищи по сцене, психическими расстройствами пока, слава богу, не страдаю. И то, о чем я сейчас рассказал, в нашей среде было бы принято за байки. За шутки.

Кто из нас нормальный: шут, превращающий трагедию в фарс, или король, для которого фарс грозит обернуться трагедией? Не знаю. Шекспир знал.

Как ни условно театральное искусство (как будто искусство вообще не условность), а оно несет в себе больше реалий, даже в притчах и аллегориях, чем иные наши реалисты, у которых мозг превратился в рудиментарный придаток.

Интересы артистов, как и людей любой другой специальности, не могут ограничиваться лишь профессией. Иначе человек, перефразируя немного Козьму Пруткову, будет подобен флюсу. А это очень неудобное состояние.

Чтобы сохранить симметрию своей духовности, у нас в театре была учреждена Академия травильщиков. Для того, чтобы быть избранным в нее, нужно было рассказать историю, в которую бы все академики поверили. И если кто-то говорил: «Не верю», претендующий на столь высокое звание должен был доказать правдивость своего рассказа.

Собирались обычно в гримборной перед спектаклем, когда все уже были в гриме и костюмах. Особенно выразительно это выглядело, например, перед спектаклем «Борис Годунов», когда среди академиков можно было увидеть царя-батюшку

в бармах и шапке Мономаха, сурового патриарха, бродяг-чернецов Мисаила и Варлаама, князей и бояр в роскошных шубах. Это надо было видеть! И у каждого была своя определенная тема: у одного — медицина, у другого — любовные истории, у третьего — кино...

Истории рассказывали по очереди.

Вот князь Шуйский убеждает всех, что у Анки-пулеметчицы были интимные отношения с Василием Ивановичем. Доказательства? Пожалуйста. И князь начинает анализировать сцену, где Петька объясняет Анке устройство пулемета, а сам кадрится к ней. И тут на самом интересном — затемнение. Ведь в те времена интимные сцены не показывали. Но! В следующем кадре появляется злой, как собака, Чапаев. Ему уже наверняка обо всем доложили, и он не находит себе места. Его, как Отелло, гложет яростная ревность! Возражений нет. Убедил.

Была у нас артистка Струкова. Она играла всех Баб-яг. Как-то она рассказывала:

— Пришла я однажды к врачу. А тот что-то пишет и, не глядя на меня, говорит: «Раздевайтесь». Я зашла за ширму, разделась и вышла. Врач поднял голову и чуть не свалился со стула. «Боже, — говорит, — что с вами?..»

Это была потрясающая Баба-яга. И вот она тоже пришла в Академию и говорит:

— А я вчера видела розовую собаку.

И кто-то с ходу:

— Не верю.

— Да? — улыбнулась она своей очаровательной улыбкой. — А я сейчас пойду с вами и покажу то место, где стояла эта розовая собака.

И такого доказательства было достаточно.

За актером Устюговым были наивные новеллы.

— Вот я сижу вчера на берегу реки и ужу рыбу, — рассказывает он. — У меня была сигарета в зубах. Незаметно я задремал и упал в воду. Гляжу, а я уже на дне! И сигарету курю.

И на этот раз никто не сказал: «Не верю», потому что он взял бы с собой свидетелей, пошел и показал тот берег, на котором он сидел.

Я попал на заседание Академии, как только пришел в театр.

— Ну, Дуров, — спрашивает председатель, — есть у тебя что-нибудь?

— Есть, — говорю. — Вот тут шофер ехал по горной дороге, потерял управление, выпал из кабины, зацепился челюстью за дерево, и его оскальпировало. Потом его нашли, починили, и сейчас он жив-здоров и снова за рулем.

Все вытаращили глаза, а председатель и говорит:

— Прости, старик, ты у нас первый раз, но мы тебе выражаем общее недоверие.

Очень я тогда обиделся и побежал на почтамт звонить в Винницу, где я прочитал эту статью: «Срочно вышлите “Медицинский вестник”». И мне прислали. Я пришел на следующее заседание и положил им журнал на стол — вот!

А там сидели Ефремов, Печников, другие известные артисты. Они просмотрели статью, изучили чертежи, по которым восстанавливали человека, и вынуждены были признать, что я оказался прав.

— Быть тебе, Дуров, председателем.

И ведь что интересно: не мальчишки играли, а взрослые люди, известные на всю страну артисты. И играли серьезно, по-настоящему, без тени улыбки.

Иногда заходил Эфрос, останавливался в дверях и слушал. Но он не участвовал в заседаниях, потому что был человеком слишком серьезным и прекрасно понимал, что тут же проиграет. А мы что? Так, вроде скоморохов.

Был у нас в Центральном детском театре прекрасный актер Павел Владимирович Брянский. Небольшого роста, коренастый, а голос у него был — бас-профундо. Он играл в сказках царевичей, царя зверей. Актер замечательный. В театр всегда приходил весь в крахмале — и рубашечка, и бабочка. Хотя был, конечно, человеком далеко не богатым.

Он слыл таким искренним и честным человеком, что его откровенности побаивался даже директор театра.

Мы знали, что до революции он служил в каких-то элитных войсках. Как-то я спросил его, что это были за войска. И он сказал, что служил в таком-то кавалергардском полку. А мама моя была сотрудником Военно-исторического архива. В этом учреждении хранились материалы всего дореволюционного периода, включая послужные списки всех армий, дивизий, полков, офицеров.

Когда я узнал, в каком полку он служил, я попросил маму, если можно, найти документы на Брянского. А когда мама сде-

лала выписку из его послужного списка и мы показали ее самому Павлу Владимировичу, мы все вместе хохотали до слез. Там у него были сплошные разжалования, лечения от дурных болезней, восстановления в чинах, загадочные истории и еще бог знает что. Он сватался к дочери командира полка, но ему отказали. А в послужном списке было написано, что во время парада в день именин Его Императорского Величества ротмистр Брянский подскакал на коне к командиру полка и отдал ему рапорт, приложив в знак приветствия руку к неподобающему месту. За это он был разжалован в солдаты и отправлен в Оренбургскую крепость. Там он заболел дурной болезнью. Фельдшер сделал ему укол скипидара, после чего Брянский пробежал от боли три раза вокруг крепости и был найден в бурьяне. Потом он вылечился, в чине его восстановили.

Вот в таком духе был составлен весь послужной список. И выходило, что Брянский был настоящим хулиганом, роскошным хулиганом, хотя и служил в кавалергардском полку.

А уже при советской власти с ним приключилась история, которая обошлась ему очень дорого. У милиционеров тогда были белые пробковые шлемы с двумя шишечками, по бокам которых были две дырочки. Вот Брянский подошел к одному постовому и спросил:

— А скажи-ка мне, пожалуйста, милейший, для чего у тебя на шлеме дырочки с двух сторон?

— Для вентиляции, — пояснил милиционер.

— Болван! — не согласился Брянский. — Это для того, чтобы у тебя выходил пар, когда кипит твой разум возмущенный!

Его тут же арестовали и дали четыре года за контрреволюционный выпад.

А я вспоминаю один торжественный вечер, посвященный очередной ленинской годовщине. Выступали старые люди, творческие работники, и, когда все высказались, Шах-Азизов спросил, не хочет ли кто еще сказать что-нибудь по теме. И тут руку поднял Брянский. Шах-Азизов смутился — он знал, что от этого человека можно ожидать чего угодно. Но делать было нечего, и он пробормотал:

— Конечно, конечно, Павел Владимирович...

Брянский поднялся, прошел к трибуне и начал:

— Вот здесь много говорилось о так называемых Ленинских субботниках. Но я вижу, что вы совершенно не знаете

о том, что эти субботники изобрел совсем не Владимир Ильич, а Лев Давыдович Троцкий.

Зал окаменел.

— Да, да, — продолжал Брянский. — Он организовал трудовые отряды, в которых должны были принимать участие все граждане страны. И Владимир Ильич, как гражданин республики, наравне со всеми работал на этих субботниках и таскал это самое легендарное бревно. Так что никакого подвига он не совершил, а выполнял свой гражданский долг. Но вскоре выяснилось, что от этих субботников, в которых надо было участвовать и в зной и в стужу, стали терять профессиональные навыки музыканты, вокалисты, художники, артисты. И вот тогда мы, представители разных артистических жанров, организовали группу и пошли на прием к Луначарскому просить его освободить нас от этой трудовой повинности. Луначарский принял нас в Кремле и поддержал нашу просьбу. Троцкий, видимо, был уже предупрежден о цели нашего визита, потому что через минуту-другую вошел в кабинет и безо всяких предисловий железным голосом сказал: «Все знаю. Сегодня от субботника начинают трястись руки у скрипача, завтра они затрясутся у молотобойца, послезавтра они затрясутся у красного командира, а потом они должны затрястись и у меня. Нет! Никто от субботников не освобождается!» — и вышел. Мы были безумно расстроены. Был расстроен и Луначарский. Он выдержал большую паузу, а потом сказал: «Не вешайте головы. Сейчас я еще попробую...» — и вышел. Через короткое время он возвратился с Владимиром Ильичом. Ленин, ни с кем не поздоровавшись, стал быстрыми шагами ходить по кабинету, потом попросил: «Анатолий Васильевич, пригласите, пожалуйста, сюда Льва Давыдовича». Луначарский пригласил. И Ленин спросил Троцкого: «Лев Давыдович, вы жаловались, что у вас течет потолок. Как сейчас обстоят у вас дела?» — «Течет, Владимир Ильич». — «А вы знаете что, Лев Давыдович, — в Третьяковской галерее очень много промасленного полотна. Надо вынуть его из рам и застелить крышу вашего дома. И течь ваш потолок не будет. А можете даже из рам не вынимать — просто уложить на крышу». — «Ну если это все ван Дейки, то конечно, — попытался отшутиться Троцкий и осекся. — Понял, Владимир Ильич. Я сейчас же подпишу приказ об освобождении всех работников искусств от субботников».

Так закончил свое выступление бывший кавалергард Брянский.

Павел Владимирович был мужественный человек. Однажды в кругу друзей он с грустной задумчивостью сказал:

— Братцы, а вы знаете, ведь мне конец... Это не потому, что я не могу сейчас пойти с вами и выпить. Дело в другом: мне не хочется выпить! А это значит — всё...

И в самом деле, очень скоро мы узнали, что у него обнаружили тяжелую форму рака. Он никогда не жаловался на боль, ходил, побряхтывая, и все думали, что у него просто такая манера поведения...

И ушел он тихо и незаметно — великолепный артист и замечательный человек из плеяды людей необыкновенных.

Еще работал в Центральном детском театре золотокудрый красавец Славка. Фамилию его я уже не помню. Он сыграл в каком-то спектакле сказочного принца, и на том его артистическая карьера завершилась. Дело в том, что он увлекался еще и стихами и разрывался между сценой и поэзией. Два-три стихотворения он даже сумел где-то опубликовать.

История, которая с ним случилась, произошла во время визита в нашу страну шаха Ирана Реза Пехлеви с его очаровательной супругой шахиней Сорейей. Шума и треска тогда было очень много. И по этому поводу в Москве даже стали ходить анекдоты. Правда, больше связанные с шахиней, чем с шахом, который не представлял для обывателей никакого интереса.

И вот в самый разгар официальных визитных страстей приходит Славка на репетицию и небрежно сбрасывает с себя кремовый пыльник (были еще в то время такие легкие летние плащи). Потом медленно оборачивается к своим товарищам, и у всех отвисают челюсти: на груди у Славки, на голубой муаровой ленте, переброшенной через шею, красуется огромный шикарный орден явно восточного происхождения. Об этом можно было догадаться по синему эмалевому полумесяцу, который сразу бросался в глаза.

— Славка, откуда?

Славка помялся немного («Даже не знаю, имею ли я право говорить об этом...») и наконец решился.

— Только между нами, ребята, — предупредил он. — А то и мне может быть плохо, да и вам не поздоровится. Короче.

Черт меня дернул пойти позавчера в Книжную лавку, что на Кузнецком Мосту. Сказали, что там есть старое издание Ланга «О сценической игре». Заворачиваю за угол и вижу: стоит у Дома моделей огромная толпа. Всю улицу перегородила. «В чем дело?» — спрашиваю. «Шахиня, — сказали, — решила посмотреть наши модели». Ну, думаю, такой случай упустить никак нельзя. Такая ли она красавица на самом деле, как о ней говорят? По газетным-то снимкам ни фигура не определишь. И бочком-бочком пробираюсь к стеклянным дверям. И только просунулся в первый ряд, как дверь отворилась и вышла она! Ребята, верьте не верьте, я чуть не ослеп. И тут она вынимает из сумочки белоснежный платочек и — роняет его! Он парит в воздухе, как мотылек. Какая-то сила толкнула меня, я рванулся вперед, подхватил на лету платочек и с поклоном передал шахине. Она приняла его, улыбнулась мне (будто солнышко взошло!) и что-то коротко сказала теплохранителю. О, мужики, если б вы видели эту улыбку, вы бы ошалели! Да-а... И тут, чувствую, двое в штатском оттирают меня, оттирают и выводят на чистое пространство. «Кто? Что? Откуда?..» Ну я и сказал, что я поэт, а работаю в ЦДТ. Дал им все свои координаты, и меня отпустили. А вчера утром, только позавтракал, слышу во дворе звуки божественной восточной мелодии. Посмотрел в окно, а это сигналит длинная шикарная машина серебристого цвета. А на радиаторе посольский флажок с полумесяцем. И тут звонок в дверь. Открываю. Входит шикарный мужик и передает мне обалденный пакет с вензелями. «Вы, — говорит, — приглашены сегодня в иранское посольство на прием, который дает ее высочество шахиня Сорейя. За вами приедут». И ушел. Вскрываю пакет — действительно, официальное приглашение! Честно говоря, я струхнул. А не провокация ли это? Может, завербовать хотят? В посольство-то меня привезут, а вот как выйду оттуда, так и повяжут и поволокут под белы ручки на Лубянку. Не-ет, думаю, надо подстраховаться. Связался со своим старым дружкой, у которого батя-генерал служит в МУРе. «Срочно, — говорю, — устрой мне встречу со своим отцом. Это очень важно. Дело касается, — говорю, — международных отношений». Через два часа я уже был в кабинете Ивана Васильевича. Объяснил ему, в чем дело. Он выслушал, а потом походил-походил по кабинету и говорит: «Это ты мо-

лодец, что обратился к нам. От этих империалистов всего можно ожидать. Сегодня он друг, а завтра? Езжай на прием и держи нас все время в курсе дела. Попытайся прощупать, чего они от тебя хотят».

Вечером приехал за мной тот же шикарный лимузин, и отвезли меня в посольство. Ребята-а! Вы такое только в кино видели. Все в смокингах, во фраках, а мне хоть сквозь землю провались в своем польском пятидесятирублевом пиджачке в клеточку. Но народ, видно, интеллигентный собрался — никакого ко мне презрения, а все с уважением: «йес», «плиз», «битте-дритте». На подносах водку носят в фужерах, но я ни-ни: мало ли что! И тут выходит Сорейя! Нет, не выходит — будто плывет по воздуху. Увидела меня — и сразу ко мне. Переводчик сбочку семенит. Отвели они меня в сторонку, и Сорейя сразу к делу. «Я, — говорит, — сэр Слава...» Черт побери, я уже сэр! «Я, — говорит, — читала ваши стихи в переводах. Они великолепны! И у меня к вам есть предложение: не согласились бы вы быть моим придворным поэтом?» У меня язык даже отнялся. Такое только во сне может присниться. Я — придворный поэт! Чертоги, гарем — ошалеть можно! Но я сдержался, как учил меня Иван Васильевич, и говорю: «Это очень лестное для меня предложение, ваше высочество. Но, простите, разрешите мне о нем подумать». Шахиня понимающе улыбнулась (будто солнышко взошло!) и слегка хлопнула в ладоши. Откуда ни возьмись, появился человек в чалме, поклонился шахине и открыл перед ней шикарный футляр, весь в бархате... Она достала из него вот этот орден и своими руками надела мне его на шею. «Пусть, — сказала она, — этот орден Льва и Солнца поможет вам быстрее разрешить ваши сомнения». Не помню, как привезли меня домой: я будто вернулся из другого измерения. Когда немного пришел в себя, вспомнил, что Иван Васильевич ждет моего звонка. Да один ли Иван Васильевич! Наверняка он уже подключил к этому делу и разведку, и контрразведку, и черт знает что там еще! Позвонил. Рассказал все как было. Иван Васильевич долго сопел в трубку, потом спросил: «Ты и в самом деле будешь над этим думать?» — «Но я же дал слово подумать. И потом этот орден...» И тут Иван Васильевич взорвался: «Это говоришь мне ты, комсомолец? Советский человек? Ты продался за какую-то цацку! Неужели наши деды и отцы свергали

ненавистное самодержавие для того, чтобы их потомки получали из рук новых сатрапов дешевые подачки!» — «Но ведь наше партийное руководство, — напомнил я ему, — на руках носит этого Пехлеви». Я слышал, как Иван Васильевич даже ногами затопал. «Заткнись! Что ты понимаешь в высокой политике?!» Долго он еще орал на меня. А потом бросил трубку, когда я дал ему слово держать его в курсе дальнейших событий.

Славка замолчал и задумался. Его рассказ произвел сильное впечатление.

— И что ты решил? — спросил кто-то.

Славка только пожал плечами.

— Комсомол-то тебя гаремом не обеспечит.

— Не обеспечит, — уныло согласился Славка. — Буду думать...

Он думал до тех пор, пока шах с шахиней не улетели в свой Иран, а вскоре и развелись. Потом Сорейя издала в Париже, что ли, книгу о своем бывшем благоверном, в которой облила его такими помоями, что Славка окончательно успокоился. «Как хорошо, что я не уехал с ней, — говорил он всем. — Я думал, она святая, а оказалось — обычная склочная баба».

И тем не менее на какое-то время Славка оказался своеобразной достопримечательностью. «Видите, — показывали на него пальцем, — это тот самый бывший любовник шахини Сорейи». Да, какое-то время Славка еще купался в лучах сомнительной славы. И неизвестно, как долго он бы еще играл роль романтического героя, если б не случай, разрушивший этот загадочный образ.

Будучи в Ленинграде на гастролях, Славка познакомился с редактором, да не простым, а главным, местного издательства. Они понравились друг другу и, соревнуясь в щедрости, так шикарно гудели, что оказались на мели. И тогда главный взял у Славки рукопись стихов, заключил с ним договор и выдал аванс. Славка вернулся в Москву гордым и неприступным, как Блок на известной фотографии.

И тут случилось такое, что Славке не виделось даже в радужных снах. (Вот оно: деньги к деньгам!) В адрес театра пришел фирменный конверт журнала «Новый мир» на имя Славки. Новость эта сразу же разнеслась по всем закоулкам театра. «Новый мир» в ту пору был властителем дум, и если уж Славка

стал причастен к нему, то, стало быть, и он тот же властитель дум! И как мы его проглядели! И как мы не увидели в своем товарище божественного гения!

Славка не стал скрывать содержания письма, напечатанного на пишущей машинке. И, прочитав его про себя, не удержался, чтобы не утолить любопытства своих товарищей:

«Дорогой Вячеслав!

Я прочитал три Ваших стихотворения. Несколько теплых слов о Вас сказали мне Михаил Светлов и Борис Пастернак. Мне этого достаточно, чтобы поверить в Вашу Музу.

Хочу видеть на страницах нашего журнала серьезную подборку Ваших стихов с последующим их изданием в издательстве “Художественная литература”.

Ваш Александр Твардовский».

Народ безмолвствовал. Наконец кто-то робко спросил:

— Из театра уйдешь?

— Там видно будет, — скромно ответил Славка и пошел звонить в Ленинград. Он сказал своему редактору-собутыльнику, что расторгает договор и скоро возвратит аванс, поскольку обстоятельства изменились. Как ни пытался урезонить его многоопытный редактор, Славка жестко стоял на своем: срочно высылай рукопись! Ему ее срочно выслали, и Славка пошел к Александру Трифоновичу. А попасть к нему было очень не просто. Его вечная секретарша не всякого допускала к телу своего шефа. Она внимательно прочитала письмо, напечатанное на фирменном бланке журнала, и пошла доложить о визитере. Через минуту Славку пригласили в кабинет.

— Интересно, — сказал Твардовский, разглядывая письмо, им подписанное. — Подпись моя, но, убей меня, не помню ни вашу фамилию, ни ваших стихов. А уж на хорошие стихи у меня цепкая память. Прочтите хотя бы две строфы.

Славка прочитал первое, что ему пришло на ум. Твардовский нагнул свою крутую голову и сказал:

— Молодой человек, походите по газетам, по журналам — может, кому это и сгодится. А у нас, как вы сами понимаете, совсем другой уровень.

Славка этого не понимал.

— А зачем же вы это написали? — ткнул он пальцем в письмо.

— Это кто-то над вами пошутил. Веселый, видать, человек.

На следующий день Славка обнаружил на гримерном столике напечатанную на машинке записку:

«За орден Льва и Солнца, который заслужил твой предок на Шипке, нужно платить. Ты пошутил, ответил шуткой я».

Подписи не было. Славка так и не вспомнил, кому он мог выдать тайну бабушкиного сундука. Язык мой — враг мой!

Из театра он ушел и с тех пор стал завсегдатаем Центрального Дома литераторов. Он ходил между столиков в Пестром зале и показывал всем письмо за фальшивой подписью Твардовского, которого к тому времени уже не стало.

— Вот, — говорил он, — единственный человек, который понял меня. А сейчас? Судьи кто? Воробушки серые! Чирик-чирик! — И повторял знакомые слова шукшинского героя: — Прошу плеснуть.

Фанаты Александра Трифоновича не раз предлагали Славке за автограф Твардовского бутылку, и две, и даже три. Но Славка и слышать об этом не хотел. Со временем он внушил себе, что подпись корифея и в самом деле настоящая и что его поклонниками и в самом деле были Светлов и Пастернак. И это причисляло его в собственных глазах к сонму Бессмертных.

У нас никто и никогда не позволял себе появиться на репетиции, и уж тем более на спектакле, даже с запахом. Пили как-то красиво, я бы даже сказал, художественно.

И был у нас великолепный артист Анатолий Шукин, который прекрасно играл царя в сказке «Конек-Горбунок». Жена Толи, Тося, крупная мужеподобная женщина, заведовала мастерской по реставрации и ремонту фарфоровых изделий: посуды, безделушек, игрушек — кукол с закрывающимися глазами, кричащих «мама», поющих.

Толя часто помогал жене в работе. А у нее был гравировальный станок. И вот он умудрился сделать уникальный стакан, на который нанес риски. А риски обозначали: пол-литра на троих, пол-литра на четверых, пол-литра на восьмерых и т.д. Этот стакан стоял у Толи за трельяжем в гримуборной, и после спектакля «бойцы», как они сами себя называли, собирались у него, в соответствии с дозировкой выпивали и закусывали водой из-под крана.

А еще у Толи с Тосей был сынок, которого мы звали Щуренок, шибко настырный и очень умненький мальчик. Он очень

любил играть со взрослыми в шахматы и очень не любил проигрывать. И когда видел, что проигрывает, начинал разбрасывать с доски фигуры и истерически кричать:

— Нет! Нет! Нет! Я выиграл! Я выиграл! Я победил!

Все это знали и, чтобы не доводить его до истерики, играли до критического момента и старались быстро ему проиграть.

А однажды Толя приходит и вполне серьезно говорит:

— Ну, этого Щуренка я, наверное, убью.

— В чем дело, Толя?

— Вы представляете, мы пошли покупать ему пальто. Он увидел пальто какого-то песочного цвета и пристал: купите мне именно это! Я говорю ему: это светлое пальто, ты его изважюкаешь во дворе мгновенно. Ведь вы играете в футбол, носите по горкам — от него на следующий же день ничего не останется. «Нет, хочу это пальто!» И мы купили ему это песочное пальто. Дома он надел его и сказал, что идет гулять. А я стал смотреть из окна во двор. Напротив подъезда чернела огромная грязевая лужа, через которую была переброшена доска на кирпичиках. И я понял, как только Щуренок выскочит из подъезда, он, конечно, побежит по этой доске, конечно, по середине доска перевернется, конечно, он плюхнет в эту страшную грязевую лужу, и, конечно, пропало пальто. Так оно и случилось. В подъезде распахнулась с грохотом дверь. Щуренок вылетел во двор, прямой наводкой прыгает на эту доску, добегает до середины, доска переворачивается, он, башкой вниз, исчезает в этой грязевой луже, встает в образе страшной черной скульптуры и с криком и ревом влетает опять в подъезд. Врывается на кухню и кричит: «Я говорил, не нужно песочного пальто?! Я говорил, надо купить темное пальто?! Во дворе черт знает что творится! Зачем вы мне купили это песочное пальто?»

В другой раз Толя угрюмо сказал:

— Я его чуть не зарыл...

Они отдыхали тогда где-то на юге. А рядом с общим пляжем располагался женский, нудистский. И граница между ними была очень условная. Никто из мужчин как бы не обращал внимания, что рядом ходят голые дамы. И вот Толя лежит с Щуренком на общем пляже, Тося — на женском. И вдруг Щуренок орет:

— Папа, папа! А вон наша мама!

Все мужчины на общем пляже встали и стали смотреть на голую маму, которая шла к воде. Толя чуть не зарыл этого Щуренка в песок.

Умненький был мальчик. И в кого бы?..

Как-то Толя говорит:

— Все, ребята, завтра пропадает день, и я с вами не встречаюсь в «Маленькой Неве».

А это был такой маленький закуточек в ресторане «Нева», где «бойцы» выпивали. Они шли гуськом через зал, по пути так элегантно брали у кого-нибудь со стола маленький кусочек хлеба, заходили «за кулисы» и просили:

— Тетя Клава, перцовочки.

Они брали эту настойку потому, что она была дешевле водки. А у тети Клавы была присказка:

— Перцовочки-хреновочки — водку будете пить, — и наливала всем по сто грамм водки.

Они выпивали и отщипывали от кусочка хлеба крохи — это была у них вечерняя трапеза.

Поскольку Толя предупредил, что завтра день пропадает, у него спросили:

— И что же ты будешь завтра делать?

— Культурно проводить время. Тося сказала, что всей семьей вместе со Щуренком идем в Парк культуры, — а они жили недалеко от парка. — Никаких выпивок, все кончено. День пропал.

А после спектакля, вечером, Толя заглянул в магазин, купил несколько четвертинок и по дороге домой зашел в Парк культуры. Он приблизительно знал, по какому маршруту они будут гулять. У дерева он прикапывал четвертинку, а на асфальте рисовал мелом стрелку. Так он по всему парку и прошелся.

В воскресенье Тося проснулась радостная, Щуренок тоже — наконец-то всё в порядке и они культурно отдохнут. Никаких друзей, никаких компаний.

И вот они степенно идут по аллее. Толя видит стрелку.

— Ой! — говорит. — Идите вперед — у меня шнурок развязался.

Тося со Щуренком идут вперед, а Толя откапывает четвертинку, отпивает, а остальное опять прикапывает. Идут дальше. И тут Толя видит колесо обозрения.

— Ой, — говорит, — интересный аттракцион! Пойдите узнайте, там очередь большая или нет.

Жена с сыном идут узнавать, а он опять идет по стрелке. В общем, через час Толя захорошел, а жена не поймет, что случилось.

— Толя! Когда ты успел? Где?

И Толя возмутился:

— Вот, ты всегда меня упрекала в увлечении напитками! А я и не выпивал — это кислородное отравление! Мне нельзя вообще выходить гулять на природу! Чем мы на сцене дышим? Пылью, пудрой, прожекторы светят в глаза — вот что такое театр! А ты меня вытащила на свежий воздух — и вот видишь: я умираю!

Тося под руку отвела его домой и уложила в постель. А на следующий день он пришел в театр, рассказал эту историю и добавил:

— Ребята, по-моему, стрелок в парке осталось еще много.

И мы вечером гурьбой пошли искать стрелки. Из парка мы вышли веселые, и даже излишне.

А однажды приходит он мрачный-мрачный и явно с желанием, чтоб его спросили, что случилось. Спрашиваем:

— Толя, почему у тебя такое плохое настроение?

— Ребята, не трогайте меня, у меня драма.

— В чем дело?

— Ну вы представляете, вчера после спектакля мы выпили. Я уже хотел было уходить, а тут навстречу Женя Перов: «Толя, ты куда?» Я говорю: «Домой». — «Нет, давай еще выпьем, у меня есть кое-что». Выпили. Вышли. А навстречу Валя Заливин: «Ребята, давайте зайдём в “Маленькую Неву”». Мы зашли в «Маленькую Неву». Потом я встретил Карсерского, гримера. Он говорит: «Куда? Давай еще выпьем»... Прихожу домой, смотрю, Тося демонстративно лежит ко мне спиной. И когда я разделся и третий раз мимо кровати лег, она говорит: «Толя, по-моему, ты выпил...» Представляете, ребята. Догадалась!

Вот такой был Толя... Как-то он отзывает меня в сторонку:

— Лёвочка, скажи мне, пожалуйста, вот когда я умру, ты будешь вносить деньги на мой веночек?

— Ну что ты болтаешь глупости! — возмущаюсь. — Во-первых, ты никогда не умрешь, а во-вторых...

— Нет, — перебивает, — ты подожди, подожди! Я тебя серьезно спрашиваю: будешь вносить?

— Да отстань ты от меня! — И чтобы отвязаться, говорю: — Ну, буду!

— А сколько ты будешь вносить?

— Ну отстань! — этот разговор начинает меня раздражать.

— А все-таки, сколько? — не отстаёт Толя.

— Ну хорошо. Я внесу двадцать пять рублей.

— Отлично! — радуется Толя. — Дай мне сейчас пятнадцать, а потом вносить не будешь.

Ну что с ним делать!

Заходит Толя в примерку и говорит:

— Ребята, я очки дома забыл... Там в репертуарной конторе лежит газета с таблицей лотерейных розыгрышей. Я переписал номера и серии в записную книжку. Вот возьмите и проверьте, пожалуйста, — чем черт не шутит, может, чего и выиграл.

Никто, конечно, ни в какие выигрыши не верил, но все же взяли у него эту записную книжку и спустились вниз. Стали проверять — и вдруг:

— Толя, все сошлось! Ты выиграл огромную сумму!

И Толя, как Станиславский, закричал:

— Не верю! Не верю!

Тут нашли ему очки и стали тыкать пальцем в газетную строчку и в записную книжку. И Толя наконец сам увидел, но все же не верил:

— Не может быть... Не может быть этого!

— Толя, — возразили ему, — никуда ты не денешься — надо обмывать.

— Ребята, — сказал Толя, — у меня ведь сейчас ни гроша. Дуйте в магазин, закупайте все что хотите — обмоем мой выигрыш! А когда я получу, всем раздам деньги.

Бросились в магазин, накупили всякой всячины, накрыли в гримуборной праздничный стол, все уселись. Начали поздравлять, кто-то завидовал. Хорошо отпраздновали. А потом еще дня два продолжали.

Прошло несколько дней, ребята стали волноваться.

— Толя, ну ты получил выигрыш?

— Какой выигрыш?

— Ну как же... Ты ведь выиграл огромную сумму.

— Никогда я не выигрывал.

— Как же, Толя! Мы же сами видели, проверяли...

— Ах, это! Ребята, я же пошутил: увидел газету с тиражом и переписал выигрышные номера. Просто захотелось выпить, смотрю — и вам хочется. Вот я и сообразил, как это сделать.

— Мерзавец! Сволочь! Отдай наши деньги!

— Какие деньги? Выпивали-то вместе?

— Вместе...

— Ну и о чем речь?

Конечно, денег он никому не вернул, да и спрашивать, в самом деле, было неловко.

Артист Коля Долгополов пришел на заседание Академии травильщиков с кулечком в руках.

— Что это? — спросил председатель, ожидая услышать очередную историю.

— Яички, — простодушно ответил Коля и уточнил: — Десять штук.

— Зачем?

— Начинаю новую жизнь.

— Как это? — не понял председатель.

— А очень просто: бросаю пить и перехожу на диетическое питание.

— Да это же здорово! — возбудились академики. — Это же непременно надо отметить! Ведь новая жизнь начинается раз в жизни! И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно!..

— Ребята, — остановил общий порыв Коля. — Я же ясно сказал: начинаю новую жизнь.

— Так и мы об этом! — сказал Борис Годунов в шапке Мономаха и со скипетром в руке.

Предстоял спектакль «Борис Годунов», и все бояре были в гриме и в шубах. И никто не хотел, чтобы такое великое событие не было отмечено достойным образом.

Тогда я предложил компромиссное решение.

— Коля, — сказал я, — не будем гадать, какая жизнь лучше, старая или новая. Клади свой кулечек на стол.

— Зачем? — не понял Коля, нежно прижимая свое диетическое питание к груди.

— Клади, клади. Царь-батюшка ударит по нему скипетром, и, если после этого останется хотя бы одно целое яйцо, я ставлю тебе литр.

Коля был настоящим артистом и азартным человеком и не сразу понял подвох — игра заинтересовала его. Он с готовностью положил свой кулечек на стол, и мы все замерли.

Борис Годунов примерился и жахнул царским скипетром по яйцам так, что даже и хруста никто не услышал — только короткий стук: бам!

Коля бросился к тому, что осталось от кулечка, и стал лихорадочно перебирать то, что превратилось в гоголь-моголь.

— Есть! — выкрикнул он наконец с торжеством и поднял над головой целое яйцо.

Пришлось мне бежать за двумя бутылками...

Колю мы посадили на такси далеко за полночь. Его новая жизнь не состоялась.

Я за собой странностей не замечал. Да и кто признается, что он «с приветом»? Дураков нет. Ну, бывает, заиграешься (я не о сцене) и уже не думаешь, что из этого получится: ведь в розыгрышах сценария нет, это экспромт, куда кривая выведет. А кривая она и есть кривая в отличие от прямой.

Короче, во всем был виноват костюм.

В то время, когда я работал в Центральном детском театре, в магазинах появились черные двубортные костюмы из крепа. Польские. И половина мужского населения Москвы ходила вот в таких вот костюмах. Я тоже, посоветовавшись с женой, решил, что и мне нужно приобрести такой же костюм. К тому же они почему-то стоили не очень дорого. Купил. И вот я в этом новом костюме решил прийти в театр — надо же похвастаться обновкой!

И тут я встретил одну нашу замечательную актрису, которая, увы, уже ушла из жизни и с которой я проработал много-много лет. И она, посмотрев на меня, спросила:

— Лёва, ты чего такой торжественный? Как-то странно тебя видеть в костюме.

Дело в том, что я вообще не люблю ни костюмы, ни галстуки. И тут у меня как-то само собой родилась какая-то еще до конца не продуманная мысль, и я сказал:

— Тоня, давай отойдем в сторону... Дело в том, что... Только, я тебя умоляю, никому ни слова. Тоня, я же знаю, вы, женщины, так любите тут же разнести всякую новость по всему свету.

— Что ты, Лёва! Никому ни слова, — заверила она.

— Тоня, — сказал тогда я, — Тоня, оказалось, что я — племянник Ворошилова, Климента Ефремовича...

— Как это случилось?

— Сам не знаю... Ко мне приехали люди и сказали, что у меня обнаружили какие-то родственные связи с семьей Ворошиловых. Я оказался самый молодой из Ворошиловых — я его племянник. И вот меня вызывают в Кремль. Сегодня после репетиции я должен поехать в Кремль, чтобы познакомиться со своим дядей Климентом Ефремовичем. Меня будут ему представлять.

— Как же это прекрасно! — воскликнула Тоня. — Ты представляешь, какой у тебя дядя! Теперь у тебя будут такие возможности...

— Нет-нет, Тонь, подожди, подожди, — перебил я ее. — Надо ведь еще познакомиться. Может, этот луганский слесарь такой строгий, что... Не дай бог... Еще ничего не известно... Только, я умоляю тебя, никому, никому!

— Конечно, конечно. Лёва! Я ведь понимаю...

И на этом мы расстались. Но буквально минут через пятнадцать все в театре почему-то стали со мной очень вежливо здороваться и даже называть по имени-отчеству вместо обычных «Лёвка, здорово!», «Лёва, привет!». А я в ответ: «Здравствуй... Здравствуй... Здравствуй...» И тут я понял, что всё — началось!

После репетиции я выглянул в окно и... У меня часто так случается, что сами обстоятельства играют на мои розыгрыши. Почему так — не знаю... И я увидел, что перед входом в театр стоит огромный черный правительственный «ЗИЛ». А рядом с Детским театром находятся кассы Большого театра, и туда часто приезжали за билетами для гостей и делегаций на правительственных, мидовских и прочих министерских машинах.

Я вышел из главного входа театра и направился к этому «ЗИЛу». Подошел, поклонился водителю (стекло было опущено) и сказал:

— Простите, пожалуйста, я артист Дуров вот из этого театра...

— О! — воскликнул водитель. — Я вас узнал — вы же в кино снимаетесь.

— Да, — сказал я и попросил: — Посмотрите, пожалуйста, на окна нашего театра — там никто за мной не наблюдает?

Тот посмотрел и говорит:

— Там все окна просто забиты людьми. За вами наблюдают, наверное, человек сто.

— Вы знаете, — сказал я, — я вам потом все расскажу. А вы не могли бы красиво помочь мне до конца разыграть эту историю? Я сейчас сяду в вашу машину, и вы отвезете меня чуть подалее.

Шофер оказался догадливым.

— Все понял, — сказал он. — Сейчас.

Он вышел, обошел вокруг машины, открыл мне дверцу и широким жестом пригласил в салон. Мы сели, и машина тронулась.

— Мы сейчас тут кружочек сделаем, и я обратно. Ладно? — сказал шофер. — А то хозяин будет меня ждать.

— Спасибо, мне достаточно, — и в двух словах рассказал ему суть розыгрыша...

Он дико хохотал, а потом сказал:

— Ну, Дуров, с тебя при встрече причитается — я ведь тоже участвую в этом спектакле.

Мы тепло простились, а вечером я позвонил другу-актеру, спросил, что нового. А он интересуется, как у меня прошла встреча. Я сказал, что все замечательно, все хорошо, и поинтересовался:

— А ты откуда об этом знаешь?

— Здравствуйте! — протянул он. — Да весь театр об этом только и говорит.

И когда я появился в театре, мне сказали:

— Лев Константинович, вас ждет Константин Александрович. — Стало быть, дошло уже до директора.

Я зашел к нему в кабинет. Директор встал из-за стола и своим высоким голосом торжественно произнес:

— Ну, Лев Константинович, я вас поздравляю. У вас такая радостная новость!

И тогда я спросил:

— Какая?

— Ну, Лев Константинович, перестаньте! Мне-то уж вы можете сказать.

— Константин Александрович, — сказал я, — я вам вынужден признаться: это была шутка, розыгрыш. И все из-за того, что я купил этот дурацкий черный двубортный костюм, который, наверное, годится только для похорон.

— М-да... — опешил директор. — Шутки ваши мне не очень-то нравятся... — И добавил со значением: — Так ведь можно и дошутиться... Ну что еще от вас ждать, молодых? Ладно, идите. Племянничек!..

Я вышел из кабинета. У дверей уже стояла большая толпа.

— Ребята, — сказал я, — делайте со мной что хотите. На колени могу перед вами встать, только простите: я вас разыграл.

Нет, не все на меня обиделись, многие просто замечательно приняли мой розыгрыш и хохотали сами над собой, что попались на такую наживку.

И только тут до меня дошел смысл слов нашего директора: «Так ведь можно и дошутиться...» В ту пору это не казалось странным.

Надо сказать, что Олег Николаевич Ефремов, будучи ведущим актером и режиссером, тоже очень сильно любил валять дурака. Мы играли с ним в спектакле «В добрый час», который принес славу Детскому театру, режиссеру Эфросу и всем актерам, которые принимали в нем участие.

Первое мое появление в этом спектакле было такое — я вбегал в квартиру и говорил: «Ой, Алешка, чуть не опоздал». Алексея играл как раз Ефремов. И каждый раз, когда я открывал дверь и не успевал еще произнести реплику, он мне тихо говорил: «Колбаса». А надо сказать, что на сцене чем глупее острота, тем она смешнее. Я начинал смеяться (что в закулисы называется «колоться»).

И вот на каждом спектакле он мне это тихо говорил. Я его умолял:

— Олег, это же у меня больное место, ну невозможно, не надо. Ну ты видишь, я не выдерживаю, смеюсь, потом мне сколько времени надо, чтобы собраться. Думаю, что уже и зрители начинают замечать.

А он, собираясь в очередной раз на сцену, говорил мне:

— Дуров, знаешь, когда ты опять сегодня выбежишь, я тебе опять скажу «колбаса».

Я его умолял, умолял, пока однажды не подошла ко мне Людмила Сергеевна Чернышева и не сказала:

— Лёвочка, я тоже была жутко смешливая в молодости. Тут надо себя пересилить, однажды разозлиться и не рассмеяться. Или что-то сказать в ответ.

Я решил послушать ее совета. Долго думал, что же мне сделать. И придумал. На очередном спектакле я выбежал на сцену, и как только Ефремов начал открывать рот со своей дурацкой колбасой, я, не дожидаясь его реплики, сказал ему: «Ливерная!»

Трудно себе представить, что такое может случиться с опытным артистом. Он взвыл, лег на сервант и стал кричать: «Не могу! Не могу! Закройте занавес!»

Занавес закрыли. На следующий день Шах-Азизов вызвал меня на ковер (а у него на самом деле в кабинете лежал ковер). Я встал на этот ковер — он даже не предложил мне сесть, а начал говорить:

— Как же так, вы молодой актер, думаете, вот вас похвалили в нескольких рецензиях и вы уже Бога за бороду схватили? Вы вчера рассмешили на сцене мастера, нарушили художественную целостность спектакля.

Я стоял и молчал. Потому что рядом стоял Олег Николаевич и не произносил ни слова, всем своим видом показывая, что не понимает, как такого мерзавца, как я, вообще взяли в труппу. Нет, он ничего не говорил, он просто стоял и молчал.

Через полчаса вывесили приказ, где мне был объявлен выговор за то, что я нарушил художественную целостность спектакля, рассмешив О.Н.Ефремова.

Олег Николаевич мог не просто валять дурака, но и выкидывать жуткие номера.

В театре у репконторы был такой предбанник, в котором всегда сидели актеры, ждали нового расписания, узнавали время репетиций.

Однажды, когда там сидели все корифеи — Сперантова, Коренева, Чернышева, Воронов, Перов, — появился Ефремов, постоял-постоял и говорит:

— Что-то писать хочется. Пописать, что ли?

И, повернувшись ко всем спиной, стал писать на стенку. Всех разбил паралич. Все онемели, потому что такого безобразия и такого хамства никто не ожидал. Корифеи вскочили и с криком: «Вот они, актеры современные! Безобразие!» разбежались. Олег Николаевич застегнул ширинку и отправился куда-то за кулисы.

Он вошел в гримуборную к Матвею Семеновичу Нейману (а у Неймана был устрашающий вид — бритая голова, выдвинутая вперед челюсть), который как раз разгримировывался и мылся над раковиной. Олег Николаевич отодвинул Неймана и стал писать в эту раковину. У Неймана лысина сначала побагровела, потом посинела, он заорал:

— Это что такое? Этого не может быть! Рядом с моим лицом! Боже мой!

И тоже куда-то убежал.

Олег пошел дальше и вошел в гримуборную, в которой сидел Чумак, родной брат Алана Чумака, который нам потом морочил голову. Он сидел за гримировальным столом по пояс голый, разгримировывался. Олег опять подошел к раковине и стал в нее писать. Чумак взревел:

— Это что такое!

Олег развернулся и полосонул струей вдоль его огромной атлетической спины. И началось. Чумак заорал: «Убью!», Олег выскочил в коридор, они стали дергать дверь за ручки туда-сюда. Потом Олег оторвал ручку, упал на пол и побежал по коридору. Чумак выскочил со стулом в руках. И тут неожиданно Олег развернулся, левую руку выставил ладонью вперед, а правой судорожно ковырялся в ширинке. И неожиданно выдернул оттуда огромную клизму. Потом выяснилось случайно, что она была приготовлена для какого-то спектакля в бутафорском цехе. Он придумал вот такой идиотский ход: наполнил клизму водой и засунул себе в брюки.

Но к тому времени уже разразился скандал, его вызвали к Шах-Азизову, и тот сказал:

— Да, Олег Николаевич! Ведущий актер, мастер... Боже мой, вам не стыдно? Какой пример подаете молодым? А еще жалуетесь на Дурова!

Однажды на Манежной площади был большой сводный концерт. Участвовали в нем многие артисты из Детского театра, и как тогда было принято, играли сцены из спектаклей. Артистка Неля Шеффер должна была выйти и прочитать стихотворение Сулеймана Стальского «От Сулеймана вам привет, страна цветет для вас, ребята...»

И вот Неля Шеффер вышла и в микрофон на всю Манежную площадь закричала:

— От Сулеймана вам привет!.. — и забыла продолжение.

За ширмой в это время стояли Печников, Ефремов, Заливин, другие артисты Центрального детского и шептали:

— Неля!!! Страна цветет для вас, ребята! Читай дальше, мы еще не готовы!

Она вышла опять к микрофону и закричала:

— От Сулеймана вам привет!..

И вся Манежная площадь хором заорала:

— Спасибо!

Неля бежит за ширму, уже слезы в глазах:

— У меня все вылетело из головы!!!

Ей опять:

— Иди, еще никто не готов! Не может быть такой паузы!

Страна цветет для вас, ребята! Запомнила?

— Да.

— Иди!

Она опять вышла и крикнула:

— От Сулеймана вам привет!..

И площадь ей:

— И Сулейману от нас привет!

Неля опять пошла за ширму, уже рыдая. Воцарилась огромная пауза. Не помню уж, кто там вылез на сцену, каким-то образом замяли эту неловкость, и концерт пошел дальше.

Еще был случай во время новогодней детской ёлки, когда Снегурочку играла Валечка Туманова. Это была такая странная ёлка. Как бы антиёлка. И была анти-Снегурочка. Она как будто бы была очень плохой девочкой. По сюжету она это делала для того, чтобы проникнуть в стан злых сил и выведать у них все тайны — чтобы в конце концов празднование Нового года состоялось. И была у нее такая реплика: «А Дедушке Морозу я не дам слово учиться на одни пятерки!»

Однажды Валечка сказала:

— А Дедушке Морозу я не дам... — и замолчала.

Воцарилась пауза. И вдруг в зале какой-то мужчина произнес:

— Во дают!

Уж как закончили эту ёлку под истерический хохот, я не помню.

В 1963 году я перешел из Центрального детского театра в Театр имени Ленинского комсомола. Мое знакомство с новым театром началось с забавной истории.

Ведет меня Эфрос представлять директору театра Анатолию Андреевичу Колеватову. Идем за кулисами. Нас встречает актер Саша Покровский в нарочито рваной рубашке и с нагримированными кровоподтеками на лице.

— Лёвочка, — говорит он, — мы очень рады, что ты к нам приходишь. Правда, правда — все рады. Анатолий Васильевич, я задержу Лёву на минутку. Он мне очень нужен. А потом сам провожу его к Анатолию Андреевичу.

И Эфрос уходит.

— Лёва, — говорит мне Покровский, — сейчас идет детский спектакль. Я партизан. Немцы только что допрашивали меня, пытали. Исципали, сволочи, всего. Сейчас я им отомщу и провожу тебя. А-а! Вот они сейчас получают, смотри.

Освещается сцена. Немецкий штаб. За столом сидят эсэсовцы в черной форме с черепами и повязками со свастикой на рукавах: Михаил Державин, Всеволод Ларионов и Леонид Каневский. Покровский прижимается к кулисе и тихо, но очень целенаправленно начинает шептать:

— Немцы, немцы, среди вас еврей... Слышите, немцы, среди вас еврей.

Каневский начинает трястись от хохота и сползать под стол. Два других эсэсовца надвигают фуражки на глаза и начинают подвывать. А Саша упорно продолжает:

— Немцы, немцы, у вас под столом еврей... Немцы, под столом еврей.

Все «фашисты» — и за столом, и под столом — всхлипывают, хрюкают, скулят... Ларионов сквозь зубы цедит:

— Закройте занавес, закройте... не могу!!!

Занавес пошел. Заседание штаба не состоялось.

— Всё, — сказал Саша, — отомстил я немецко-фашистским палачам. Пойдем к Анатолию Андреевичу. Только ни ему, ни Эфросу ни слова, а то они мне такое устроят!.. Пойдем.

А еще Саша отличился, когда выпускали спектакль «Семья» по пьесе Попова. Это про семью Ульяновых. Володю-гимназиста играл Геннадий Сайфулин, брата Александра — Александр Покровский, а Софья Владимировна Гиацинтова играла мать.

И вот сдача спектакля. В зале и министерство, и главки, и райком, и горком, и другие «комы». В обязательных черных костюмах, при галстуках — мужчины и дамы с косами, уложенными, как нимбы у святых (сравнение сомнительное, я понимаю).

Начинается сцена, когда Александр Ульянов после каникул собирается в Петербург готовить покушение на царя. Покровский, стоя на середине сцены, собирает чемодан. Вбегает золотоволосый, курчавый Володя. Сборы брата для него неожиданность.

— Саша, ты куда?

А Саша, спокойно укладывая вещи в чемодан, отвечает:

— В Ленинград.

— Куда, куда?! — широко открыв глаза, спрашивает Володя.

— В Ленинград, в Ленинград, — опять же спокойно отвечает брат.

Сайфулин взвыл, показал зрителям пальцем на брата и убежал со сцены.

А из-за кулис был слышен голос Гиацинтовой, которая давилась от смеха:

— Не пойду я на сцену! Не пойду! Пусть он уезжает куда хочет! Не пойду!..

А Саша, ничего не понимая, стоял один на сцене и продолжал тупо складывать вещи в чемодан. Из зала раздался обреченный голос Колеватова:

— Занавес закройте, пожалуйста...

Черные костюмы и нимбы мрачно покидали зал... А царя, как известно, все равно убили.

Ленком гастролировал по всей стране. И каждая поездка была для нас огромным праздником. Порой «истории» начинались уже в поезде.

Как-то поехали мы на очередные гастроли. Меня пришли провожать мои друзья — акробаты братья Воронины. Они, любя меня, притащили какую-то чудодейственную мазь, избавляющую от облысения. Где-то в Тбилиси ее раздобыли. Странная масса, пахнувшая чесноком. Всучили мне банку и пластиковую шапочку. Проинструктировали: втирай, дескать, на ночь в лысину, натягивай шапочку, а утром смывай. Недели через две волос поперет!..

Значит, поехали. Я в одном купе с нашей примой Ольгой Яковлевой, а в соседнем — неугомонная четверка: Гена Сайфулин, Валя Смирнитский, Георгий Мартынюк и Игорь Кашинцев. Ребята сразу же начали «соображать». Вскоре скребутся ко мне:

— Дед, дай чего-нибудь закусить.

— Да нет у меня ничего.

— Ну что ты жмешься — вон у тебя какая-то закуска в банках. И как раз чесноком пахнет.

— Мужики, — говорю, — это не закуска — мазь от облысения.

— Свистишь, дед. — И ушли, недовольные, допивать.

Гудели до утра, спать всем мешали. Думаю: надо ребят проучить. Вижу — на крючке висит парик Ольги Михайловны. Длинный, кучерявый. Натянул парик, вылез по пояс голый и в соседнее купе стал стучать. Открыли они и спяну глаза вытаращили. А я им этак торжественно-возмущенно:

— Что, суки, не верили?!

Смирнитский упал с полки и сломал руку. Мартынюк угрюмо пробормотал, обращаясь сам к себе:

— Допился...

У Сайфулина начались судороги. А лысый Кашинцев воскликнул с восторгом:

— Это, блин, жизнь! — И упал лицом в подушку.

Я удалился. А минут через пятнадцать они опомнились и стали ломиться в наше купе. Но строгая Ольга Михайловна их непустила.

Весь гастрольный сезон Смирнитский ходил со сломанной рукой и смотрел на меня волком.

Да, актеры не могут не играть, не могут не разыгрывать друг друга. Это уж их профессия. Но инженеры-то при чем? Кажется, серьезные люди, всё у них на точных расчетах, на сухой математике — и туда же!

Приехали мы с гастрольями в Югославию. Раз «Югославия», стало быть, это случилось еще при советской власти. Не помню уж, в каком городе мы играли. Да это и не столь важно. Только я умылся с дороги, переоделся, и вдруг раздается телефонный звонок.

— Это господин Дуров? — спрашивают на ломаном русском языке.

Тогда еще слово «господин» не было в ходу и звучало как-то непривычно. Это сейчас все «господа», «лорды», «леди» и «гамильтоны». Но раз спросили, нужно отвечать.

— Да, — говорю, — это я.

— Господин Дуров, с вами говорит внук генерала Врангеля. Я хотел бы с вами очень повидаться здесь.

Я, конечно, не то чтобы струсил, но, знаете, в то время встречаться с внуком Врангеля... Ведь всегда был в гастрольной группе какой-нибудь «второй режиссер», который вовсе и не «второй режиссер», а в крайнем случае майор, а то и подполковник. И можешь сразу сделаться невыездным. А я им уже был.

И человека обидеть мне не хотелось. Я так тактично ему говорю:

— Вы знаете, у нас очень сложное расписание. — Я его, действительно, не обманывал. — Я даже не представляю, когда мы можем встретиться.

— Да, очень жаль, — сказал он и повесил трубку.

День проходит, опять звонок. Звонит такой же интеллигентный человек.

— Господин Дуров?

— Да, — говорю, — господин Дуров.

— С вами говорит внук адмирала Колчака. Я живу здесь, в Югославии, и мне очень хотелось бы с вами встретиться.

И тоже разговаривает на ломаном русском.

Я ему говорю то же, что и внуку генерала Врангеля:

— Вы знаете, я очень занят. Ни минуты...

— Понимаю, понимаю, понимаю... Я вот тут со своим приятелем созвонился, и он мне тоже сказал, что очень трудно с вами встретиться.

Я сразу понял, кто у него приятель.

И вдруг прихожу я как-то со спектакля, и меня достает звонок. Слышу знакомый голос:

— Извините, что поздно звоню. Мы сидим сейчас со своим приятелем в номере на шестом этаже и ждем вас.

Ну, думаю, куда деваться? Пойду, и пропади оно все пропадом! Пускай буду невыездным, но не могу же я отказаться от такого гостеприимства! И вдобавок еще оказаться трусом.

Поднимаюсь на шестой этаж, стучусь в номер, который мне назвали. Открывают мне дверь два красивых мужика в роскошных костюмах. Смотрю — в гостиной стол накрыт.

— Садитесь, — предлагают.

Я сажусь, а они говорят:

— Как мы счастливы, что вы пришли. Мы смотрели все ваши спектакли. Вы такой замечательный артист!

Мы выпили, закусили, поболтали. Смотрю, они потихоньку-потихоньку начинают терять акцент и говорят уже на чистом русском языке. Я смотрю на одного, на другого — и ничего не понимаю. А они как начали ржать.

— Дуров, — говорят, — прости нас, пожалуйста, мы инженеры из Москвы, строим здесь комбинат. И мы так соскучились по своим, так захотелось пообщаться с земляком!

Мы хохотали тогда до упаду. И потом до окончания гастролей часто встречались. И они пришли провожать нашу труппу на вокзал.

Это было, конечно, очень здорово.

Нашу театральную труппу везде принимали прекрасно.

Никогда не забуду, как нас после гастролей провожали в Перми. Это можно сравнить лишь со встречей челюскинцев в 1934 году. Машины и автобусы, которые везли нас на вокзал, были буквально завалены и забросаны цветами. Нам кричали:

— Приезжайте еще! Мы вас очень любим!

Прощание растрогало нас до слёз. Было такое чувство, будто навек расстаешься с родными людьми. Больше такое состояние я не переживал, кажется, никогда.

Горечь расставания с городом усугублялась еще и тем, что здесь мы не только с триумфом играли спектакли, но и раскрутились на полную катушку: розыгрыши, шутки, подставки сыпались, как из мешка разноцветные ёлочные игрушки.

Как только мы приехали в Пермь, сразу же пошли осматривать город, кто куда. Я с приятелем пошел в зоопарк. Почему зоопарк? А черт его знает! И вот там мы увидели зеленую козу и сразу же сообразили, как нам использовать эту козу в корыстных целях.

Вернувшись в театр, мы стали заключать пари.

— Ты видел зеленую козу? — спрашивали мы очередную жертву.

— Таких не бывает, — безапелляционно заявляла жертва, еще не зная, что она уже обречена.

— Правильно, не бывает, — соглашались мы. — А вот в местном зоопарке есть единственный во всем мире экземпляр зеленой козы. Хочешь держать пари?

Разменной монетой пари служила бутылка. Ну кто же откажется от беспроигрышного пари! Только идиот может поверить в зеленую козу.

Пари заключалось, и обреченный спорщик бежал в зоопарк. А вернувшись, ругался:

— Сволочи, вы проиграли! Это личная коза директора зоопарка. Она ходит на воле. Там покрасили штакетник, она чесалась об него и измазалась.

— Но она зеленая или не зеленая?

— Зеленая, но...

— Мы об этом и спорили. Беги в магазин.

Многие бегали и в зоопарк, и в магазин, и мы оказались владельцами приличного состояния. И могли менять свою продукцию на все, на что хотели: бутылка, она хоть и стеклянная, но поустойчивей доллара будет. В любой стране.

Но непревзойденными мастерами розыгрышей были Александр Ширвиндт и Михаил Державин. Они начали работать, как и мы, сразу же.

Еще когда ехали в автобусе от вокзала до гостиницы, они внимательно изучали достопримечательности города. И когда добрались до места, в их светлых головах уже созрел гениальный по простоте план.

И вот они сидят в гримерной. Задумчивые, сосредоточенно о чем-то размышляющие. Тут же гример. Все молчат. Наконец Александр не выдерживает, тяжело вздыхает и с досадой бормочет:

— И почему мы взяли только по одному!.. Да и рубашки надо было брать по три, а не по две...

— Я говорил, — слабо оправдывается Михаил.

— Говорил...

Опять молчат.

— Ладно, — успокаивает товарища Михаил, — завтра поедем и еще возьмем.

— А вдруг уже не будет? — беспокоится Александр.

— Да нет, ты же видел — там было много.

Гример начинает волноваться.

— Вы о чем, ребята?

— Да ни о чем, просто так.

Но тот уже почувствовал, что это не «просто так», и начинает канючить:

— Ну что, жалко, что ли, сказать? Сами же говорите, что там много.

— Ладно, черт с тобой, — сдается наконец Александр и смотрит на друга. — Сказать, что ли?

— Да уж говори, — обреченно соглашается Михаил. — От него ведь не отвяжешься.

— Улица Чкалова, дом 4, — шепотом произносит Александр, оглядываясь на дверь.

— И что там? — пример тоже переходит на шепот.

— А там продают английские замшевые пиджаки по цене двух бутылок и рубашки любых расцветок. Сколько здесь три — в Москве одна стоит. Да и не найдешь таких в Москве.

— А что так дешево? — недоверчиво спрашивает пример.

— Наверняка контрабанда, — делает предположение Михаил. — Им, видно, нужно быстрее сплавить товар. Только ты — никому!

— Да вы что? Могила!

Пример несколько минут мнетя, потом не выдерживает нервного напряжения и осторожно спрашивает:

— Ребята, я вам, наверное, уже не нужен?

— Конечно. Иди отдыхай.

Пример пулей выскакивает из комнаты — и уже почти вся труппа мчится на такси, на частниках, на попутках на окраину города: на улицу Чкалова, дом 4 — дом, который приметил Ширвиндт еще при въезде в Пермь. Приезжают и видят задрипанную керосиновую лавку. Но пример-то понимает, что все это камуфляж, и начинает давить на продавца:

— Чего вы боитесь? Мы московские артисты: сегодня здесь, завтра — там. Никто ничего не узнает. Все будет шито-крыто. А мы у вас весь товар заберем.

— Какой товар? — ничего не может понять продавец. — Вот мой товар — керосин. Хотите — берите, хоть весь! Какие замшевые пиджаки? Вы с ума сошли! Какой дурак будет держать в керосиновой лавке замшевые пиджаки?

Все лезут в лавку, чтобы лично убедиться, что пиджаков действительно нет, и в конце концов убеждаются.

Назад едут все вместе автобусом. Мрачные и с желанием мести. А кто виноват? Пример виноват.

Был у нас в труппе артист Дмитрий Гошев (царство ему небесное!). И вот прибегает он однажды ко мне в номер чуть не со слезами на глазах.

— Лёвочка! Лёвочка! Что мне делать? Пришла срочная телеграмма: «Прилетай зпт Миша проглотил шуруп тчк Целую бабушка». Что делать?..

— А что делать, — говорю, — вылетай! Я за тебя сыграю роль. И ни о чем не беспокойся.

— Спасибо! Ты настоящий друг! — И убегает.

Сажусь, начинаю учить роль — спектакль в тот же вечер. И тут опять прибегает Гоша, но на этот раз радостный:

— Лёвочка! Пришла еще одна телеграмма. Слушай: «Шуруп вышел зпт можешь не вылетать тчк Целую бабушка».

Веселое время — гастролы! Праздник души и сердца.

Это было, когда мы гастролировали в Узбекистане... Среди артистов пополз слухок, что Ширвиндта и Державина пригласили выступить на каком-то важном правительственном приеме. Кто, кроме них, еще будет участвовать в концерте — тайна. Наверное, государственная. И об этом опять же знают только Ширвиндт и Державин.

Прошелестел еще один слухок: платить артистам по этическим соображениям не будут. Но зато вручат дорогие — очень дорогие! — подарки. А кому не хочется получить восточный подарок! Наверняка что-нибудь бесценное.

Артист, назову его Сережей, не долго мучился гамлетовскими сомнениями: быть или не быть. Конечно, быть! И он направился к неразлучным друзьям.

— Ребята, — попросил он, — включите меня в свой список. Что вам стоит?

— Сложно, — задумался Ширвиндт. — Ты же сам понимаешь — это на правительственном уровне.

— Да я понимаю... И всё же?

— Даже не знаю. Ладно, ничего не обещаю, но я поговорю.

— Я тебя прошу.

— Сделаю все, что могу.

Дня через два-три Ширвиндт подходит к Сереже и ласково улыбается.

— Ну, — говорит, — старик, поздравляю: тебя включили в концерт — будешь ведущим. Но текст придется заучить на узбекском языке. Как, справишься?

— Спрашиваешь!

Дал ему Ширвиндт текст на узбекском языке, написанный русскими буквами, и предупредил:

— Срок тебе — десять дней. Не тяни, сразу же начинай учить.

А жили они в соседних номерах, с хорошей слышимостью. И, попивая узбекское вино, Саша с Мишей от души веселились, слушая, как за стеной целыми днями Сережа бубнит:

— Дыр-быр-бур... Бур-дур-дыр...

Наконец проходит десять дней, и довольный Сережа заходит к соседям.

— Я готов. Когда концерт?

— Какой концерт? — Ширвиндт явно не понимает, о чем идет речь.

— Как «какой»? — Сережа в растерянности. — Концерт, где подарки будут давать.

— Понятия не имею.

— Да ты же мне текст дал — на узбекском языке. Я его выучил наизусть!

— Старик, я же не знаю узбекский. Как я мог тебе дать?

— А сейчас посмотрим...

Сережа выбегает из номера и вскоре возвращается с узбеком.

— Вот, — дает он ему текст и тычет в него пальцем, — прочитай-ка, что здесь написано.

Тот долго рассматривает бумажку и с трудом начинает читать:

— Дыр-быр-бур... Ребята, это какая-то хреновина, извините меня. По-моему, такого языка вообще нет.

И тогда до Сережи доходит.

— Ну, паразиты, — грозит он, — я вам тоже сделаю! — И хлопает дверью.

А что? Пустячок, а приятно.

Да разве же мы задумывались, опуская в трубу кошку: приятно это ей или неприятно? А разве мы жалели влюбленного фраера, который бил со всего маху носком в бетонную стену и корчился от боли?

Мы просто не задумывались над этим. Главное, нам было смешно и весело! И мы никого не хотели обидеть. Да разве ж и можно веселой шуткой обидеть кого-то?

И я снова и снова раздумываю над своим почетным званием Трагический клоун, которое мне льстит. Почему?

Может быть, дорогой моему сердцу читатель и зритель, когда мы вместе с вами закончим эту книгу, то найдем ответ на этот вопрос.

Если пилот не может не летать, то актер не может не играть. Если его не будет окружать атмосфера игры, он просто задохнется в творческом вакууме. И он, порой даже бессознательно, ищет и находит для себя игровую ситуацию.

И не были ли наши шутки и розыгрыши импровизированными этюдами, в которых каждый из участников, сам того не сознавая, оттачивал свое мастерство? Наверное, так оно и есть. Иначе зачем бы взрослым людям, многие из которых были весьма именитыми, на полном серьезе вести себя — если смотреть со стороны! — так непозволительно легкомысленно.

Мудрый Эфрос прекрасно понимал нас, поэтому и никогда не смеялся над нашими забавами и не вмешивался в наши игры. Я даже вообразить себе не могу, чтобы он сказал однажды: «Хватит заниматься ерундой! Вы же взрослые люди». Не мог он этого сказать! И даже подумать не мог, потому что был великим режиссером.

Иногда наши шутки были жестокими (как и лефортовские детские игры), но никогда не были злыми. Они могли вызвать сострадание, но никогда не рождали чувства злобы и мести. Смех сквозь слезы...

Не помню, кто из артистов рассказывал, как еще в студийные годы преподаватель крутил им фильм с Чарли Чаплином «Огни большого города». Там Чаплин, маленький, неловкий, растерянный, ведет на ринге бой с профессиональным боксером, чтобы заработать немного денег. И этот профессионал гоняет бедного Чарли из угла в угол, а тот выделывает такие трюки, что зрители покатываются со смеху.

И вот в разгар зрительского веселья преподаватель вдруг останавливает кадр с лицом Чаплина и предлагает внимательно посмотреть на него. И тут все увидели выразительные глаза затравленного звереныша, в которых отразилась вся глубина его страдания, вся трагедия беспомощности и обреченности.

Фильм продолжили, но никто уже больше не смеялся.

Трагический клоун... Смех сквозь слезы...

Я вообще думаю, что в этом мире порой непостижимым образом уживается трагическое с комическим. И часто трудно, а то и невозможно определить, где кончается шутка и начинается драма человеческая.

Забегая немного вперед, расскажу в этой связи историю моего знакомства с драматургией Бертольта Брехта.

Все началось с того, что в Театр имени Ленинского комсомола был приглашен грузинский режиссер Михаил Туманишвили. Он ставил «Что тот солдат, что этот» Брехта. И мне была поручена главная роль Гели Гея.

Внешне сюжетный рисунок пьесы незатейлив. Простодушный, наивный грузчик Гели Гей отправляется на базар, чтобы купить по просьбе жены маленькую рыбу.

— Думаю, что вернусь через десять минут, — сказал он жене.

И не вернулся вовсе.

Ему повстречались три солдата, которые при попытке ограбить пагоду потеряли четвертого. А без него им никак нельзя вернуться в казарму. Пришлось бы отвечать за ограбление.

И солдаты уговаривают Гели Гея надеть мундир и на вечерней поверке выкрикнуть чужое имя. А почему бы и нет?

А потом солдаты втянут его в придуманную ими авантюру — продажу армейского слона. Его арестуют. Будут судить и приговорят к расстрелу. А потом Гели Гей, а теперь уже Джерая Джип, произнесет надгробную речь над своим же гробом, и родится другой человек — самый жестокий солдат армии.

Человека, не умеющего сказать «нет», можно превратить во что угодно — такова мысль Брехта.

Человек должен уметь говорить «нет»! Кажется, мысль понятна и не вызывает никаких возражений. Но как ее воплотить на сцене, чтобы она обрела многомерность, рельефность, не выглядела банальным нравоучением? Ведь это Брехт. И сама его система «отчуждения», «игры со стороны» была нам очень мало знакома. А стилистика его пьес...

Репетиционный период был мучительным. У меня ничего не клеилось. Я не понимал режиссера, переставал понимать Брехта, начал ненавидеть роль.

Тут, если честно признаться, сказала наша нередкая актерская ограниченность: если не по-моему — значит, не так. Если непривычно — значит, плохо. А я так не могу. А я так не понимаю.

И если спектакль вышел несовершенным, то в этом есть и моя вина. Ограниченность так же страшна, как равнодушие или цинизм.

Театр уходил в очередной отпуск. Репетиции были прерваны. Туманишвили уехал в отчаянии. У меня настроение было не лучше.

Но время — вещь не только уходящая, но и воздействующая. Прошло лето. Видимо, всё же эти дни не прошли для меня даром: мозг бессознательно продолжал поиск того единственного решения, которое могло бы помочь найти выход из тупикового положения в схватке с драматургией Брехта.

Я шел по улице на сбор труппы и, подходя к театру, столкнулся с Туманишвили. Не знаю почему, но мы буквально бросились друг к другу и обнялись.

И с первой же репетиции все пошло! Работала фантазия, мышцы сами легко выполняли сложный физический рисунок.

— Михаил Иванович, а может, здесь так?

— Конечно, Лёва, попробуй.

Я что-то показываю ему.

— Ну как?

— А что, хорошо! Закрепи.

Решения сцен приходили легко и свободно.

Гели Гей стоит в окружении трех солдат, решивших во что бы то ни стало использовать этого человека, который не способен сказать «нет». Ему-то кажется, что он сам принимает решения: захочет — пойдет с ними, не захочет — останется.

Но вот один солдат толкает его изо всей силы к другому, тот — к третьему. Гели Гей, как мяч, летает по кругу, пытаюсь скрыть свою растерянность и жалким подобием улыбки уверяя своих новых приятелей, а прежде всего самого себя, что он не находит в этой игре ничего дурного — почему бы и не подураться, не так ли? Шутка!

Они же под видом этой приятельской шутки внушают ему, что с ними шутки плохи. Так возникает символ: здесь человек сам себе не хозяин. Он игрушка в чужих руках.

Наконец солдаты прекращают швырять его. Он не успевает еще отдышаться, как двое хватают его под руки, он глупо хихикает — вот ведь шутники! Они рывком отрывают его от земли, ноги его уже болтаются в воздухе, но он делает вид, что идет сам.

Его заключительная реплика: «Тут уж я никак не могу сказать “нет”», которую он произносит с милой дружеской непринужденностью, приобретает совершенно убийственный смысл.

И так решалась одна сцена за другой. Каскад трюков, импровизаций, бешеный темп.

Однажды во время спектакля я охнул и опустился на сцену: страшная боль в колене подняться мне уже не дала.

В институте Склифосовского заполнили карточку: разрыв сухожилий, мениск, перелом коленной чашечки. Ногу до паха упаковали в гипс.

Через несколько дней я отпросился из больницы домой. Лежал с этой дурацкой гипсовой ногой и плакал от отчаяния.

Пришли навестить друзья. И по секрету рассказали, что Туманишвили предложили взять нового исполнителя: премьерера под угрозой срыва, ждать нельзя. Да и некоторые коллеги уже предложили свои услуги.

Туманишвили сказал категорически:

— Нет! Хоть год, хоть десять лет! Я буду ждать Дурова.

На следующий день я репетировал в гипсе. Я очень любил эту роль. И, как говорят, играл ее неплохо. Спектакль имел успех. О нас писали. Но в душе осталось чувство вины. Перед кем? Точно не могу сказать.

Да ведь я и вовсе не об этом — не о чувстве вины. Я о шутке. О комическом. О той маске комедии, уголки губ которой беззаботно задраны вверх и в какой-то неуловимый момент скорбно опускаются вниз — и мы уже видим перед собой маску трагедии. В какой момент одна маска превращается в другую, когда происходит эта поразительная метаморфоза, порой даже трудно уловить. Да и нужно ли поверять «алгеброй гармонию»? В таком случае мы рискуем лишиться самой сокровенной тайны — тайны перевоплощения. В более

широком смысле — тайны творчества. А без этого всякое творчество теряет свою привлекательность, свое очарование, оно лишается, в конце концов, своего глубинного смысла.

Мне неинтересно знать, из какого сора растут стихи. Пусть это останется тайной их творца. Я хочу наслаждаться поэзией, очищенной от всяких примесей. Тайна творчества велика есть! И пытаться проникнуть в нее — бесплодное занятие.

Рассуждения о комическом и трагическом невольно приводят к понятиям о добре и зле.

Никто не рождается подлецом или героем, добрым или злым. В каждом человеке живет и то и другое, но в конечном счете торжествует, побеждает что-то одно.

Так и ходят они рядом — Ромео и Тибальд, Отелло и Яго, Клаус и пастор Шлаг.. Ходят до тех пор, пока Тибальд не убьет Меркуцио; пока Ромео в порыве мести не выхватит шпагу; пока Яго из-за слепой животной ненависти не заставит Отелло убить Дездемону, а сам не заколет свою жену; пока Штирлиц не выстрелит в Клауса, чтобы спасти многих людей...

И разве не драма для Ромео поразить шпагой человека, стать убийцей?.. А Тибальд? Он что — не мог понять, что кровная вражда — это нелепость, великое зло, тупость? Он же мог стать таким, как Меркуцио, Ромео...

И это — тоже драма. А Яго? Зачем слепая дикая ненависть, а не доброта и любовь? Он обокрал себя, стал духовно нищим!

Драма!

Но зачем усложнять? Можно ведь просто изобличить или осудить. Можно. Конечно, можно. Но тогда все эти истории останутся фактами газетной хроники, но не предметами художественного исследования. Они так и застынут безликими плоскими снимками, снятыми дешевым фотоаппаратом и отпечатанными на клочетной бумаге.

Я абсолютно уверен, что каждая роль, даже самая «смешная», несет в себе драматическое начало.

Давайте вспомним еще раз самого «смешного» актера — Чарли Чаплина, маленького человека, с детским недоумением смотрящего на мир. Жизнь беспощадно треплет и бьет его, ставит ему подножки и дает пощечины... А он, отряхнувшись, поддернув штаны, крутанув своими квадратными усиками,

опять шагает по пыльной дороге, уходящей в никуда. И походка его — что-то среднее между клоунской и балетной...

Хрупкий, тонкий, оптимистичный трагик в самых смешных, даже глупых ситуациях. И вы уже вытираете слезы, вам уже не до смеха...

Рассуждая о комическом и трагическом, о добре и зле, я вольно или невольно встретился нос к носу с маленьким человеком, над нелепыми поступками которого мы всегда смеемся, а над его трагической судьбой рыдаем.

В течение многих лет мне пришлось играть так называемых маленьких людей. С этим определением мы знакомимся еще в школе, когда педагоги рассказывают нам о героях Гоголя или Чехова. И все знают, что Акакий Акакиевич — маленький человек. Или Медведенко в «Чайке».

Но меня почему-то это определение всегда раздражало. В нем слышалось что-то снисходительное и сюсюкающее. И мне захотелось его опровергнуть.

Маленький человек... Да не должен быть человек маленьким! Никто и ничто не может сделать человека маленьким, кроме него самого!

Маленький человек — это тот, кто выключил свой мозг, подогнул колени и натянул на лицо маску жалости или всеготовности. Но это он сделал сам, по своей доброй воле! Для меня маленький человек — это несчастье или зло. Потухший и смирившийся человек не может вызвать ни любви, ни уважения. Может быть, только жалость, а это чувство, унижающее человеческое достоинство.

Мне посчастливилось сыграть один из драматичнейших образов Федора Михайловича Достоевского — штабс-капитана Снегирева в пьесе Виктора Розова «Брат Алеша» по мотивам романа «Братья Карамазовы». Розов взял из романа тему, которая обычно не входила в инсценировки и экранизации романа. Эта тема вообще близка творчеству Розова — во всех своих пьесах он взволнованно говорит о детях, подростках.

В «Брате Алеше» сложно переплетаются судьбы Лизы Хохлаковой, Коли Красоткина, Алексея Карамазова, Илюши Снегирева. Семейство Снегиревых находится на грани полного отчаяния: нищета, больные дети, сумасшедшая жена...

Когда-то в Московском Художественном театре Снегирева играл Москвин. Говорят, что играл потрясающе. Играл выс-

шую меру унижения и раздавленности. Конечно, я не собирался вступать в спор с великим Москвиным. Просто я думал иначе, а на это я имею полное право.

Нет, не унижение и раздавленность, а протест против унижения, вызов жизни, которая загоняет тебя в угол, которая держит твое сердце в кулаке и сжимает по своей прихоти.

Смерть отнимает у него самое дорогое — ребенка. Последнюю надежду. Но Снегирев не хочет сдаваться, не хочет смириться, и крик: «Не хочу другого мальчика!» — это не только крик отчаяния, но и вызов Богу: «Если ты позволяешь такое — я против тебя!» В этом вызове — величие этого маленького человека.

И оборотная сторона этой темы: зло.

В многосерийном телевизионном фильме «Семнадцать мгновений весны» мне пришлось играть самого отвратительного человека: провокатора Клауса. Я долго думал, как эту небольшую роль, даже эпизод, сделать неплоским, неоднозначным. И нашел, ухватившись за одну реплику. В сценарии Штирлиц обращается к Клаусу с вопросом:

— А вы не пробовали писать?

И тот отвечает:

— Нет.

Вот за это «нет» я и ухватился. Я отвечал через паузу, неуверенно. Конечно же, он пробовал писать, мечтал стать писателем.

Но не получилось. Скорее всего, просто не хватило таланта. Не всем же дано стать писателем! И вот тогда свою несостоятельность Клаус превращает в болезненное непризнание: «Ах вот как! Значит, я не талант?! Вы меня не признаёте? Тогда я буду мстить. И буду мстить жестоко».

И он становится творцом провокации, ее поэтом. Поэтом самого низменного, что может быть. Почему бы не найти другого места в жизни, почему бы не найти в другом месте счастья? «Нет, не хочу!» И маленький человек становится большим злом. И кроме страшного зла, он ничего не может принести людям.

Написал я это и вспомнил, что где-то у Горького в воспоминаниях о Чехове что-то уже было написано по этому поводу. Ага, нашел!

«А собственно говоря, и подлецы — тоже несчастные люди, — черт их возьми!»

Кто это сказал? Провинциальный учитель, который только что жаловался Антону Павловичу на «грозную правду той жизни, которой живет русская деревня».

Так ведь и я о том же! Конечно, несчастные!

Листаю дальше. Вот она, известная статья Горького «О “маленьких” людях и о великой их работе»:

«Нас моралисты убеждают только в том, что если человеку изо дня в день твердить, что он плох, — это не делает его лучше, чем он есть.

Людей учили: вы — негодяи, вы — дрянь; старайтесь быть лучше... Было практически выгодно вещать людям, что они — негодяи. Ведь если это так — значит, они сами и виноваты в том, что их жизнь так тяжела, так отвратительна. “Маленьких” людей пытались убедить, что они ничтожны, бездарны, глупы и что все “хорошее”, созданное на земле, создается не ими, а силой “великих”».

Очевидно, что здесь Алексей Максимыч перемудрил сам себя, когда стал говорить не языком писателя-человековеда, а плакатными фразами адвоката Октябрьского переворота. Подсюсюкнул миллионам «маленьких» людей.

А где же грань между «маленьким» человеком и «великим»? И как это «маленький капрал» Бонапарт превратился в императора Наполеона I, или унтер Шикльгрубер — в фюрера нации Гитлера, или недоучившийся семинарист Джугашвили — в «отца всех народов» Сталина? Это ведь их убеждали, что они «ничтожны, бездарны, глупы». Не сумели убедить, что ли?

А как быть с «великим» королем Лиром, который вдруг оказался ничтожнее своего шута?

А что делать с Сальери, который оказался, по расхожей легенде, и «негодяем», и «дряню», то есть «маленьким» завистливым человечком? Это — о Сальери? Об учителе Бетховена, Шуберта, Листа? Да полноте, Алексей Максимыч!

«Гений и злодейство — две вещи несовместные. Неправда...» — это сказал Сальери.

Видно, действительно каждому человеку сполна отпущено и достоинств, и недостатков, но в конечном счете побеждает какая-то одна характерная склонность. Собственно, эту мысль еще сто лет назад выразил Лев Толстой в своем замысле

написать о человеке, который в одно и то же время добр и зол, щедр и жаден, любвеобилен и жесток и т.д. и т.п. Не написал.

Времени не хватило? Возможно. А может быть, по здравом размышлении отложил свой замысел подальше в стол и хитро усмехнулся в свою седую бороду. Не будем гадать, почему замысел оказался нереализованным. Великому писателю земли русской лучше было знать, о чем писать, а о чем промолчать. Чтобы не тешить лукавого. Не стану тешить его и я: вмешиваться в Божьи дела — себе дороже. А уж Господь знал, что делал, когда создавал человека: он его уподобил себе, то есть — Космосу. А он безмерен и бесконечен и во времени, и в пространстве.

«Эва! — скажет читатель. — Куда хватил: с Львом Толстым себя уже на одну доску поставил». А почему бы и нет? Только не я себя поставил — меня поставили. Могу рассказать, как это случилось. Правда, придется начать издалека. Но ведь нам все равно некуда торопиться, не так ли?

Это произошло накануне очередных майских праздников. Мне позвонили из Президиума Верховного Совета и сказали, что меня наградили орденом Трудового Красного Знамени. А когда мне что-то преподносят, я тонко, как большой интеллигент, шучу. И я говорю:

— Наконец-то вы созрели в Верховном Совете! А я-то уже давно был готов к этому! Во всех пиджаках дырок наковырял! А вы всё там ни мычите ни телитесь.

Так тонко, интеллигентно шучу.

На другом конце провода похихикали над моей шуткой и говорят:

— В среду к десяти утра просим прибыть. И, будьте добры, без опозданий.

Я, конечно, как дурак, с утра шею вымыл, галстук нацепил и к десяти часам подъезжаю к этому мраморному зданию. Там часовые.

— Здравьете, Дуров, вы чего?

Стало быть, узнали.

— Здравьете, — говорю. — Мне тут позвонили... — и объясняю, что к чему.

А они говорят:

— Сегодня не наградной день.

— Как не наградной? Мне сказали: к десяти утра!

Тут они тоже занервничали, как и я.

— Сейчас, — говорят, — мы позвоним куда надо и всё выясним.

Они ушли куда-то, приходят и говорят:

— Мы позвонили в секретариат. Вы знаете, ни в одном наградном листе вашей фамилии нет.

Я спускаюсь по ступенькам, выхожу на улицу, гляжу — машина. А облокотясь на нее, стоит довольный Юрий Никулин и говорит:

— Приехал все-таки, дурачок!

И я, невзирая на флаг на здании, на мрамор, сказал все, что о нем думаю.

— Кто звонил? — спрашиваю.

— Я, — говорит. — Кто же еще?

— Не стыдно?

— А тебе? — спрашивает. — Поверил, как маленький. Ну здравствуй, мальчик.

И мы обнялись.

Ладно, думаю, больше я на такой крючок не попадусь.

Проходит несколько дней, раздается звонок.

— Дуров? — спрашивают.

— Дуров, — говорю, — Дуров. Что надо?

— Это звонят из «Совинфильма». С вами хочет встретиться Питер Устинов. Не могли бы вы...

И я перебиваю:

— У меня к вам предложение, «Совинфильм».

— Да? Какое же?

— Не пойти ли вам вместе с Питером Устиновым!.. — и уточняю куда.

А звонящий не отступает и все настаивает. Я, значит, адресую еще длиннее. Слышу, он кому-то там говорит:

— Он посылает.. Поговори ты с ним.

Трубку берет женщина. Ну я, конечно, опомнился.

— Простите, — говорю, — пожалуйста, я думал, это Ширвиндт или Никулин.

Она там сразу все поняла — и говорит:

— На самом деле вас хочет видеть Питер Устинов.

И я поехал на эту встречу, не понимая, зачем и что. Хотя... Драматург Питер интересный, актер замечательный и человек, как мне было известно, хороший.

Значит, приезжаю. А этот Питер такой огромный, как баобаб, здоровый и бородища на всю грудь. Он увидел меня и как заревет:

— Ле-е-ев!!!

И весь «Совинфильм» вздрогнул: мол, чего притворялся, что не знаком.

Тогда и я заорал:

— Пи-и-итер!!!

К его пупку ухом прижался, орем! Все обалдели, думают — совсем с ума сошли. Думают, откуда у Дурова такие связи с Англией? Кто-то смутился...

Ну, сели, чуть поддали, и я спрашиваю:

— Чего тебе нужно, Питер?

По-простому его спрашиваю.

— Видишь ли, канадская телекомпания будет снимать по моей книжке многосерийную картину.

У него тогда вышла книжка «Моя Россия».

— Слышал, — говорю, — о книжке, но не читал.

— Подарю.

И тогда я спрашиваю:

— А я при чем?

— Я, — говорит, — буду играть самого себя, Питера Устинова. А ты будешь Львом Толстым.

— Ты что, обалдел? — спрашиваю. — Какой из меня Лев Толстой? Погляди на меня получше.

— Нагляделся, — говорит. — Ты вылитый Толстой. Давай гримироваться.

Я и опомниться не успел, как гример уже взял меня в оборот. Мудрил он надо мной, мудрил, а когда закончил... нас всех разбил паралич! Меня — первого. Поглядел я в зеркало: один к одному!

А гример спокойно так:

— Думаю, больше ничего не надо делать.

Я говорю:

— Братцы! Да что ж это такое? Я ведь хотел отмотаться! Куда же теперь?

И они провели опыт. Сфотографировали меня, и гример ходил с двумя фотографиями — моей и Толстого — и всех спрашивал:

— На одной фотографии не Толстой. Где не Толстой?

И все тыкали пальцем в фотографию Толстого... Хотя бы кто-нибудь тыкнул в меня! Оказалось, я чуть-чуть «толстее» Толстого.

Ну, деваться было некуда, и повезли меня сниматься в Ясную Поляну. А по дороге произошла история, о которой я и хотел рассказать.

Я, конечно, при бороде. И Питер со мной. А ехали мы на «чайке», списанной машине начальства. На той самой, которую у нас прозвали «членовоз». А выехали мы ра-а-но! И тут посреди дороги жутко жрать захотелось. Смотрю — слева сельмаг, справа — пост ГАИ. Я и говорю водителю:

— Притормози.

Он притормозил, а на посту — милиционер. Он как увидел... Конечно, подумал, что какая-то правительственная машина — а его не предупредили. И он ссыпается по лесенке и несется к нам. А я забыл, что я — Лев Николаевич-то... Открываю дверцу и вылезая.

Господи, что тут с бедным милиционером сделалось! У него лицо судорогой свело, вот клянусь! И слова не может сказать, только:

— Ва!.. Э!.. — И отмахивается, как от пчел.

А я решил подыграть и говорю:

— Подожди, милейший, граф есть хочет. В сельмаге есть что-нибудь?

Он трясется, как осиновый лист, и ртом воздух хватает:

— Нет!.. То есть да!

И как дунул через дорогу! Питер трясется от смеха, а я ему говорю:

— Ты молчи! Ты мой слуга из Англии.

А в сельмаге действительно и «нет», и «да»: одни сушки. И на том спасибо, моему «слуге» понравились. Потом мне рассказывали, что, когда Питер улетал в Англию, он увез с собой целый чемодан этих сушек.

Между прочим, Министерству внешней торговли следовало бы задуматься над этим фактом. Не умеем мы торговать!

В общем, приехали мы в Ясную Поляну и все, что нужно было, отсняли...

Там был один замечательный момент. Посадили меня за стол Толстого — и вдруг операторы-канадцы расхохотались, глядя куда-то поверх моей головы. Я поворачиваюсь: за моей

спиной фотография Толстого за этим же столом, и он тоже делает вид, что работает, как и я.

И вот отсняли мы всё и возвращаемся в Москву. Глядим — на том самом посту пять милиционеров стоят.

— Питер, — говорю, — это нас ждут.

Притормаживаем, я вылезая из машины, и гаишники начинают хохотать.

— Дуров, — говорят, — твой на бюллетене!

— Кто это? — спрашиваю.

— Утренний. Он пришел к начальству и говорит: «С ума сошли! Толстой без охраны едет! А вы — ничего! Не приняли никаких мер!» Начальник спрашивает: «Вася, какой Толстой?» А он: «Писатель! Знать надо!» Начальник говорит: «Спокойно, Вася, сними португею, сдай оружие...» Разоружили его на всякий случай, позвонили домой и сказали: «Клава, твой — плохой, едет домой, вызывай врача». Выяснилось, что у него был нервный шок. Дали бюллетень на десять дней.

Но оказалось, что это еще не конец истории. Когда Питер Устинов был уже в Англии, в журнале «Иностранная литература» вышел его рассказ «Лев Толстой и милиционер». Рублей семь, наверное, получил за него.

А после того, как у них там, в Англии, показали по телевидению сериал, мне прислали оттуда газету с рецензией. Серия, где я снимался в Ясной Поляне (она называлась «Бородино»), была признана лучшей. Пустячок, а приятно. А что? Не было бы Васи и сельмага с сушками на тульской земле, я, может, и не вошел бы так органично в образ великого писателя.

Это, конечно, шутка. Но если серьезно, то мне в самом деле грешно обижаться на недостаток внимания к моей персоне.

Вот стою я как-то в очереди за молоком. За женщиной. Она так странно помялась, помялась, не выдержала и обернулась.

— Как?! — удивляется. — И вы? Вот так стоите в общей очереди?

— Да нет, — говорю. — Знаете, у нас есть свой магазин, актерский, но он — в Спасской башне Кремля. Сейчас там ремонт затеяли, так что пришлось сюда...

Она сразу успокоилась. И я доволен — утешил человека.

Все думают: «Раз постоянно торчит в телевизоре, значит — привилегированный. Не может же быть такого: его миллионы видели, а он в той же очереди стоит!»

Смешное и наивное заблуждение! Ведь никакой ценовой разницы между профессиями нет. Просто мы всегда на виду. А в остальном, скажем, чем я отличаюсь от сталевара? Разве только тем, что у них тяжелее. Хотя по английской шкале затрат энергии актеры стоят на пятом месте: на первом — шахтеры, на втором — полицейские, на третьем — летчики-испытатели, потом — врачи-гинекологи, а уж за ними — мы. Поэтому и стораем так быстро. Но если ты не кладешь жизнь на эти доски, то зачем на них выходить?

Если бы кто-нибудь из социологов подсчитал, сколько времени у нас уходит на ненужные, бестолковые дела! Вместо того чтобы думать о роли, я должен бегать за продуктами, добывать в каком-нибудь ЖЭКе никому не нужные справки.

Не уверен, что Дастин Хоффман убивает много времени на это. Может быть, он и актер такой, потому что занимается только своей работой? Роберт Редфорд каждое утро садится на лошадь, чтобы быть в форме, а я — в машину, чтобы добывать пищу.

Нет, ни зеленая, ни черная зависть меня не гложет. Ведь у нас как было? Уехал за границу — предатель. Остался в своей стране — идиот. Да человек сам вправе решать свою судьбу! Весь мир переезжает с места на место, и нельзя людей судить за это. Мы всё мерили своими идиотскими социалистическими мерками: предатель — не предатель. Уехал человек — ради бога, вернуться захочет — его право.

А наше воспитание под толпу.. Почему нас узнают за границей, даже если мы одеты в шикарные куртки и джинсы и не ругаемся матом? Да по одинаково озабоченным лицам, по глазам.

Я вот не хочу никуда уезжать! Что я теперь — идиот? За свою жизнь побывал во многих странах: Марокко, Мексика, Германия, Англия... Очень вписался в Нью-Йорк. Всю жизнь мечтал побывать в Америке. Италию как-то знаешь по искусству, Испанию — более-менее, Францию — совсем хорошо. Америка же — другой мир.

Наконец попал туда. Сразу гулять пошел. Друзья кричат: — Куда тебя понесло? Ночью!

А я весь Бродвей пешком прошел. Мне было очень легко в этом городе, хотя по-английски с детства ни слова не знаю. Даже по Гарлему ходил. Ну, опасно. Идет навстречу такой двухметровый человек. Черный, как мрачная ночь. На лице написано желание гадость сказать. А я сразу начинаю ртом воздух хватать и запрокидываюсь, как припадочный. Пару раз так запрокинулся — больше никто не приставал.

А еще — витрины роскошные. И — замечательно стоять на 350-метровой высоте и смотреть вокруг. Рядом стоит Джигарханян, спиной ко мне, и, глядя на Манхэттен, говорит:

— Лёва, Лёва... И все это мы с тобой должны были догнать и перегнать?..

Но хотел бы я там жить? Нет, не мой город. Мой город — Москва. То ли корни тянут, то ли могилы за спиной, не знаю. Хотя наша жизнь сейчас к особому веселью и не располагает. Все вокруг или озабочены, или раздражены. Я сам себя ловлю на том, что все время пою. Хожу и пою, сижу в машине и пою, за кулисами — пою. Это своего рода защита. Потому что если не петь, то остается только выть! Уж лучше петь.

Я больше не хожу на митинги, не хочу орать, не хочу стоять в толпе. У меня есть свой взгляд на положение в стране. Надо идти работать. Каждый должен делать свое дело, насколько хватает таланта и сил. Тогда все будет: и польза, и преданность Отечеству. Хочу поставить хороший спектакль!

У нас сейчас многие хотят заняться бизнесом. Одним это удается, другим везет меньше. У меня нет никакого желания, да, видно, и способностей, заниматься этим родом деятельности. Наверное, это плохо, ведь мог бы с этого что-то иметь. Но вот смотрю я на лица артистов, которые потянулись в бизнес... Не те стали лица, не актерские, а как у людей на бирже: жесткие и немного бегающие — от напряжения — глаза: «Как бы не проигратся!» Да простят они мне это, но они уже смотрят не в душу, а на биржевой щит. Происходит страшное перерождение человека.

Я уже говорил, что много лет проработал с Анатолием Васильевичем Эфросом. А если кто когда-либо делал что-то с большим Мастером, то память об этом остается на всю жизнь. У каждого Мастера свое лицо, своя школа, и ты, естественно, становишься ее приверженцем. Хотя, справедливос-

ти ради, должен сказать: Эфрос частенько нас поругивал, что мы не принимаем ничего другого, варимся в собственном соку.

Однажды на каком-то моем юбилее Эфрос сказал, что «Лёвка» — самый близкий ему человек, которому он не боится показывать свои слабости. Но мы никогда с ним друзьями не были. Я всегда относился к нему как ученик к учителю, как к мэтру. Эфрос был создан только для сцены, только для театра. Он обязательно днем один час спал — настолько уставал. Вся его необычайная энергия была направлена только на создание спектаклей, только на театр и больше ни на что. Он ни на что вообще не отвлекался.

Он никогда никого не держал на расстоянии вытянутой руки, но, уважая его огромный талант, все невольно соблюдали эту дистанцию. И несмотря на то, что меня могли назвать его правой рукой, я никогда не позволял себе ничего панибратского. Перешагнуть этот великий авторитет было невозможно. Даже если у нас случались конфликты, все тут же вставало на свои места: Эфрос — Эфрос, Дуров — Дуров. Дуров рядом, он помощник, он опора. И мы опять продолжали работать так же, как и работали.

Хотя когда начинают рассказывать сказки об Эфросе как об ангеле, не соглашаюсь: он во многом был очень жестким человеком, и часто выяснять с ним отношения было просто нельзя.

Относительно выяснения отношений у нас существовал особый ритуал. Иногда он мне говорил: «Лёвка, поговорим». Мы садились друг напротив друга и начинали разбираться — он сам предлагал такой вариант. Эфрос мог сказать: «Лёвка, ну чё ты стал такой жесткий?» На что я отвечал: «Анатолий Васильевич, а чё вы стали такой жестокий?» — «Я жестокий?» — «А я жесткий?» И так мы с ним что-то проясняли. Но речь-то шла не только об отношениях между нами, но и об обстановке в труппе, о ее настроении — почему оно меняется в худшую или в лучшую сторону. Вот такой был ритуал. И когда одна актриса, встретив его в коридоре, по какому-то поводу сказала: «Анатолий Васильевич! Вот это та самая справедливость, о которой вы все время говорите...», Эфрос ответил: «Пойдемте поговорим». И пока он с ней разговаривал, она два раза теряла сознание! Эфрос дожидался, когда она придет в себя, и снова продолжал ей объяснять, что такое хорошо, что такое плохо и что такое театр.

Однажды я видел актера, который шел от Эфроса, держась за стенку. Я спросил: «Выясняли отношения с Анатолием Васильевичем?» — «Да. Вот получил...» — ответил он.

Сам я режиссурой стал заниматься очень давно. И Анатолий Васильевич считал, что у меня на это есть основания. На одном из его спектаклей я был его ассистентом, а потом стал режиссером. Есть два спектакля — «Каждому — свое» и «Снятый и назначенный», где на афишах написано: «Постановка Эфроса — Дурова». Я даже сам не так давно вспомнил, что в тех легендарных «Трех сестрах», оказывается, я был режиссером. Мы с Эфросом проработали вместе двадцать семь лет. Почти не было спектакля, который он сделал бы без меня. В Детском театре, как я уже говорил, у нас был замечательный спектакль «Друг мой, Колька!». Эфрос обычно поручал мне: «Ну-ка, давай придумай начало и финал». Я придумывал, договаривался с молодыми актерами (а тогда все были очень молодыми), репетировал, потом звал Анатолия Васильевича, показывал, и он с маленькими поправочками почти все оставлял. Но самое смешное, что когда я был ассистентом и режиссером или даже сопостановщиком, то все было нормально. А как только я начал самостоятельно ставить спектакли, самым строгим оппонентом по режиссуре стал Анатолий Васильевич Эфрос. Мой первый самостоятельный спектакль — «Занавески» по пьесе Миши Ворфоломеева — почему-то ему не понравился, хотя, поверьте мне, спектакль был неплохой и шел в течение десяти лет.

Конечно, мне всегда будет памятен этот спектакль. Однажды у нас в театре появился какой-то странный парень — белокурый, с пшеничными усами, наивными голубыми глазами и с пьесой в руках. Я прочитал ее и моментально понял, что это нужно обязательно поставить. «Занавески», пожалуй, самая первая правдивая пьеса о деревне. Там не было «Кубанских казаков» — не было приукрашивания. То есть показывалась настоящая тяжелая жизнь деревни, где и пьянство, и насилие, и самоубийство. Я сразу взялся за эту пьесу.

Я сам играл в этом спектакле конюха Кузьму, главную роль. Он думал, что коней отдаст куда-то на пастбище, а оказалось, что их просто сводили на бойню... Зал буквально рыдал, а это не так просто — заставить рыдать людей. Помню, на худсовете после спектакля я сказал Эфросу: «При всем моем уважении

к вам — а я вас считаю гениальным режиссером, — попадись мне сейчас в руки пьеса под названием “Занавески”, я бы ее взял, и я бы эту пьесу поставил, и поставил так же, как поставил!» Были у меня потом большие неприятности. Спектакль официально хотели снять — дирекцию заставляли, чтобы она сняла. А я, когда однажды услышал, как за моей спиной чиновники «нажимали» на директора: «Вы все-таки до сих пор не спустили этот спектакль на тормозах!», развернулся и давай на них орать: «На тормозах вас всех надо спустить! И как можно глубже и подальше! Спектакли на тормозах не спускаются. Хотите запретить — запрещайте! Давайте любой приказ!» А они приказы боялись давать, потому что это документ, а чиновники по природе трусливы. И они придумали такую формулу: «тихо спустить на тормозах». Я устал разговаривать с ними и бороться. А спектакль шел и шел. И однажды мне передали, что внизу меня ждет какой-то человек, по виду чиновник. Я сказал: «Не пойду. Не хочу и не буду я ни с кем разговаривать. Пускай присылает приказ». А мне: «Да нет, он просит, чтобы вы спустились». Внизу стоял симпатичный такой человек небольшого роста в сопровождении какой-то компании. Он сказал: «Дуров, а знаете что? Мне спектакль очень понравился. Конечно, вы сыплете соль на раны. Сыплете, сыплете, не спорьте... Я плакал. Вот видите — жена стоит рядом зареванная. Тяжелый спектакль, но очень хороший. У вас ведь из-за спектакля неприятности? Не знаю, могут ли мои слова повлиять на что-то, но я постараюсь доложить...» И ушел. И все кончилось. И спектакль шел десять лет. Потом я узнал, что это был помощник Брежнева Александров. Его окружение, видимо, «создало мнение», что спектакль «нравится», и чиновники испугались, решили с Александровым не связываться. В таком повороте дел, конечно, ничего хорошего нет. Ведь в те времена от самодурства того или иного чиновника могла зависеть и зависела судьба не только спектакля, но и театра.

Если я что-то умею на сцене и на экране — а я что-то умею, — то всем этим, конечно, обязан Эфросу, потому что он мой Учитель. Учителей у меня было много. Но это все как бы учителя начальной школы. А вот потом начинается университет. И тут, конечно же, это Эфрос. Все, кто с ним работал, — его ученики, это бесспорно. До сих пор все, кто работал с Эфросом, именно благодаря ему делают то, чего многие актеры не

умеют — так называемый психологический разбор, психологическое проживание роли. Это была великая школа Эфроса...

Если ты когда-то соприкасался с истиной, предавать ее нельзя. Если ты работаешь с другим режиссером, у него своя манера, свой рисунок — работай, как он предлагает, но только помни: нельзя предавать то, во что ты верил и что на самом деле умел делать.

А что касается кинорежиссеров... Вообще говоря, у кого бы я хотел сниматься, те меня не берут. Вот, например, Иоселиани. Но он, видно, не знает о моем существовании. Феллини тоже как-то не вспомнил обо мне. Хотел бы работать с Тарковским, но он ушел. У нас были хорошие отношения. Он говорил, что я ему нравлюсь как артист, но совместной работы в кино так и не случилось. Только на радио. Наверное, я не вписывался в его актерский расклад. Говорю об этом без обиды — такова уж наша судьба.

Да и что-то мы оскудели добротными сценариями. Вот недавно прочитал один опус и жду, когда мне позвонят. Тут-то я и скажу: «Вам не стыдно предлагать такое?» Хотя к сценарию приложена записочка: оплата по договоренности, а это значит — большие деньги. Я живу небогато, машина, которую купил уже на старости лет, собралась разваливаться. Но нельзя же за деньги заниматься пошлостью!

Но, с другой стороны, ведь и шедевры рождаются не каждый день.

Как-то один известный актер сказал, что он не стал бы таким популярным, если бы не снимался в фильмах. Конечно, популярность в основном приносит кино. Такую дамско-девичью популярность. А серьезное признание — театральное. Но это я, как обычно, шучу...

Тот же Янковский стал известен после больших ролей в кино. Чтобы приобрести серьезную кинопопулярность, надо сняться в этапной картине. Что такое этапная? Та, которая ломает прежние каноны. Я не очень люблю все наше ретро. Ведь, по сути, это перенесенный на пленку театр, оперетка.

Феллини же, Иоселиани, Тарковский творили кино как искусство со своим, только им присущим языком. И прекрасные картины шли при полупустом зале: люди рвутся к тому стереотипу, который им привычен.

Сейчас многие популярные актеры снимаются в рекламе. Вспомним, как все возмущались, когда впервые увидели на телеэкранах популярного и любимого актера, который рекламировал что-то из ширпотреба: «Ах, как он мог! Как он опустился!»

А я считаю так: кто хочет, пусть снимается. Это его добрая воля и его профессия: играть! А что плохого-то? За что осуждать русского актера, когда он сегодня попал в положение своих коллег из пьес Островского, которые в поисках заработка бредут из Вологды в Керчь, а из Керчи — в Вологду?!

Не хочу сказать, что я лучше или хуже других, но не представляю себе, как бы я занимался коммерцией. Я бы тогда ушел из театра, я бы не смог совмещать одно с другим. Я уже говорил: кто занимается коммерцией — вне актерской профессии. Они думают не о творчестве, у них счетчик работает. В глазах: динь-динь-динь, как в калькуляторах, цифирки мелькают. Всё — это уже не актер. Тогда уйди и занимайся своим делом. Там преуспевай, там зарабатывай хорошие деньги.

Вы меня никогда не увидите ни на одной так называемой тусовке. Я не хочу светиться на экране с бокалом шампанского в руке и с бутербродом с икрой, если кругом люди живут плохо. Не могу. Совесть не позволяет. Может, синдром войны?..

А театр... Что ж театр? Он и не такое переживал. Сколько уж раз предрекали ему кончину: и с рождением кинематографа, и с изобретением телевидения и «видиков». А он хоть бы хны!

Еще Михаил Ромм, один из самых выдающихся кинорежиссеров, пророчил смерть театру. А после его заявления — было это, если не ошибаюсь, в конце пятидесятых годов — начался театральный бум, и в театры было невозможно попасть. Ведь живого общения актера с залом, зала с актером не заменят ни кино, ни видео.

А будет обязательно ренессанс, возрождение театра, театральный бум будет — вот посмотрите! Это волны: прилив-отлив... Это не зависит от коммерческой ситуации в стране, от экономической, от социологической и черт знает от какой еще! Театр вечен! Его нельзя упразднить, как, скажем, нельзя упразднить архитектуру: тогда людям просто негде будет жить. Кто-то из наших известных режиссеров сказал:

— Вы дайте моему зрителю хорошую колбасу, и тогда я поставлю замечательный спектакль.

Глупость. Чушь! В периоды голода, разрухи, крушения надежд создавались величайшие произведения. Сытый желудок высоты искусства не определяет. Это мое глубокое убеждение.

Но вот в чем парадокс: кинематограф, который своим появлением предрекал гибель театру, сам оказался на грани краха. Нет, я далек от мысли, что ему приходит конец! Но посмотрите, что творится сейчас. Это дурацкое американское, аргентинское, мексиканское кино заполонило все экраны (я не говорю о редких исключениях, которые только подтверждают правило). Я, например, не могу смотреть всю эту чушь. Бездарные актеры, сценарии, рассчитанные на умственно отсталых, нелепые ситуации. А сколько жестокости и порнографии!

Смотрю на афиши кинотеатров и читаю: «Секс на крыше», «Секс на водосточной трубе», «Секс в шкафу»... В Штатах на таком фильме вы будете сидеть один в пустом зале или в компании старенького негра, который глядит на все это как на ретро. Подобное «искусство» вне культурных традиций России, и непонятно, почему вдруг у нас им заразились.

И ведь люди с удовольствием смотрят про то, как «Богатые тоже плачут». И не полезешь со своими советами, не станешь оскорблять чувства людей. Ведь не скажешь:

— Люди, да зачем вам эта чуховина, этот китч? Ведь он никакого отношения ни к жизни, ни к искусству не имеет — ахинея сплошная!

Не хочется в таком тоне разговаривать. Да мне и не поверят.

— Как! — скажут. — Мы каждую серию ждем с сердечным трепетом, а тут Дуров заявляет, что картина ужасная! Это замечательный фильм! А вот ты сам играешь в ужасных фильмах!

И — точка.

Я, конечно, найду, что возразить. Но сейчас я не об этом. Я — о вседозволенности, которая сродни распущенности: нравственной, моральной, этической, просто гражданской.

Тут я в какой-то газетенке — «Русский вестник» или «Российский вестник» — прочел стихотворение о том, как должна пробудиться Россия, как она должна возродиться. Там есть такие строки (цитирую на память): «И пусть к ногам твоим приползут литовец, жид, чечен...»

Почему к ногам России обязаны приползти другие народы? Что, у литовцев, евреев, чеченцев нет своей национальной гордости? Я как русский человек начинаю дико протестовать!

Мне не нужно, чтобы инородцы валялись у меня в ногах только потому, что я русский! Какая же это гордость страны, какая же тогда это Россия?! Монстр!.. Это все равно как если бы я с топором стоял и заставлял кого-то целовать мне сапоги, приговаривая: «Не будешь — раскрою череп!»

И ведь тех, кто распространяет эту газетенку, не отдают под суд! В Америке вся редакция давно бы уже за решеткой сидела. Или ее задавили бы такими штрафами, что они не расплатились бы за всю свою жизнь — платили бы и литовцам, и евреям, и чеченцам. А у нас все безнаказанно! Черт его знает, бред какой-то!

Вот так своеобразно у нас понимают свободу слова. Как будто нет ни конституции, ни законов против расизма, ни гарантов, защищающих их.

Вообще со свободой следует обращаться очень осторожно — это чрезвычайно тонкий и хрупкий инструмент. Его нужно осторожно ощупывать пальчиками, а не бить по нему кувалдой.

Меня часто спрашивают, не испытываю ли я некую ностальгию по временам молодости, когда не было «рыночных» отношений между людьми и, как говорил чеховский свадебный генерал Ревунов-Караулов, «все было проще, и люди были проще». И я всегда отвечаю: нет, не испытываю никакой ностальгии, никакой тоски. Те времена были ложными, и все было построено на страхе.

Я никогда не был членом какой-либо партии. Но с той, которая представляла «ум, честь и совесть нашей эпохи», дело имел.

Снимаем мы фильм «Семнадцать мгновений весны». Нужно выезжать на съемки за рубеж. А для этого необходимо (почему «необходимо» — нормальному человеку не понять) пройти некую выездную комиссию. Захожу. Меня спрашивают:

— Опишите, пожалуйста, как выглядит советский флаг.

Я подумал, что они шутят: ведь нельзя же задавать такие идиотские вопросы!

— На черном фоне, — говорю, — белый череп с костями. Называется «Веселый Роджер».

Мне задают второй вопрос:

— Назовите столицы союзных республик.

Май 20
Гек



Смешная грустная ЖИЗНЬ

С сестрами Людой и Светой. Конец 1930-х годов

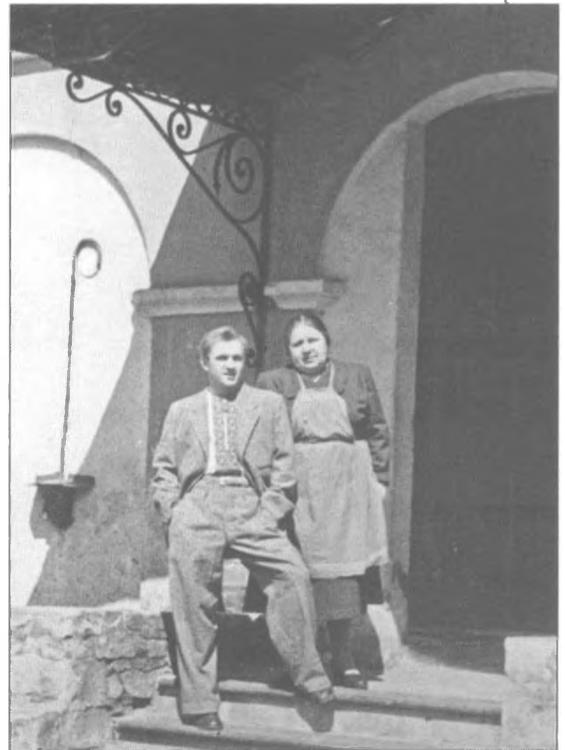


Лефортовская шпана. Совладельцы голубятни — Пасява, Седой (такая у меня была кличка) и Хумбарь. 1946



Студенты первого курса
Школы-студии МХАТ.
Да, здорово я смотрелся
на их фоне в своем
лефортовском прикиде.
1950

С мамой Валентиной
Игнатьевной на пороге
нашей коммуналки
(Екатерининские конюшни
Лефортовского дворца)



Моя первая
кинокартина —
«Доброе утро» (1955),
моя первая любовь —
Ирина Кириченко.
Скоро она станет
моей женой

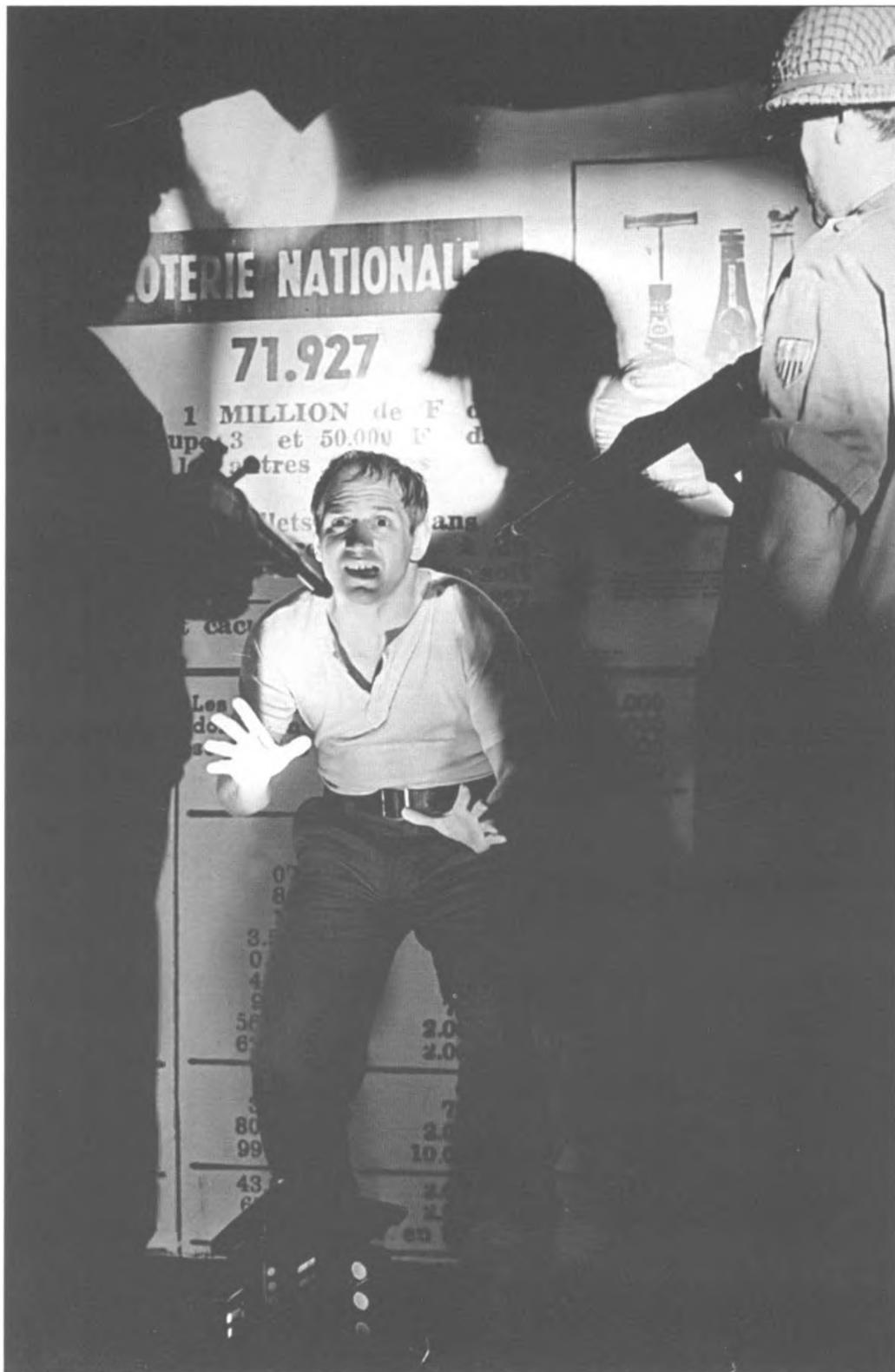
Смешная грустная ЖИЗНЬ

Центральный детский театр. Анатолий Васильевич Эфрос и участники спектакля «Друг мой, Колька!» — Л.Дуров, В.Калмыков, Т.Надеждина, А.Дмитриева, Л.Чернышова. Справа — автор пьесы А.Хмелик. 1959



В спектакле «Двадцать лет спустя» по пьесе М.Светлова я сыграл роль Сашки. 1956

Театр имени Ленинского комсомола. «Что тот солдат, что этот» по пьесе Б.Брехта в постановке М.Туманишвили. 1965. Случайная встреча с подвыпившими солдатами становится для бедняка Гели Гэя роковой



Смешная грустная ЖИЗНЬ



Одна из моих первых, запомнившихся зрителям, ролей в кино — бандит Малютка в криминальной драме «Високосный год» (1961). Режиссер А. Эфрос



С Александром Збруевым в фильме А.Смирнова и Б.Яшина «Пядь земли» (1964)

«Время, вперед!» (1965). Режиссеры М.Швейцер и С.Милькина. Герои этого фильма трудятся на строительстве Магнитки, не замечая своей нищеты, радуясь почти каторжному труду





В «Житии и воскресении Юрася Братчика» (1968) я сыграл роль бродяги, за доброту и сомнение в вере превращенного в Христа.

Режиссер В. Бычков



«Егор Булычев и другие» (1971) С. Соловьева. Понятно, что Егор Булычев — Михаил Ульянов, а я — другой. В Школе-студии МХАТ роль Трубача я играл лучше



Хорошую компанию — Александр Хочинский, Евгений Лебедев, Лев Дуров, Александр Калягин — собрал в своей эксцентрической комедии «Заячий заповедник» (1972) режиссер Н. Рашеев

Смешная грустная ЖИЗНЬ



В легендарном телефильме Т.Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» (1973) мне пришлось сыграть роль провокатора Клауса Штирлиц — Вячеслав Тихонов — уже вынес ему свой приговор. И скоро приведет его в исполнение



С Василием Шукшиным в его последнем фильме «Калина красная» (1973)



«На ясный огонь» (1975). Режиссер В.Кольцов. Татьяна Доронина была здесь отважной красной разведчицей Анной Касьяновой, а я — ее мужем, белогвардейским подпоручиком Комаровым

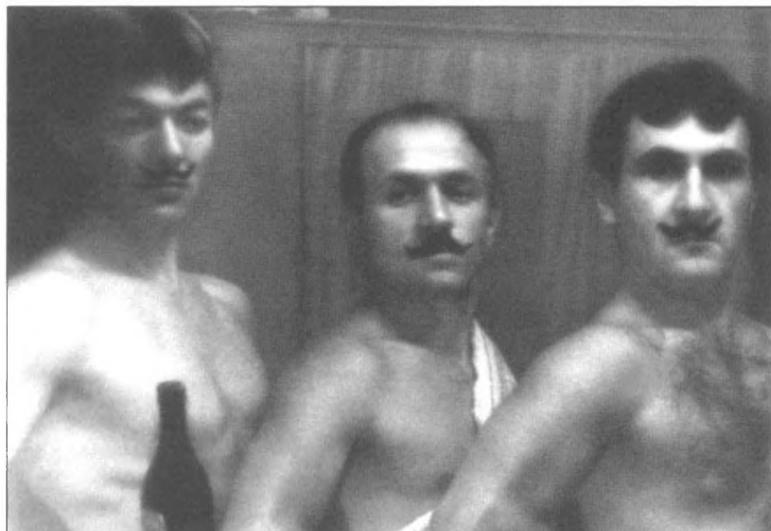


В фильме Г.Юнгвальда-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979) я сыграл капитана мушкетеров де Тревиля. Через минуту мы с Михаилом Боярским (Д'Артаньяном) будем петь: «Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс, и в ваших жилах тоже есть огонь...»

«Не бойся, я с тобой!» (1981).
Режиссер Ю.Гусман.
С этого урока Сан Саныча
и пошла у нас в стране
мода на карате

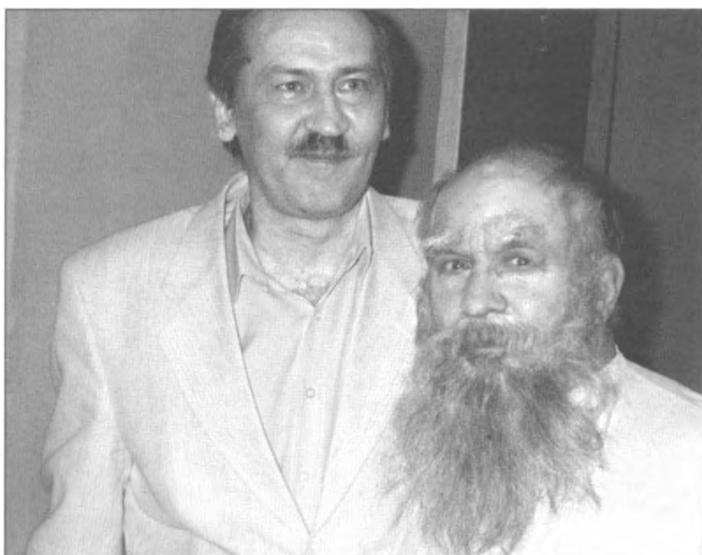


Смешная грустная ЖИЗНЬ



Три богатыря —
Илья Муромец,
Добрыня Никитич
и Алеша Попович.
Отгадайте —
где кто?

Леонид Филатов
и «зеркало русской
революции»



С Барбарой Брыльской.
Кажется, я ей говорю:
«Барбара, перестаньте
меня обольщать!»



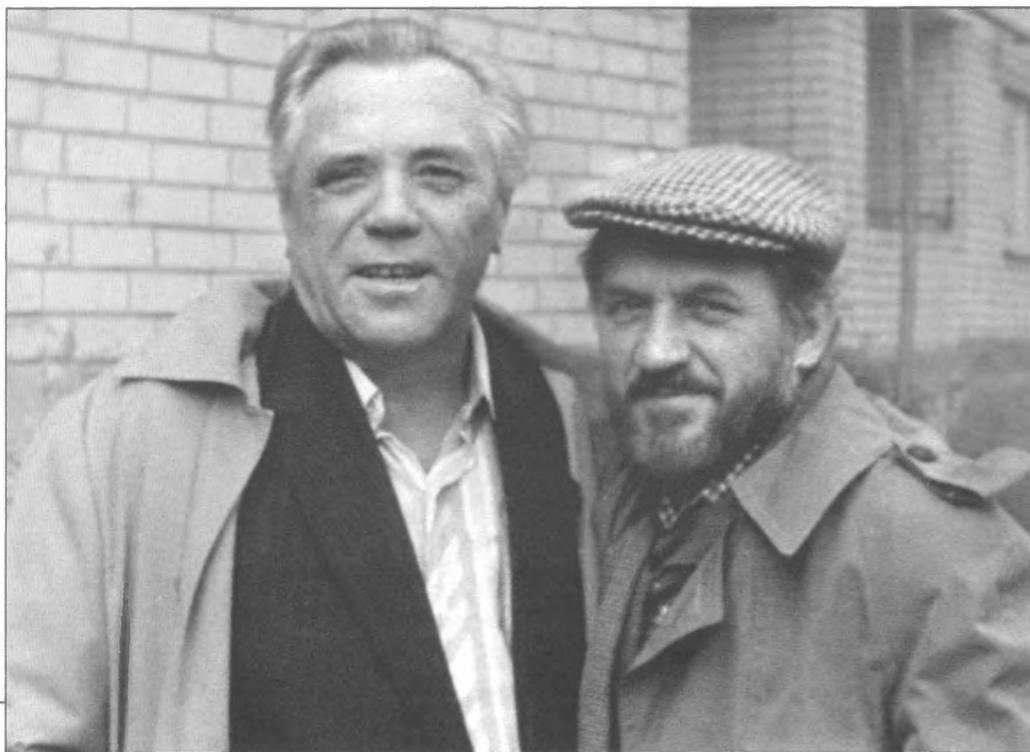


Мой друг Владимир Качан

С самым замечательным, самым добрым, самым мужественным человеком — Мухтарбеком Кантемировым



Виктор Петрович Астафьев говорил мне: «Лёвка! Никогда не пиши: графоманов и без тебя хватает. А вот треплешься — хорошо!»



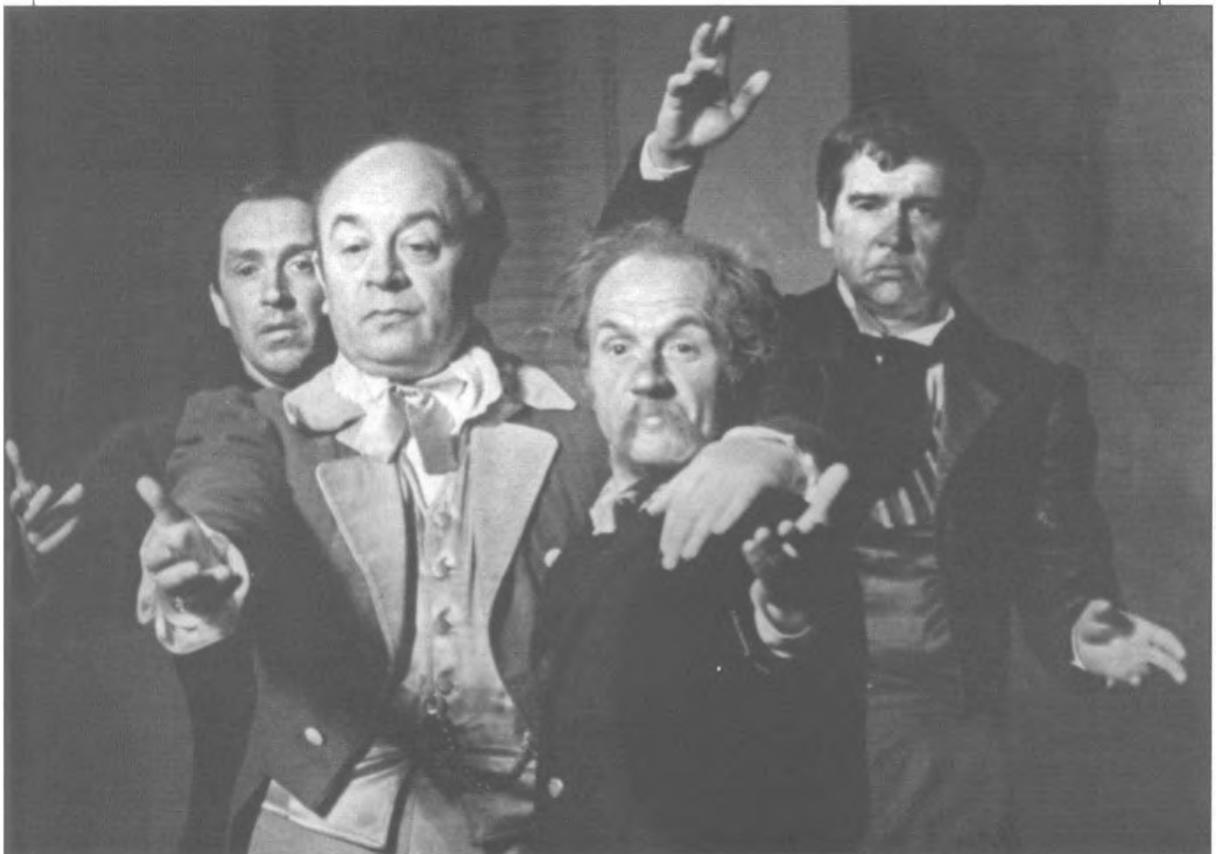
Смешная грустная ЖИЗНЬ

В родной театр! Почти бегом. На Малой Бронной



Тибальд в «Ромео и Джульетте» В.Шекспира. Смеесть? Ну-ну!..
Капулетти — Леонид Броневой, слуга Петр — Леонид Каневский

Иван Романович Чебутыкин, военный доктор,
в «Трех сестрах» А.П.Чехова. Ирина — Ольга Яковлева



«Женитьба» Н.В.Гоголя. После премьеры театральная критика писала:
«Все мы вышли из гоголевской... “Женитьбы”»

Смешная грустная ЖИЗНЬ

На репетиции — с И.Кириченко, Л.Богдановой, Н.Волковым, В.Лакиревым



Гений драматического искусства, великий режиссер — А.В.Эфрос



Я, как мог, помогал ему. И, может быть, чему-то научился

Смешная грустная ЖИЗНЬ



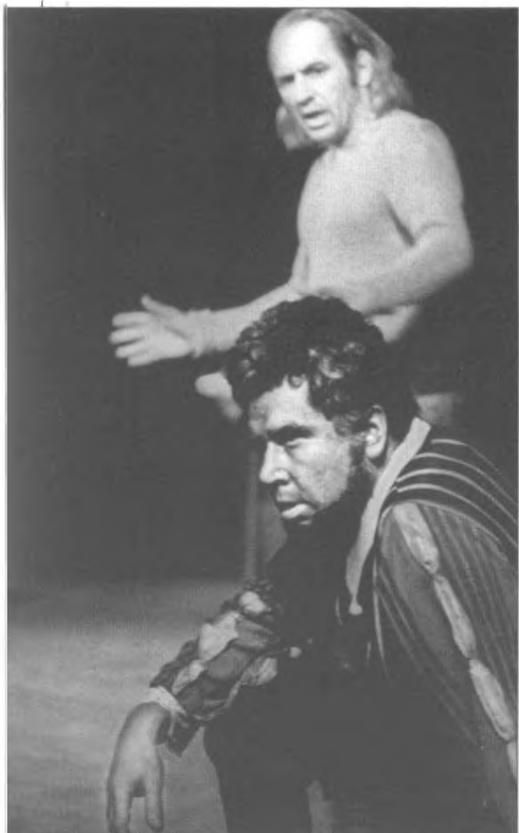
«Трибунал» А.Макаёнка — трагикомедия, почти лубок

Пьеса «Занавески» М.Ворфоломеева стала моим совершенно самостоятельным режиссерским дебютом



В «Снятом и назначенном» по пьесе Я.Волчека я выступил сопостановщиком Эфроса и сыграл главную роль

«Отелло» В.Шекспира.
Моего Яго критики назвали
«умнейшим из негодяев».
Отелло — Николай Волков



Сганарель в пьесе
Ж.Б.Мольера «Дон Жуан»



«Продолжение Дон Жуана» Э.Радзинского.
Лепорелло и Дон Жуан. Это одна из лучших ролей Андрея Миронова

Смешная грустная ЖИЗНЬ



С режиссером Ларисой Шепитько
на съемках фильма
«Прощание»
(1982)



В «Успехе» К.Худякова (1984)
я сыграл талантливого провинциального
актера Платонова, расплатившегося
инфарктом за свою душевную ранимость



С Олегом Табаковым и Валентином Гафтом — одноклассниками по Школе-студии МХАТ — во время съемок «Сироты казанской» (1997). Режиссер В.Машков



Фильм В.Чикова «Не послать ли нам... гонца?» (1998), где мы с Михаилом Евдокимовым сыграли главные роли, собрал немало призов



«Последний бой майора Пугачева» (2005) снят по потрясающим «Колымским рассказам» Варлама Шаламова. Я играю заключенного Ярослава Матвеевича. Режиссер В.Фатьянов

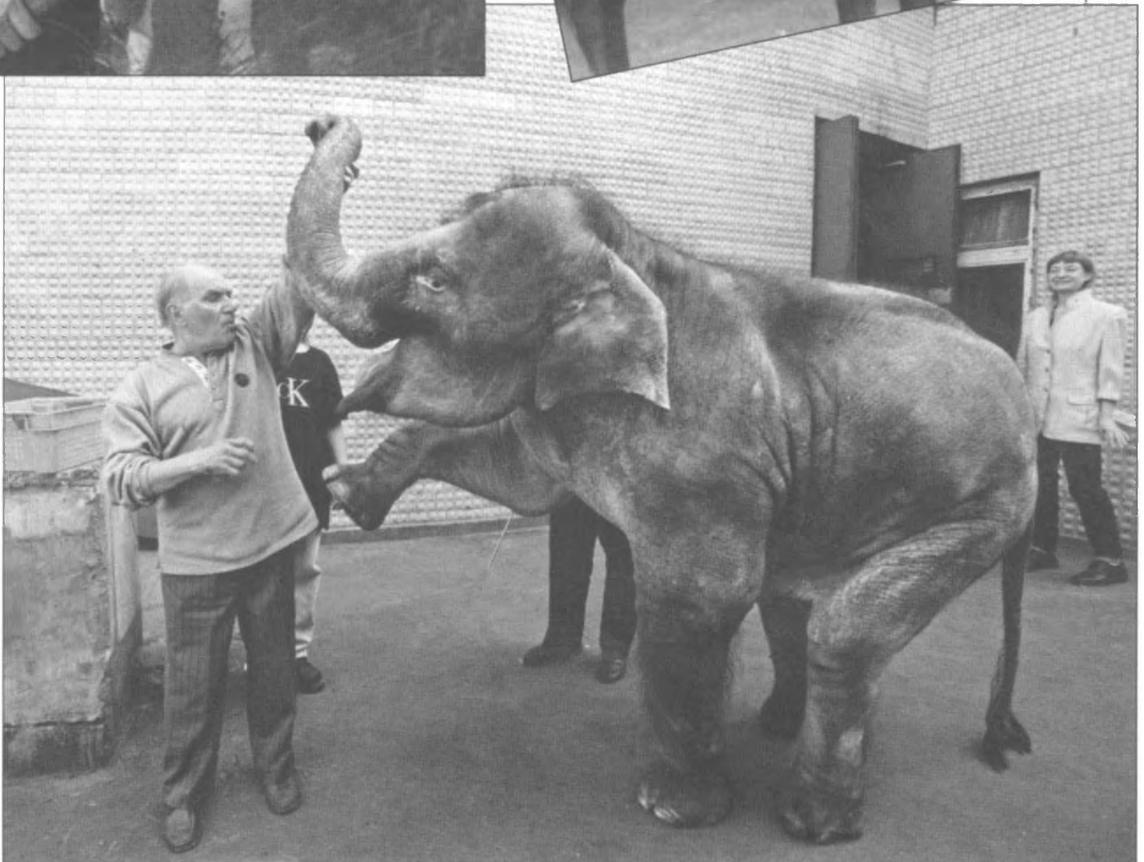
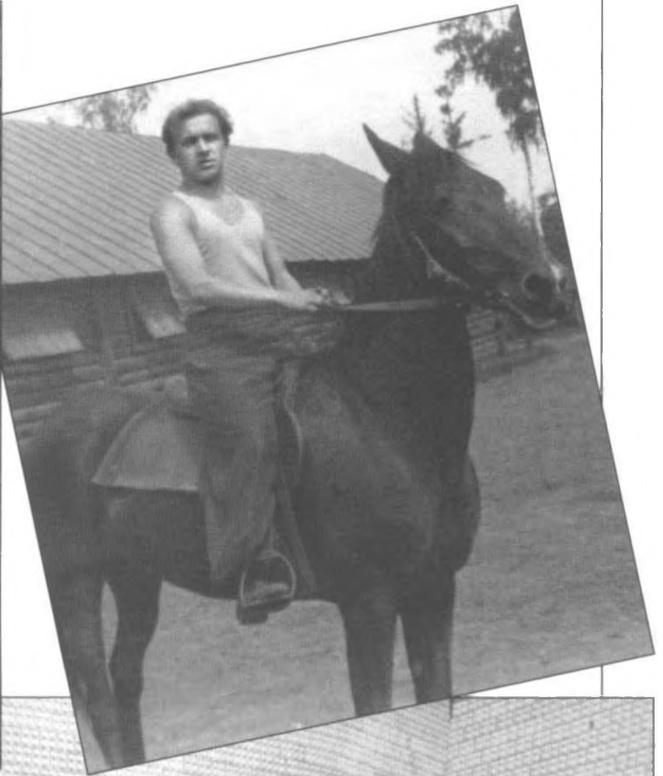
Смешная грустная ЖИЗНЬ

Легендарный клоун и дрессировщик Анатолий Анатольевич Дуров — я ему прихожусь внучатым племянником.
Снимок сделан в петербургском цирке Чинизелли до 1917 года



С внуком Ваней в гостях у Натальи Юрьевны Дуровой
в ее знаменитом театре зверей «Уголок дедушки Дурова»

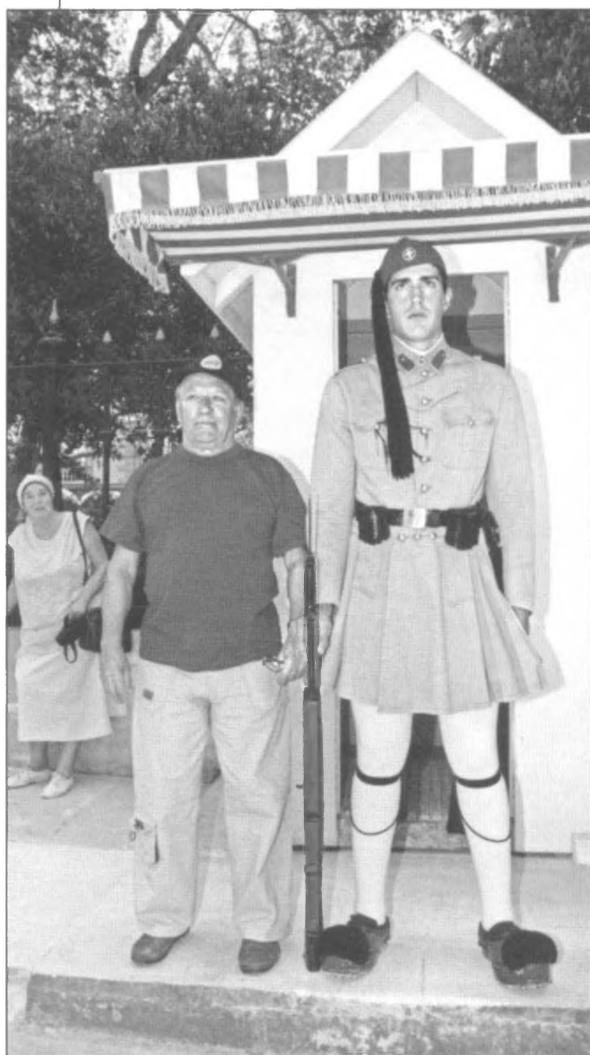
Видимо, цирковые гены
всю жизнь не дают мне покоя



Смешная грустная ЖИЗНЬ



«Лёва, Лёва... И все это мы с тобой должны были догнать и перегнать?..» —
И Армен Джигарханян «шелкнул» меня на балконе
ню-йоркской гостиницы



Рядом с греческим гвардейцем.
Кто выше?

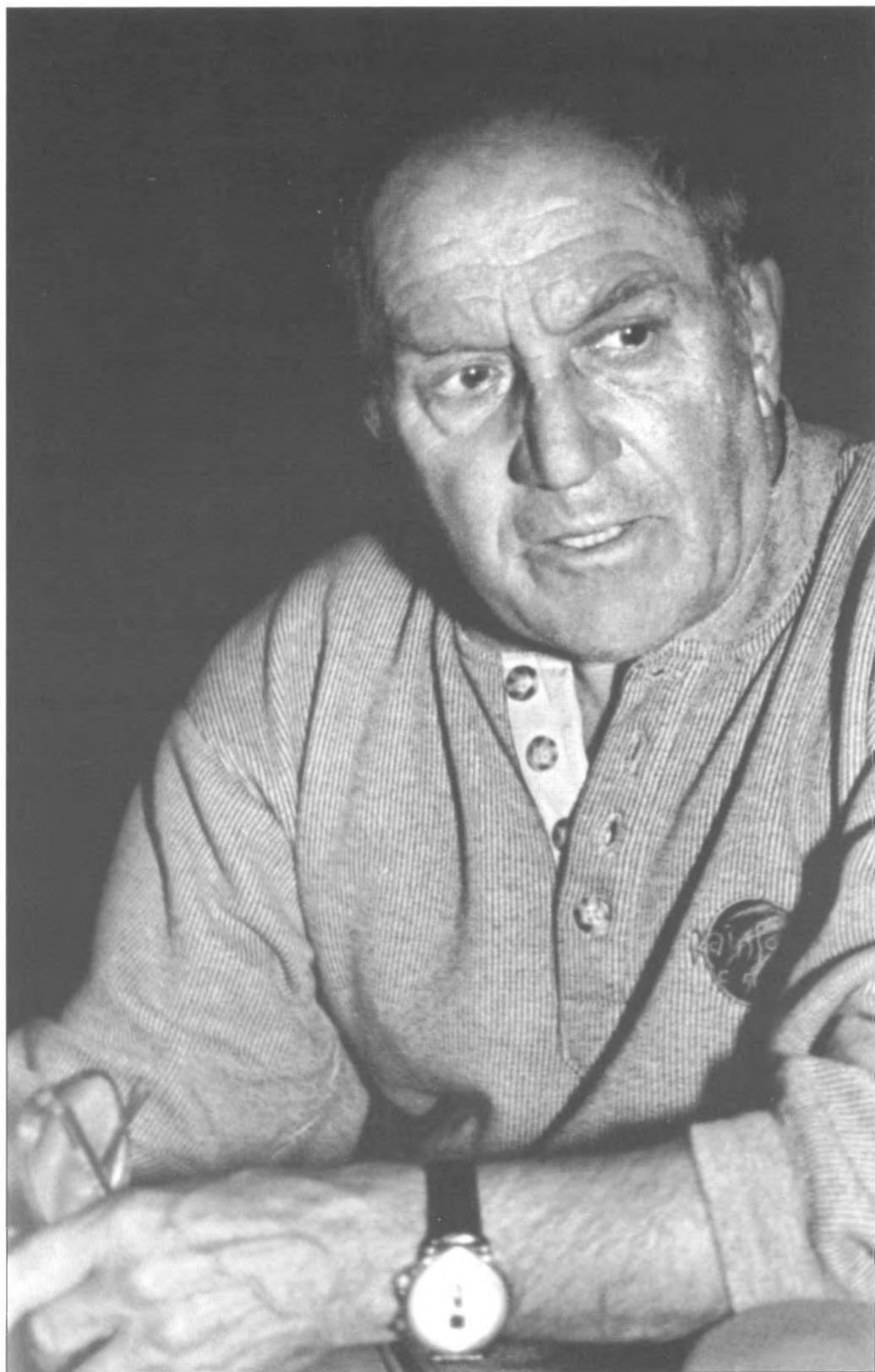


У Стены Плача в Иерусалиме
с Владимиром Этушем



Мое несвятое семейство.
Дочь Екатерина, зять Владимир Ершов, внуки — Екатерина и Иван
и мы с Ириной Николаевной в натуральном виде и на портретах

Смешная грустная ЖИЗНЬ



Это они меня спрашивают, актера, который с труппой объездил весь великий и могучий Союз.

— Пожалуйста, — говорю и начинаю перечислять: — Малаховка, Чертаново, Магнитогорск...

Как Швейк на медицинской комиссии, которая признала его идиотом. Видно, все-таки не зря меня когда-то звали Швейком.

— Спасибо, — говорят. — И последний вопрос: назовите членов Политбюро.

— А почему я их должен знать? — удивляюсь. — Это ваше начальство. А я ведь не член партии.

— Вы свободны, — сказали мне, и я пошел.

Только перешагнул порог киностудии, как на меня набросились:

— Что ты там нагородил?! Ты знаешь, что тебя запретили выпускать за рубеж? Уже позвонили — злые как собаки!

— Ребята, — говорю, — в чем дело? Пусть меня убьют под Москвой.

Так они и сделали: убили меня в Подмосковье. Штирлиц—Тихонов выстрелил в меня, и я упал в родной, не в фашистский, пруд.

А потом так и пошло. Когда участников фильма награждали, меня вычеркнули из списка. И еще чем-то обласкали всех, а я так в черном списке и остался.

А народного мне дали, видно, потому, что кто-то где-то что-то проморгал. Может, потом за эту промашку и по шее получил.

В то время нас заставляли к каким-то датам ставить спектакли, а под них разрешалось поставить одну классическую пьесу. Всем было известно, что будет ставить Эфрос. Он ментально, судорожно настраивался на определенную волну и искал одну-единственную пьесу, которую ему разрешат. А когда случилось: ставь что хочешь, то это оказалось много труднее. Да, свобода более тяжела. Она таит в себе определенные опасности. Личные, не какие-нибудь общественные; нет, хотя, возможно, и общественные. Она... Нет, она таит и общественные тоже, потому что многие понимают свободу как вольницу — и свою, и общественную.

Я по природе своей анархист. Никогда никому не поклонялся, не радовался никаким орденам и званиям. Это все нор-

мально, как полагается. Но чтоб я к этому стремился?! Нет, каждый скажет, что это не так. Для меня это никогда не было целью. Я считаю: личная свобода важнее всего. Поэтому, наверное, и не любил школу. Мне казалось, она подавляет и в чем-то унижает. Сейчас наоборот: учителя не знают, что делать, а ученики знают.

Я старался охраняться лично. Как я думаю, так и живу. Я определенным образом воспитан. Я никогда не преступал закон не потому, что такой законопослушный, — просто это было противно моей морали. И когда я слышу рассуждения в передачах о страшных убийствах, когда об этом так запросто рассказывают... это не может уложиться ни в моей голове, ни в моем сердце. Ну никак! Я не понимаю, я начинаю ругаться и думать, что человечество заходит куда-то слишком далеко. И не говорите, что это отдельный человек так поступает. Из кого же состоит человечество? И откуда такая агрессия, разрушительство? Зачем крушить телефонные будки, стеклянные остановки? Ты же в этом городе живешь! Зачем превращаешь его в свалку и помойку, на которой торжествует агрессия, а человеку страшно выйти на улицу? Что-то в людях живет и другое, помимо добра...

Что тут надо делать? И при чем здесь театр? Он на другое нацелен. Это вещь эмоциональная. Сюда люди приходят доплакать то, что они не доплакали в своей жизни. Почему люди плачут в театре с удовольствием или смеются не менее охотно? Да они в жизни не успевают это сделать! За тяжелой, замотанной этой жизнью не успевают выплеснуть свои эмоции: ни те ни другие. Хотя слезы, может быть, успевают. Но они не успевают посочувствовать, сопережить чьей-то судьбе. Просто времени нет. А в театре они имеют ту самую возможность сопережить — и еще получить от этого удовольствие. Меня никогда не касается ничья личная жизнь. Мне говорят: «Как, ты не знаешь, эта с этим, а он вон той муж?» Нет, не знаю. Меня это не волнует. Но когда *со сцены* идет пропаганда того, чего я не приемлю, то не принимаю это воинственно. Может, это и неправильно: вещи, которые для многих кажутся нормой, для меня аморальны. Я не понимаю: возможно, это некая российская консервативность, несмотря на ее кровавую историю. Консервативность, связанная со страданиями. С традициями семейных отношений, например. Сексуальная жизнь здесь

всегда была скрыта. Это считалось тайной. И до сих пор я полагаю, что на самом деле так: это тайна. И это не должно быть прилюдно. Мы не должны выворачиваться наизнанку.

Я не могу смотреть, даже из познавательных соображений, порнофильмы. Я сразу думаю: «О господи, мы высокие чувства превращаем в мясную лавку». Меня воспитали таким образом, что любовь считалась таинством. И рождение ребенка — таинством. Но если это вываливается наружу... Хотя, конечно, кому-то я кажусь посмешищем.

Думаю, и однополая любовь не должна пропагандироваться. Я никого не собираюсь осуждать или высмеивать, но почему меня заставляют смотреть то, что я считаю противным? Ведь если мы обратимся к самой глубинной нашей человеческой истории, то имеем: распятие Христа, под ним — череп. Чей череп? Адама. На который капают капли крови. Чьей крови? Иисуса. Значит, Иисус искупил своей кровью его грех. А если искупил, стало быть что? Благословил человечество. На что? На де-то-рож-де-ние! Адам с Евой по-плотски соединились. Значит, благословенным является рождение детишек. А однополая любовь — это отсутствие детей и вырождение рода человеческого. Это есть человеческий инфантилизм — ведь живут такие люди ради себя. И ни о детях, ни о внуках даже не думают. В постели удовлетворены, бюджет сколачивают — каждый свой.

А давайте все займемся однополой любовью! Так ведь никого ж на земле не будет. Земной шар превратится в пустыню: ау-у-у!..

Нет, в каждом отдельном случае меня это не волнует. Меня волнует, когда идет пропаганда «этого». А уж когда говорят, что это такое высокое-высокое и даже приближенное к Богу, то всё — ложь, ложь, ложь... Собственный инфантилизм, прикрывающийся некой идеей.

Однажды я побывал в Думе и сказал себе, что никогда больше не переступлю ее порог. Я видел, как ходят депутаты, слышал, как они разговаривают между собой. И было в этом что-то искусственное. Их язык смахивает, скорее всего, на какой-то жаргон — язык власти.

Между прочим, в советские времена я тоже был депутатом, но всего-навсего районного совета. Это совсем другое. Меня тогда уговорили помогать населению. И я ему помог. На углу

Тверской и Большой Бронной переселяли из дома жителей. И вот в доме осталась одна женщина с двумя детьми, мальчиком и девочкой. Ей предложили однокомнатную квартиру, а она соглашалась только на трехкомнатную. И она пришла ко мне за помощью. Я изучил все правовые положения и убедился, что трехкомнатная ей не полагается.

— Единственное, что вы можете сделать, — сказал я ей, — это не выходить из дома. А если вас будет милиция вынимать, откройте окна и кричите: «Помогите!» Сойдутся люди, и тогда посмотрим, как вас выселят.

Она так и сделала. Открыла окно и стала кричать:

— Люди! Люди! Дуров мне сказал, чтобы я просила у вас помощи!

— Какой Дуров? — спрашивает толпа снизу.

— Вы артиста Дурова знаете?

— Знаем!

— Вот он и сказал!

А меня вызывают в райсовет и говорят:

— Что вы делаете? Вы спятели? Разве так можно?

А я спрашиваю:

— Скажите, что ей дали?

— Трехкомнатную квартиру ей дали!

— Значит, я помог?!

— Помог, — говорят, — но вон отсюда!

Отобрали у меня мандат, и я перестал быть депутатом.

Вообще я не понимаю людей, которые рвутся к власти. Наверное, для этого нужно иметь в душе какой-то синдром. Когда я работал над ролью Микояна в фильме «Серые волки», мы снимали сцены на его даче в Пицунде. Не представляю, как на этой даче можно жить! Это огромное казенное заведение гостиничного типа с эдаким джентльменским набором: чешские хрустальные люстры, какая-то инкрустированная индийская мебель... Так вот, пошел я там в уборную. Вдруг слышу сзади:

— Объект номер один пошел в туалет.

Я думаю: «Подожди, в туалет иду я». Тут вижу внизу человека и спрашиваю:

— Простите, это вы про меня?

— Ну да, — говорит. — Вы же сейчас играете Микояна, поэтому вы для меня объект номер один.

Так вот они и жили. И рваться к этому?

А что касается искусства и политики, то они, по моему убеждению, не должны соприкасаться. Более того, искусство вообще должно быть в постоянной оппозиции. В советские времена такая оппозиция была чревата очень даже предсказуемыми последствиями. Сейчас мы живем тоже в тревожное время. Но ведь не под угрозой физической расправы!

Тогда культурой командовали в полном смысле слова идиоты. Я с полной ответственностью это говорю, потому что могу это документально доказать, показав замечания, которые делались по спектаклям. От одних замечаний можно было сойти с ума.

Вот, например, мы семь раз сдавали «Ромео и Джульетту». В свое время это был очень красивый спектакль. Яковлева играла Джульетту, Грачев — Ромео, Ширвиндт — Герцога, Смирнитский — Меркуцио, я — Тибальда. Нас обвиняли в жестокости. Хотя как нас можно было в этом обвинять, если мы следовали тексту Шекспира! Нельзя не отравить Ромео и Джульетту, нельзя не убить Меркуцио и Тибальда. Нас упрекали в том, что мы искажаем Шекспира, хотя достаточно было открыть книгу, чтобы убедиться в обратном. Не открывали! И я сейчас подозреваю, что представители культурных органов просто не умели читать.

Не забуду такой случай. Стоит Эфрос, к нему подходит чиновник «от культуры» и говорит:

— Анатолий Васильевич, надо у Броневого—Капулетти обязательно выбросить фразу: «И будете свидетелем веселья, подобного разливу вод в апреле».

Эфрос ничего не понимает, спрашивает в недоумении:

— Зачем?

— Ну перестаньте, Анатолий Васильевич! — теперь уже чиновник искренне не понимает режиссера. — Апрель, Разлив, грядут ленинские дни...

Я на всякий случай встал за спиной Эфроса, думаю: если он сейчас грохнется — поддержу. Слава богу, не грохнулся.

В итоге Броневого в спектакле сказал: «И будете свидетелем веселья, подобного разливу вод весенних». То есть доходило до абсурда. Как можно было жить, работать, если ты имел дело с таким руководством?

Сейчас, правда, другая опасность. Стоят передо мной на полках книги драматургов всех времен и народов, а я не знаю, что ставить. Хожу, смотрю и ни во что не могу влюбиться. Сво-

бода ведь требует некоей мобилизации и очень жесткой дисциплины. Мы, к сожалению, культурой свободы и демократии еще не научились владеть.

Расскажу еще об одном случае «руководства» театром. Это было в ту пору, когда Эфрос перешел в Театр имени Ленинского комсомола и взял с собой нескольких актеров, в том числе и меня. Тогда же директором Ленкома назначили некоего чиновника Меренгофа. Я вспомнил о нем, когда много позже играл роль провокатора Клауса в «Семнадцати мгновениях весны». Этот чинуша исполнял в театре ту же роль — провокатора, подсадной утки.

Он, например, спрашивал:

— Скажите, Эфрос, почему вы не ставите «Молодую гвардию»?

— Потому что это плохая литература! — отвечал Анатолий Васильевич. — Ее нельзя играть.

Меренгоф тут же бежал к себе в кабинет и звонил в управление культуры:

— Как можно доверить режиссуру такому человеку, как Эфрос? Ведь это же законченный антисоветчик!

В следующий раз он спрашивал:

— Скажите, Эфрос, а почему вы не ставите «Как закалялась сталь»?

— Но это невозможно! — взрывался Анатолий Васильевич. — Мы уже ставили это в Детском театре!

Директор-провокатор снова бежал звонить:

— Вы знаете, этот Эфрос ненавидит всю советскую литературу! Надо принимать меры!

И меры быстро приняли: «Освободить за неправильное формирование репертуара». Как будто провокаторы больше разбираются в репертуаре, чем профессиональные театральные деятели.

Тогда мы, ученики Эфроса и его воспитанники, написали коллективное письмо в защиту режиссера и стали ездить по Москве — собирать подписи известных в стране людей. Я был у Завадского, Любимова, академика Флёрова, Улановой. Никто не отказал в поддержке.

И вот приехали к великому физику, академику Петру Леонидовичу Капице. Самого его в этот момент дома не было. Но его жена, Анна Алексеевна, прочитала письмо, увидела подписи под ним и сняла телефонную трубку:

— Приезжай, Петя... Петя, надо... Петя, надо...

И Петр Леонидович не заставил себя ждать. Мы, актеры, были очарованы этим великим человеком. Что нас больше всего поразило? Полное отсутствие пресловутого академизма. Этот непосредственный, любознательный, веселый человек поначалу никак не укладывался в мое книжное представление о всемирно известном ученом. Я даже не могу сказать, что он разговаривал с нами на равных. Скорее, как студент с профессорами, поскольку разговор шел не о его деле, а о нашем — о театре. И он не стеснялся перед нами своей некомпетентности в этом вопросе, с интересом расспрашивал, удивлялся, смеялся, ероша свои непокорные волосы. А потом, вспомнив молодость, азартно и весело рассказывал о смешных и курьезных случаях из своей жизни.

Я думаю сейчас: он был по-настоящему счастливым человеком. И не только потому, что смог многое сделать в науке, добился всемирного признания. А потому, что сумел не растерять все хорошее, естественное, данное ему от природы.

Надо было видеть его восторг, когда взгляд его упал на подпись Завадского.

— Воюет Юрка! — воскликнул он с детской непосредственностью. — И Галка туда же! — Это про Уланову. — Тогда придется и мне подписать.

Для него все были Пети, Вани, Галки...

Увы, наши старания не увенчались успехом. Нас, сборщиков подписей, вызвал к себе большой тогда партийный деятель Н.Т.Сизов. Попросил объяснить. У него была манера ко всем обращаться на «ты».

— Ребята, — сказал он, выслушав нас, — все слишком далеко зашло. Вот ты едешь по занятым людям. У Капицы полтора часа отнял, а он за это время что-нибудь бы изобрел. Перестань быть наивным.

— А отчего это у нас, — интересуюсь, — полный зал кагэбэшников? И машины кагэбэшные. Я слышал, как в одной машине слушали зрительный зал.

— Ну, — говорит, — до нас дошли сведения, что вы собираетесь выйти на демонстрацию.

— Николай Трофимыч, — пытаюсь возразить, — ну о чем вы! Мы же знаем, с кем имеем дело. У вас танки и ракеты, а у нас только пипетки.

— Кончайте, ребята, — заключил беседу Сизов. — Я на вашей стороне, но уже бессилён что-либо сделать.

Это была страшная, несправедливая акция. Кому она была нужна, до сих пор понять невозможно. А впрочем, истинный талант всегда раздражает власть имущих. Эфросу предложили перейти в Театр на Малой Бронной и взять с собой десять артистов. Я, конечно же, ушел вместе с ним. Ему сказали: «Поставите хороший спектакль — и будете главным режиссером».

Эфрос поставил прекрасный спектакль, спектакль-легенду «Три сестры». Его великолепно оформили замечательные художники Алла Чернова и Виктор Дургин. Мы сыграли с триумфом тридцать три спектакля, и нам устроили экзекуцию.

На спектакль пришла Фурцева в сопровождении Аллы Тарасовой и семи мхатовских актеров. В зал не пустили ни Ефремова, ни Любимова, ни Симонова! И — ни одного нашего артиста, не участвовавшего в спектакле!

После спектакля наши актрисы подошли к Фурцевой и попытались выяснить, почему не были приглашены Ефремов, Любимов, Симонов. Министр культуры не выдержала и стала в ответ кричать:

— Что у вас за воспитание?! Что вы себе позволяете?! — И убежала.

Буквально убежала. Думаю, испугалась за собственное воспитание, которое могло вырваться наружу.

Оказывается, мхатовцы узнали, что в кассах продаются билеты на наш спектакль с «нагрузкой». А «нагрузка» — билеты на «Три сестры» во МХАТ.

Чуть позже Ангелина Степанова выступила на какой-то партийной сходке и разгромила наш спектакль, на котором даже не была. Позже эта манера критики получила широкое распространение. Помните? «Я эту книгу Солженицына не читал, но поддерживаю товарищей, которые ее заклеили!»

Вот я и спрашиваю: что мне теперь — убиваться по тем временам, когда в светлое лезли со свиным рылом? Что мне теперь — страдать, что тогда не было «рыночных» отношений?

Да артисты никогда не жили богато! Со времени учреждения русского Драматического театра в 1756 году, когда его директором был назначен поэт и драматург Александр Сумароков. Уже через короткое время Александр Петрович жаловался своему покровителю Ивану Шувалову:

«...а всего прибýtка нет пятисот рублей, не считая, что от начала театра на платье больше двух тысяч истрачено. Словом

сказать, милостивый государь, мне собирать деньги вместо дирекции над актерами и сочинения и неприбыльно и непристойно; толь и паче, что я и актеры обретаемся в службе и в жалованьи ее величества, да и с чином моим, милостивый государь, быть сборщиком не гораздо сходно... сборы толь противны мне и несродственны, что я сам себя стыжусь: я не антрепренер — дворянин и офицер, и стихотворец сверх того.

И я, и все комедианты, припадая к стопам ее величества, всенижайше просим, чтобы русские комедии играть безденежно и умножить им жалованье. А сбора, чтобы содержать театр, быть не может, и все это унижение от имени вольного театра не только не приносит прибыли, но ниже пятой доли издержанных денег не возвращает, а очень часто и день не окупается; а мне — всегдашние хлопоты и потеряние времени... Одно римское платье, а особливо женское, меня довольно мучило и мучит; то еще хорошо, что от великой княгини пожаловано».

Великая княгиня — это будущая императрица Екатерина II. Вот откуда идет традиция меценатства!

Изменилось что через сто лет? Если проследить актерскую судьбу по пьесам Островского, то вы не найдете ни одного богатого артиста. Правда, время было более спокойное, чем сейчас, и зарплату вовремя выдавали. Но, к сожалению, я не могу повысить зарплату всем артистам, не могу доказать, что мы необходимы стране. Если артисты сейчас забастуют, думаю, это очень устроит наше правительство. Оно скажет: «Вот и слава богу! Давайте их всех разгоним».

Мне кажется, мы чаще раздражаем, а не восхищаем наших руководителей. А, собственно, когда и в какой стране театр не раздражал императоров, королей, герцогов, губернаторов? Не копайтесь в своей памяти — не найдете в ней ни одного беспристрастного благодетеля ни среди императоров, ни среди герцогов, ни среди генсеков.

А вот традиция меценатства у нас, кажется, начинает возрождаться. Когда я ставил в театре «Лес», мне здорово помогла одна фирма. На ее деньги я сшил костюмы для спектакля.

Бизнесмены сегодня очень сильно могут помочь театру, кинематографу, тем областям искусства, которые переживают тяжелые времена. И, насколько мне известно, многие уже помогают.

Но что греха таить, среди благодетелей-спонсоров встречаются и такие, которые напоминают мне деда-бизнесмена из анекдота. Может быть, не слышали? С удовольствием расскажу, тем более что он как раз тут к месту.

В один сибирский город приезжает ночью человек. Заснеженная станция, никого нет, и стоят только запорошенные снегом сани с извозчиком. Человек подходит и спрашивает:

— Дед, как мне добраться до Алексеевки?

Тот в ответ:

— Я как раз в нее и собираюсь. Клади чемоданы, садись.

— А сколько ты хочешь, чтобы я тебе заплатил? — спрашивает человек.

— Пятьсот рублей.

Поехали они, и через некоторое время дед говорит:

— Слушай, дорогой, сейчас будет крутая гора, а у меня кобылка старая, ты сойди и пойди рядом.

Тот сошел. Идут дальше, вдруг дед снова говорит:

— Сейчас еще круче будет, ты чемоданы свои сними с саней и понеси пока сам.

Так они и пришли в Алексеевку. Человек расплачивается и говорит:

— Дед, тебе нужно было заработать пятьсот рублей, мне надо было в Алексеевку. Скажи, а зачем мы лошадь-то с собой взяли?

Вот такой анекдот. Мораль ищите сами.

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Несколько лет назад газеты любили задавать такие наивно-игривые вопросы: «Что бы вы сделали, если бы были директором банка?», «...если бы были директором завода?», «...если бы были министром культуры?» и т.д. и т.п. Эта бессмысленная игра завершилась так же бездарно, как и блаженной памяти дискуссия о физиках и лириках. У нас вообще любят больше говорить, чем делать.

Видимо, вспомнив об этой игре, один журналист спросил меня:

- Если бы вас избрали Президентом России: ваш первый указ?
- Отречение! — не задумываясь, ответил я.

Журналист, судя по выражению его лица, не ожидал от меня такого ответа. И я ему вынужден был чуть ли не на пальцах объяснить, почему поступил бы именно так.

В самом деле, я вообще не представляю себе, как люди берутся с непозволительным самомнением руководить государством, совершенно ничего не смысля в этом.

Например, в США огромный налаженный государственный механизм, отработанная система власти — и кандидат на президентский пост знает, что его ждет.

Горбачев и Ельцин не знали. И до сих пор никто не знает. Потому что десятки лет мы нарушали нормальные человеческие и экономические взаимоотношения. Так называемый социализм, хотя бы и развитой, не привел ни к чему, кроме полного обнищания. И не надо кивать на Горбачева и Ельцина. Никогда мы не жили хорошо, просто вычерпывали из огромного котла. Но всему есть предел. Неужели люди не помнят, как им жилось? Неужели не помнят вечные очереди, чудовищные коммуналки, папины-мамины зарплаты и сведение концов с концами? Неужели не помнят, когда появились первые апельсины в Москве? Не помнят вообще ничего?!

И кивать только на войну нельзя. Война была мировая, и в ней участвовали почти все государства. Наши жертвы в войне были огромны. Но давайте посмотрим на экономику страны-победительницы и поверженной страны...

Я абсолютно безграмотен в экономике. Но разве можно отпускать цены, когда не насыщен рынок! Это явно торжество спекулятивного мира: кто был ничем, тот станет всем. Начинается диктатура, только уже не пролетариата, а неизвестно кого. Люмпенов? Малограмотные барышники, проходимцы скупают и перепродают, делают деньги из воздуха, ничего не производя, и становятся миллионерами, хозяевами жизни.

У меня, например, в голове не укладывается: как я могу у вас купить, скажем, за тысячу рублей магнитофон и тут же продать за полторы? Сгораю от стыда даже при мысли об этом! Но ведь этим, с позволения сказать, «бизнесом» вынудили заниматься миллионы учителей, инженеров, врачей, людей культуры и искусства!

Так что на президентство я не пойду. Я артист и должен заниматься своим делом. Политик же должен обладать особым талантом, в некотором роде диктаторским, а это мне совершенно не свойственно. Я могу ругаться с артистами, орать на репетициях, иногда теряю самообладание. Но это вовсе не от желания кого-то подавить, а просто от бессилия, когда хочется сделать лучше, а не получается...

А вот один из «наших» все же пробился — Рейган! Пошел на президентство, и у него вроде что-то получалось.

Я люблю такое определение: каждый — дирижер своей судьбы. Конечно, бывают моменты блестящих удач, крупного везения, но я не отношу это к ниспосланию свыше. Человек все же строит свою судьбу сам.

Я крещеный и люблю ходить в церковь. Песнопения, церковная атмосфера, лики, окружающие тебя, — все это очищает, отвлекает от дурных мыслей.

Много лет назад я был на религиозном празднике в Западной Белоруссии. В костеле священник читал проповедь. Потом начался крестный ход. Продавали пряники, конфеты, и было так красиво, так замечательно. А напротив костела стоял Дом культуры. И по вечерам — тогда еще не было дискотек — там устраивали танцы. С милицией, собаками, поножовщиной...

Вот и всё. Мы перечеркнули церковь, которая, в каком бы мракобесии ее ни обвиняли, призывала нас к добру, отвращала от дурных поступков, все время напоминая о высшем суде, когда каждому человеку воздастся по делам его.

Всё смели одним порывом — и наступила пора безверия и, стало быть, безнравственности, когда все дозволено. «Грабь награбленное», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — этими лозунгами мы фактически узаконили разбой и нравственный беспредел. И безнаказанно уничтожали миллионы людей, породив в душах страшный цинизм.

Когда я готовился к постановке спектакля «Обвинительное заключение» по повести Н.Думбадзе «Белые флаги», то посетил одну зону, где пообщался с убийцами. Как режиссер и актер я пытался вникнуть в психологию убийцы, понять мотивы его действия. Начитался Достоевского. А один мне и говорит:

— Ну чё ты, Константиныч? Разве я хотел убивать? Да ни хрена! Помахали кулаками, и я попал... Видишь, какой у меня кулак? Ребра ему вроде сломал, ребра уперлись в сердце — он и готов! И вообще, что ты ко мне пристал? Ворошилов сколько смертных приговоров подписал? Миллионы! А его, суку, повезли на лафете. Так что отстань.

Я понимал, что это он мне лапшу на уши вешает, но возразить ему ничего не мог: его ссылка на Ворошилова была убийственна. И опять вспомнил Достоевского: им можно, а мне нельзя?

Вот я работал над ролью Левия Матвея у режиссера Юрия Кары в «Мастере и Маргарите» по Булгакову. Всю историю Понтия Пилата и Иешуа отсняли в Израиле.

Я уже говорил, что вернулся из Америки в прекрасном настроении — она мне очень понравилась. А вот из Израиля приехал грустный-грустный. Хотя там тоже солнце, много фруктов, Средиземное море...

У меня осталось такое ощущение, что девяносто процентов живут на земле обетованной как бы в командировке, в чемоданной тревоге. Но ведь они уехали навсегда! Правда, никто особенно и не хвастался, что счастлив.

Горничной в гостинице, где я остановился, был еще достаточно молодой мужчина — бывший главный энергетик одного крупного комбината в СССР. Он сказал:

— Кому я нужен, какие тут комбинаты! Слава богу, хоть какая-то работа есть!

Он не стеснялся своей нынешней работы — он страдал от того, что не может воспользоваться своей серьезной и мощной специальностью.

Сейчас меня трудно чем-либо удивить, а тем более поразить. И не потому, что я стал равнодушным или очерствел. Нет! Просто с годами делаешься мудрее и относишься ко всему философски.

Был я у Гроба Господня. Попал в поток туристов в шортах, на каждом шагу продают святую водичку, хватают за руки, что-то предлагают. И эта суета сует отвлекает от возвышенного, не дает воспарить духом. Остается только погладить исторические камни и бежать подальше, чтобы сохранить в себе ощущение чего-то величественного.

Но вот что меня поразило! Я бродил по пустыне, где Моисей водил иудеев сорок лет. Это было потрясающее зрелище! Ни деревца, ни травинки — одни холмы розово-коричнево-желтого цвета. Эта пустыня затягивает, завораживает своей бесконечностью и таинственностью. Словно ты погружаешься в какую-то бездну. Хочется уйти за холм, а когда ты уходишь за него, то видишь, что за ним — такой же, лишь другой формы. Но тебя уже притягивает неизведанное и хочется посмотреть — а что же все-таки дальше? И эта бесконечность поражает.

Я шел, шел, а потом подумал: нет, надо возвращаться, потому что просто не найду обратного пути — однообразные холмы и никаких ориентиров. Сплошная желтизна! И ничего больше. Это завораживает какой-то дикой первозданностью — невольно приходит мысль: вот так начиналась жизнь. И другая ассоциация — с Арктикой, где только лед и вода.

И еще. В Стену Плача в Иерусалиме, в трещины между камнями, все вставляют записочки — все чего-то просят у Бога. Я не стал этого делать. Зачем? У Всевышнего и так забот хватает, зачем его перегружать? Что нам подарит будущее — то и подарит. Горе? Переживем, не впервой. Радость? Слава богу. Хуже всего, если все останется в неопределенном, тревожном состоянии.

Я раньше никогда не был, как я называю, озирающимся. А сейчас... Такая тревога за все, такая внутренняя напряженность, что невольно становишься озирающимся. А люди должны жить не озираясь.

Телячьей восторженностью я тоже никогда не страдал. Праздники в нашей жизни мгновенны, эпизодичны, а вся жизнь — борьба, страдания, потеря близких, постоянные сомнения в себе, в своем деле, в своих способностях, болезненные размышления о смысле жизни... Как можно быть беспечно-счастливым?!

Однажды, еще в пору моей молодости, меня встретил на улице один пожилой писатель и спрашивает:

— Лёвочка, как дела?

Я говорю:

— Нормально.

А он как затопал ногами, как закричал:

— Как вам не стыдно! Вы в жизни вытащили такой счастливый билет! Работаете в театре, играете такие роли! Вы должны были сказать мне: «Я счастлив!» А вы? Вам не стыдно? — И убежал в праведном гневе прочь.

Я тогда растерялся. Но тем не менее жизнерадостнее и счастливее после этого не стал. Каким был, таким и остался: в меру веселым, в меру задумчивым. Видно, на роду мне написано быть Трагическим клоуном.

Счастье — это как букет цветов, как рождение ребенка, как влюбленность. Это все редкие фрагменты. Я видел одного счастливого человека. На пляже в Болгарии бегал немец, и он радовался всему. Он пил пиво и хохотал, бежал в море и хохотал, хватал ракушку и хохотал. Все его стеснялись и прятались от него. Так что страшнее этого счастливого человека я ничего не видел.

А вот что это — смешно или так грустно, что плакать хочется? Ехал я в Израиле мимо банановых плантаций. Ну ехал и ехал. И вдруг почувствовал некое смятение. Что-то я должен сделать... И поймал себя на мысли, что мне неудержимо хочется залезть на эту плантацию и украсть банан! Этих дешевых бананов всюду горы, но мне именно захотелось украсть! Зачем?! Не знаю.

Приезжаю в Москву, узнаю: у моего друга Ярослава Голованова украли «Жигули», у Булата Окуджавы обворовали дачу. Ужасно, но понятно. Воруют не только в России. Но вот недавно отремонтировали дом, в котором я живу. Чистый, светлый подъезд — и на стене кто-то отпечатал грязные следы сапог. Зачем? Я этого не понимаю!..

И что страшно, этих «шалунов» иные считают обычными проказниками: переживают детский возраст. А если кто-то ведет себя иначе, могут причислить и к «чудикам». Я за свою жизнь сыграл немало ролей этих самых «чудиков», или, с точки зрения обычных людей, странных типов. Но суть не в том, как этих «героев» называть... А впрочем, почему?

Давайте-ка для примера поставим два разных ударения на коротеньком слове «чудно». На первый слог — значит «прекрасно», «замечательно». На второй — «удивительно». Правда, хорошо получается?

Лично я, исходя именно из соединения этих двух смыслов, определяю своих любимых персонажей. Мы сегодня лихо наловчились подразделять людей на всякие категории. И уж если наклеили ярлык, то человек, по нашему разумению, обязан ходить с ним всю жизнь. Но если вдруг он поведет себя иначе, если сорвет со лба этот ярлык — значит, чудик, тип со странностями, так сказать, не от мира сего. А ведь это, в сущности, прекрасно, когда человек не укладывается в общий шаблон. Это говорит о богатстве его природы, о самобытности, уникальности.

Порой люди, особенно «достигнув степеней известных», в расхожий шаблон по собственной воле лезут, боясь прослыть чудаками и тем самым пошатнуть завоеванный авторитет. Живет, к примеру, рядом человек — веселый, дружелюбный, открытый, контактный, как теперь любят выражаться. Но вдруг получает чин — и не узнать человека!

Ступает важно, смотрит на всех свысока, в каждом жесте значительность. При этом он, бедняга, искренне считает, что это должность его к тому обязывает, положение требует, что именно так, и только так, должен вести себя руководитель. Нет, должность дает возможность человеку полнее раскрыть свои профессиональные, душевные таланты. Амбициозный мундир лишь сковывает их.

В наш рациональный век некоторые склонны причислять к странностям такие качества души человеческой, как бескорыстие, готовность помочь незнакомым людям, самозабвенная увлеченность делом. Порой странностью объявляют то, что должно было бы быть нормой поведения для всех.

Я уже упоминал о своей встрече с лауреатом Нобелевской премии Петром Леонидовичем Капицей, который поразил меня своей непосредственностью и искренностью. А вот еще

пример. Наш великий пианист Святослав Теофилович Рихтер, встречая на улице знакомых и здороваясь с ними, непременно снимал головной убор. Как-то он остановил меня и поинтересовался делами театра. А погода стояла промозглая, шел снег, и было мерзко. Но в продолжение всей нашей беседы он так и не позволил себе надеть шапку.

Что это, чудачество? А по-моему, истинная воспитанность, не на громких словах, а на деле доказывающая уважение к человеку.

Коль скоро я упомянул о Рихтере, не могу не привести один случай. Он гастролировал в Перми и на одном из концертов сыграл, как ему показалось, хуже, чем обычно. Никто этого, конечно, не заметил, слушатели восторженно аплодировали. Но сам себе он этого простить не мог.

После концерта его ждали в гостинице. Он вернулся туда лишь час спустя — расстроенный, недовольный. Оказывается, бродил один по городу, переживал. Что, казалось бы, значил для него, всемирно известного музыканта, какой-то рядовой концерт в Перми? Но он не делал различия между странами, городами и слушателями. Этот человек уважал искусство в себе, а не собственную персону в искусстве.

И вот я думаю: можно в один миг потерять все свои деньги — в самом прямом смысле. Можно и наоборот, допустим, выиграть в лотерею машину. Но ни при каких обстоятельствах невозможно мгновенно обнищать духовно, превратиться из человека воспитанного в хама. Если на наших глазах такая метаморфоза и случается, значит, воспитанность такого человека была не неотъемлемым свойством его души, а чем-то вроде личности: захотел — и сбросил. Подлинное духовное оскудение — процесс длительный, постепенный. И начинается оно с таких, казалось бы, несерьезных мелочей, на которые и внимания вроде бы не обращаешь. Подумаешь, не открыл перед женщиной дверь, не уступил пожилому человеку место в автобусе. А клубок между тем разматывается...

Для человека, разучившегося оказывать зримые, конкретные знаки внимания ближнему, само понятие «уважение к людям» становится абстрактным, оторванным от реальной жизни, в конечном счете — фикцией.

А что взамен? Наука доказывает, что ничто в мире не исчезает бесследно. Так и атрофировавшееся «уважение к людям»

вовсе не рассеивается прахом. Оно трансформируется в неоправданно раздутое «уважение к себе», а проще сказать — в обычный махровый эгоизм. Это уже не мелочи жизни, а нравственное зло, уродующее человеческую личность, зло, опасное для общества.

И вот такому эгоисту встречается человек, находящий радость в том, чтобы раздаривать себя другим. Он получает удовольствие от сознания своей полезности, от самого процесса работы, а не только в тот момент, когда ему платят зарплату. Такой человек самим фактом своего существования вызывает в антиподах раздражение, даже злобу. Они подозревают его в лицемерии, глупости, тайной корысти — только не в искренности, потому что само понятие «бескорыстие» ими давно забыто.

Нередко и мои сценические герои идут к людям с добром, а натываются на стену непонимания или даже прямого хамства.

И тут не могу не возразить тем критикам, которые упрекают моих «странных» людей в том, что они вовсе и не герои — не умеют активно противостоять злу, действительно бороться с ним, не в состоянии защитить от несправедливости не только других, но и самих себя. Так стоит ли, рассуждают они, делать таких людей героями книг, спектаклей, фильмов?

Хочется спросить этих критиков: а если человек сумел душу в чистоте сохранить, не осквернил ее злобой и подлостью, свои добрые дела напоказ не выпячивал, благодарности за них громогласно не требовал — разве этого мало? Разве само по себе существование таких людей не является фактом положительным, значимым, достойным внимания и осмысления?

Мы становимся чересчур практичными и требуем немедленно отдачи не только, скажем, от фондов, вложенных в производство, но и от содеянного добра. Другими словами — часто не по духовной потребности добро творим, а из каких-то более меркантильных соображений. Действуем по принципу «ты — мне, я — тебе». Замыкаем добрые дела в круг знакомых, нужных людей, от которых мы в какой-то мере зависим. Расходуем сердечность свою скупой, избирательно, с расчетом получить за нее сполна той же монетой. А «странные»-то люди творят добро безоглядно, бескорыстно, негласно. Для них это такая же жизненная потребность, как пить и есть.

У «странного» человека есть и еще очень дорогое достоинство: он всегда тянется к людям, старается сблизиться с ними, наладить контакт — не деловой, душевный, чисто человеческий. Понимаете? Не к телевизору его тянет, а к живым людям! Кстати, уже не раз высказывалась мысль, что телевизор, несмотря на кажущуюся объемность связи человека с миром, не объединяет человека с ему подобными, а скорее разъединяет, если превращается в единственное окно его общения с этим миром; человеческая же коммуникабельность прогрессирует в обратном направлении. Утрачивается традиционная культура непосредственного общения.

Как-то на творческой встрече со зрителями я спросил у зала: «Часто ли вы ходите в гости?» И большинство в один голос ответили: «Не-ет!» А лет двадцать, двадцать пять назад я бы услышал дружное: «Да-а!»

Что же с нами случилось? Парадоксально, но факт: чем благополучнее живут люди, тем они становятся разобщеннее, равнодушнее друг к другу. Мы порою даже не знаем, кто живет рядом с нами на лестничной площадке.

Думая сейчас о военных и первых послевоенных годах, я прежде всего вспоминаю атмосферу всеобщей спаянности, взаимопомощи, какого-то кровного родства. Я помню эвакуацию, когда судьба сводила под одной крышей самых разных, совершенно не знакомых друг с другом людей. Но я не помню ни одной ссоры из-за того, что кому-то пришлось потесниться, пожертвовать покоем и привычными удобствами.

Когда на Чернобыльской АЭС случилась страшная беда, мы ощутили не только разумом, но и сердцем кровную связь друг с другом. Люди делом доказывали, что доброе отношение, бескорыстная помощь ближнему стали и для нас явлением обычным, нормальным, а вовсе не «странным», из ряда вон выходящим. Но неужели для этого нужна экстремальная ситуация?

Жизнь человеческая так коротка. Обидно, что немалую часть ее мы тратим на то, что не имеет для человека истинной ценности, хотя зачастую имеет вполне конкретный ценник. Деньги, вещи, престиж как будто отнимают у человека душу, закабаляют его, делают своим рабом. Нормально ли это? Наверное, гораздо менее нормально, чем спокойное отношение к ним некоторых людей, умеющих отличить ложные ценности от истинных.

Иногда приходится слышать:

— Твои «чудики», старик, несовременны. Жизнь ушла вперед, и они сегодня со своими смешными принципами безнадежно отстали!

Нет уж, позвольте! Эти «странные», на ваш взгляд, люди отнюдь не из прошлого. Скорее — из будущего. Они живут по тем нравственным законам, по которым когда-нибудь будут жить все люди. И «странности» присущи не только людям науки и культуры, о которых я упоминал и которые впитали в себя интеллигентность с молоком матери. Стремление к добру, искреннее желание оказать ближнему бескорыстную помощь присущи каждому человеку, который сберег в себе «чувства добрые».

Вот у меня сохранился вырванный из настольного календаря листок. Он дорог мне не тем, что подогревает мое тщеславие, хотя «звездной болезнью» я, слава богу, не страдаю. Он ценен для меня тем, что подтверждает мою убежденность: мои «чудики» не только не отстали от жизни — они современны в самом высоком смысле этого слова.

Итак, возвращаюсь я из театра домой и читаю у подъезда объявление о том, что в связи с тем-то и тем-то горячую воду жильцам отключили. Ну, отключили и отключили — экая катастрофа! Открываю почтовый ящик и нахожу в нем этот самый листок из календаря, на котором написано (сохраняю в неприкосновенности орфографию и пунктуацию):

«В связи с экстренным отключением воды, Вам, уважаемый и горячо любимый нами всеми (бригадой слесарей Фрунзенского района) Л.К.Дуров мы объявляем: что воду лично вам не отключим!!! Никогда! Мы ценим вас и любим

Ваши поклонники (слесаря)».

Сколько уж было сочинено об этих сантехниках-«мздоимцах» и фельетонов, и анекдотов, и скетчей, и прочих зубо-скальных вещей! С головы до ног оплевали целую профессию. А вот ведь не пришли за мздой, не попросили «на бутылку» за услугу. И ведь наверняка думали, что если известный артист, значит, у него денег куры не клюют. Ничего подобного! И даже имен своих не оставили, просто: «слесаря». А ведь казалось бы: уважение уважением, но работа работой — отключили, и дело с концом. Не отключили!

Мелочь? Ой ли! А что, жизнь человека состоит из великих свершений? Да полноте! Она состоит из таких мелочей, которые и формируют человека: его характер, мировоззрение, отношение к себе подобным, в конце концов.

Когда у нас в театре шли спектакли, на которые невозможно было попасть, я протаскивал студентов через окно гримуборной, и они стояли в зрительном зале по стенам.

Их спрашивали:

— А вы как тут оказались?

И они с детской непосредственностью отвечали:

— А нас Дуров пропустил.

Мне, конечно, за это попадало. Но вот однажды после спектакля в мое раскрытое окно влетел апельсин. Я перегнулся через подоконник и увидел группу молодых людей.

— Извините, — сказали мне снизу, — но у нас больше ничего нет: мы — бедные студенты.

Нужны еще слова?..

Бедные, бедные, бедные...

В течение многих лет нам вдалбливали, что любовь к Родине определяется нашей нищетой. Чем ты беднее, тем преданнее. Будь ты академик, писатель, артист, спортсмен — безразлично.

В одном из своих интервью хоккеист Вячеслав Фетисов вспоминал:

«Когда наши спортсмены начали выезжать за границу, появилось специальное постановление о том, что спортсмен не имеет права получать больше нашего посла. Скажем, если посол имел 1200 долларов в месяц, то спортсмен, сколько бы он ни зарабатывал, не мог иметь ежемесячно больше тысячи. На этом неплохо наживался наш спорткомитет. Так вот, когда нам разрешили играть в НХЛ, то сразу же поставили условие: получать только 10% от контракта. А на наш вопрос, почему не 20 или 30%, ответили, что получили установку: “В СССР миллионеров не плодить!”»

Верно, у нас десятилетиями плодили только нищих. А после распада СССР почти вся страна оказалась за гранью нищеты (у нас это скромно называют «за гранью бедности»). И произошла поразительная метаморфоза: страна нищих стала плодить миллионеров. Здесь не нужно большого ума, чтобы понять, кто кровососущий, а кто — жертва.

Я никогда не мечтал быть не только миллионером, но просто богатым человеком. Говорю это без всякого кокетства. У меня самое скромное желание: не думать о куске хлеба. Потому что это унижительно, недостойно человека. Любого человека, а творческого — тем более. Какие возвышенные чувства может пробуждать актер в зрителях, если в его глазах горит не огонь вдохновения, не сила страсти и убеждения, а светятся тоска и отчаяние?

И все же я со своими товарищами по сцене бываю искренне счастлив. Выпускается интересный спектакль, есть хорошие роли, и мы забываем обо всем на свете, мы творим свой мир по своим сценическим законам. Оставшись наедине со зрителями, мы вместе пытаемся создать атмосферу взаимопонимания. И если это удастся, нам больше и желать нечего — и актерам, и зрителям. И нет тогда счастливее нас людей на свете!

Я никогда не был избалованным. Если я видел, что роль можно сыграть не шаблонно, я соглашался и на эпизоды. Ведь что для меня главное в герое? Понять мотивы его поступков, разобраться в тех пружинах, которые движут его характером.

Вот я играл Яго в «Отелло». Очень интересный тип! Яго намного сложнее Отелло. Кто-то даже писал, что трагедию Шекспира следовало бы назвать не «Отелло», а «Яго». Зачем Яго запускает свою интригу? Дездемона ему нужна? Нет, не нужна. Отелло он ненавидит? Не столько ненавидит, сколько завидует: черный, а уже генерал, а он белый, но поручик. Почему мальчишка Кассио выходит в начальники, а он — старый вояка — на месте топчется?

«Отелло» — трагедия не любви, а зависти. Яго побеждает в интриге, а не в жизни. Эфрос ведь как придумал в финале: я пытался лезть по лестнице и не мог — висел на одной руке, как тряпка.

А что касается эпизодов, то хочу напомнить старую театральную поговорку: «Нет маленьких ролей, есть плохие актеры». Что, в самом деле, мы хуже помним Юродивого, Селифана или Лизоньку, чем Шуйского, Чичикова или Чацкого? Именно эти так называемые второстепенные персонажи далеко не второстепенны в выражении авторской мысли и в выявлении характера «главного» героя.

Вспоминаю историю, рассказанную мне когда-то одним старым писателем.

К известному драматургу Борису Сергеевичу Ромашову пришел молодой автор с просьбой прочитать и оценить его только что написанную пьесу. Борис Сергеевич относился к молодым авторам с величайшей предупредительностью и даже с каким-то благоговейным обожанием. Он прочитал пьесу и, когда автор пришел, прежде всего спросил его:

— Скажите, голубчик, а сколько лет вот этому вашему герою? — и ткнул пальцем в список действующих лиц.

— Ну, тридцать, тридцать пять приблизительно, — неуверенно ответил молодой драматург. — Собственно, это неважно, у него в пьесе всего три-четыре реплики.

Ромашов как-то ссутулился и уже бесцветным голосом продолжил:

— А где он родился? Кто он?..

Юноша решил, что маститый драматург просто не в духе, придирается, и промолчал. Ромашов тоже молчал, а потом сказал задумчиво:

— Как же так?.. Вы сами не знаете своего героя, а хотите, чтобы актер сыграл его и зритель поверил в его игру.. — Борис Сергеевич безнадежно махнул рукой и вздохнул: — Вам даже разница в пять лет ничего не говорит, а ведь за это время прогремела война... Извините, голубчик, но уж своих-то героев вы обязаны знать. Прошу вас, узнайте и приходите снова, расскажете мне о них.

Начинающий автор, конечно, мог не разбираться во всех тонкостях литературного мастерства. Но сколько расхожих героев в произведениях именитых писателей разных жанров, героев, играющих «роль прохожего»: пройдет такой персонаж по страницам романа или по театральной сцене и, лишь только скроется из поля видимости, сразу же забывается.

У настоящего художника каждый литературный образ несет в себе неизмеримо больше того, что о нем сказал автор. В этом, собственно, и заключается неисчерпаемость (или множественность) конкретного образа. Поэтому работа в эпизоде или над ролью второго плана ничем принципиально не отличается от работы над главной ролью.

Основная мысль в спектакле или в картине, как правило, выражается через главных героев. И ты как участник этого действия должен всячески помочь главным исполнителям выразить ее. Но, с другой стороны, зачем ты сам нужен, скажем,

в картине, если ты не несешь ничего нового? Просто так на заклятие никто себя не отдает. Партнерство — это всегда соавторство. Помимо того, я сам являюсь соавтором своей собственной роли, какой бы маленькой она ни была. Конечно, вместе со сценаристом и режиссером. Но я тоже что-то свое в нее привношу. Обязательно.

Вот тот же Клаус в «Семнадцати мгновениях весны». Злодей, каких мало. Но чтобы выполнить свою провокаторскую миссию, он должен войти к людям в доверие, расположить их к себе. Он ставит себя как бы в зависимость от них, ищет защиты, сочувствия. Он обаятелен, он контактен. Тем и страшен — когда знаешь, для чего ему это. То есть, несмотря на малый объем роли, мы видим здесь сложность характера, его неоднозначность, многомерность. Потому роль и запомнилась. Я тогда получил очень много писем от зрителей.

Самое главное в характере всегда берешь все-таки от автора. А потом уже ищешь к этому приложение своих сил и возможностей — своего амплуа. Что ни говорите, а актерское амплуа все-таки существует, и никуда от него не денешься.

Довелось мне, скажем, сниматься в картине В.Шамшурина «Зачем человеку крылья». Там я должен был сыграть деревенского мужичка. Ну, одежонку и все остальное мне, как положено, подобрали. Я по сценарию за лошадьми ухаживаю. Попросил только, чтобы одежду мою не трогали — сапоги бы не чистили и рубашку не стирали. Чтобы они лошадью пахли — мне это помогает. На съемки езжу сам на телеге, вожжи в руки — и айда! И «нарвался».

Еду как-то по дороге, лошадь понукаю, а навстречу идет старушка.

— Здравствуйте, — говорю.

А она:

— Откуда ты?

— Да вот из деревни Белый Колодезь.

— Что-то, — говорит она, — я тебя не припомню. Я в этой деревне вроде всех знаю, а такого завалышшего первый раз вижу.

Очень мне это понравилось: «завалышшего»! Лучшей оценки моей роли мне и не нужно было.

Такого же мужичка мне довелось играть в трагикомедии белорусского драматурга Андрея Макаёнка «Трибунал». Это роль колхозного пастуха Терешки Завалышшего, убогого и вроде бы

недалекого мужичка, над словами и поступками которого то и дело хохочет зрительный зал.

Сама драматическая история о том, как Терешка, ставший при немцах старостой-полицаем и даже гордящийся и хвалящийся этим, оказывается храбрым патриотом, принявшим свою должность по приказу партизанского командования, — на первый взгляд представляется простой и ясной, в чем-то даже детективной. Однако она дала мне материал для углубленного толкования сущности центрального персонажа, и я этим воспользовался.

Главное, что мне дал материал пьесы, ее жанр, — это резкое, без переходов, столкновение двух стихий искусства: комической и трагедийной. И это почти в каждой сцене. Я и вел свою игру одновременно в двух планах.

Как это у меня получилось, судить не мне, но вот что писал по этому поводу театральный критик Я.Тубин:

«В двадцатые годы выдающийся режиссер Таиров многое сделал для создания театра трагедии и арлекиниады. Одни и те же актеры у него играли сегодня “Федру” и “Грозу”, а завтра карнавальную оперетку “Жирофле-Жирофля”. Гораздо трудней совместить такие разнополюсные начала в пределах одного спектакля, и уж тем более — одной роли. Но результат оказывается поразительным. И здесь дело не в виртуозности, с какой артист Дуров меняет маски, а в том, что в эти моменты мы начинаем постигать некоторые существенные стороны человеческого бытия, где трагическое иногда принимает форму смешного, а высокое выглядит заурядным. Но только выглядит.

История пастуха Терешки, каким его сыграл Лев Дуров, приводит к мысли о том, что подлинному, глубинно народному характеру органически чужд деланный пафос, что геройство в часы смертельной опасности может выглядеть даже обыденным, если оно величественно не позой, а самим фактом самопожертвования. Героика в обыденном обличье... В результате возникает цельный и сложный характер русского крестьянина. В нем есть простота и мудрость, лукавая мягкость, терпеливость и внутренняя напряженная сила».

Так что, дорогой читатель, «маленьких» и «простеньких» ролей не бывает. Если к ним отнестись с полной самоотдачей, вложить в них свою душу, они могут запомниться своей самобытностью очень даже надолго. Можно даже забыть, о чем

спектакль или фильм, а роль запомнится. Помните Раневскую: «Муля, не нервируй меня»? Уж и название фильма почти все забыли, и о чем он — не сразу скажут, а эту фразу с неподражаемой интонацией Фаины Григорьевны помнят до сих пор, почти полвека.

Кстати, в спектакле «Трибунал» меня однажды хотели разыграть.

Так вот, играл я роль немецкого старосты, который работает на партизан, а жена, естественно, об этом не знает и все мне грозит:

— Вот придет советская власть, тогда посмотришь!

А я, чтоб снять пафос, спрашивал:

— А где твоя советская власть, где? — И лазил под стол, открывал сундук. Один раз открываю сундук, а там лежит лозунг «советская власть!». Ребята где-то нашли этот лозунг, отрезали начало и оставили конец. Я растерялся на секунду. И оценил. Это остроумный, добродушный розыгрыш. Я ценю шутку, но не люблю, когда хотят просто «расколоть» артиста. И главное — публика не должна этого заметить: это не для них — для нас.

Я и сам люблю пошутить. Однажды в спектакле «Весельчаки» по ходу действия медсестра-негритянка должна была сделать мне укол. Я лег на топчан, приспустил трусы, а на заднице у меня было написано йодом: «Привет!» Партнерша не дрогнула. Так что мой розыгрыш в тот раз, можно сказать, не удался.

Вообще говоря, не всегда приходится играть роли людей, близких тебе по духу. Иной раз вползаешь в шкуру такого негодяя, что потом приходится долго отмываться. Тут я как-то буквально за неделю умудрился сняться в фильме «Человек из группы “Альфа”» — о том самом особом отряде, которому было отведено чуть ли не главное место в памятном путче. Я играю человека, прямо противоположного мне по взглядам — генерала КГБ, который должен отдать приказ «Альфе» о выступлении.

Но благодаря съемкам я смог побывать в самой Лубянке! А, согласитесь, свободно и, главное, добровольно войти туда и выйти оттуда удастся далеко не каждому. Посидел в бывшем кабинете Дзержинского, даже украдкой полежал на кровати, на которой отдыхал Андропов. Осмотрел внутреннюю лубянскую

тюрьму, окно камеры А.И.Солженицына. Было очень интересно, хотя особо восторженных чувств эти места не вызывают.

В фильме «Серые волки» мне предложили роль Анастаса Микояна. Уж кажется, что у меня общего с Микояном? Но какую-то нашлепочку прилепили, усы приклеили — и все упали! Одно лицо! Так что мой внешний вид подходит для любой роли — от «заваляшшего» мужичка до Льва Толстого и Анастаса Микояна.

Вообще везет мне на сильных мира сего. То я их играю, то даю им, убогим, пятерку на мороженое, то пользуюсь одним писсуаром. А как-то пришлось даже быть третейским судьей при встрече с Молотовым.

Иду однажды перед утренним спектаклем по Большой Бронной на почту, чтобы отправить телеграмму. А почта закрыта: Первое мая. Вдруг сзади голос:

— Молодой человек, можно вас на минутку?

Поворачиваюсь и вижу: квадратно-круглое розовое лицо с пупочкой носа посередине и на ней пенсне. Синие брюки. А рядом — очень похожий на Булганина, но не Булганин, человек в длинном китайском плаще.

— Молодой человек, ну скажите, кто из нас прав. Я ему, старому дураку, говорю: зачем ты напялил плащ в такую замечательную погоду, а он говорит, что сегодня обязательно пойдет дождь. Ну, кто из нас прав?

— Точно сказать не могу, — отвечаю. — Но я на стороне вашего оппонента. Помните, у Гоголя: «А вот в Сицилии бывало пойдешь по улице — солнце, а потом вдруг — дождик. И смотришь, точно дождик».

— Да-а-а! А вы дипломат.

— Так и вы, Вячеслав Михайлович.

— А вы меня узнали?

— Конечно!

— А я вас знаю, — сказал не-Булганин в китайском плаще. — Вы артист Дуров.

— Господи! — всплеснул руками Молотов. — А я смотрю — знакомое лицо!

— Он-то тебя сразу узнал, — съехидничал не-Булганин, — а ты его нет. А его-то все время показывают, а тебя уже сто лет никто не видел, слава богу. Кто же из нас старый дурак?

— Да ну вас всех, всегда я во всем виноват, — махнул рукой Молотов и пошел вниз по Бронной.

— Ничего, ничего, — сказал не-Булганин. — Это ему полезно. Упрямый, как бык, и самолюбивый. — И, захохотав, пустился догонять бывшего министра иностранных дел великой державы.

Рассказывают, был такой художник Карпов, лауреат Сталинской премии. Он получил ее за то, что в блокадном Ленинграде, когда не было ни красок, ни кистей, умудрился написать цикл из ста картин-карикатур на гитлеровскую правящую верхушку. При этом пользовался большим пальцем правой руки, на котором не остригал ноготь, и печной копотью.

После войны он отошел от политической сатиры и стал анималистом. Так вот, этот Карпов рисовал в образе котов представителей всех религий и сект, которые только существуют. И все были узнаваемы без пояснения, настолько тонко он прочувствовал характер каждого представителя. И лишь один образ он так и не смог создать, как ни бился над ним, — образ православного христианина. Он не мог найти в нем ни одной характерной черты — образ был лишен индивидуальности, расплывчат. Не за что было ухватиться: все белое, постно-смирненное, бесконфликтное.

Я понял затруднение художника, когда стал играть положительных героев. Это все равно что деревья, превращенные в телеграфные столбы. Отрицательные же герои, как правило, имеют четко вылепленный характер, у каждого из них есть своя изюминка, они, наконец, раскованны и в словах, и в поступках. Поэтому играть их, конечно же, интереснее.

Когда Нодар Думбадзе предложил мне для постановки инсценировку своей повести «Белые флаги», меня сразу же привлек в ней богатейший подбор неординарных характеров и судеб.

Судите сами. В камере предварительного заключения ждут завершения следствия и суда девять мужчин, обвиняемых в различных преступлениях. Каждый должен понести наказание: за хулиганство, за неумышленное убийство, за попытку изнасилования, за неуплату алиментов, за казнокрадство, за спекуляцию кладбищенскими участками...

Кунсткамера, да и только! О каких уж тут положительных образах можно говорить! Убийство, даже если оно неумышленное, остается убийством. И люди, собравшиеся здесь не по своей воле, должны прежде всего сами себе вынести справед-

ливый приговор. По тому, насколько они искренни перед судом собственной совести, можно судить о мере их раскаяния.

Мне как режиссеру важно было найти в каждом персонаже что-то человеческое, часто скрытое от нас за внешним, наносным. Я пытался разобраться в причинах, приведших людей в тюремную камеру. Меня интересовали мотивы совершения преступления хотя бы потому, что за каждым правонарушителем стоит живой человек, со своим характером, со своей судьбой и со своим отношением к происходящему.

Одни совершают преступление случайно, другие повторяют их неоднократно, но все они остаются людьми, по-разному воспринимающими меру наказания. Что главное в наших героях? В первую очередь — сознание ответственности за свои поступки. И не только после совершения преступления.

Закон есть закон. Нарушил его — неси наказание. Но самое тяжелое наказание для совершившего правонарушение — суд собственной совести. Одних этот суд затрагивает, других, таких, как главный герой пьесы Исидор, он не только заставляет задуматься над своей судьбой, местом в жизни, но и приводит к трагическому концу. Именно поэтому для многих преступников суд совести гораздо суровей справедливого приговора. Я стремился к тому, чтобы зритель переживал вместе с героями, был в той атмосфере, близко к сердцу принимал все нюансы действия. Судя по реакции зала, нам это удалось. А если удалось, то, может, мы кому-то помогли своим спектаклем задуматься над собственной судьбой, поразмышлять над непростыми вопросами бытия.

Несколько слов о драматургии Василия Шукшина.

Шукшин очень труден для постановки в театре. Я не видел ни одного точного, с моей точки зрения, спектакля по его произведениям. Всё как-то рядом, всё не до конца. В чем же дело? Мне кажется, что его воспринимают не глубинно, а поверхностно, превращая часто в балаган то, что является болью его, мукой. «Энергичные люди» даже Товстоноговым были поставлены как комедия-фарс.

Как же понимаю я?

«Энергичные люди» — это драма. Драма людей, пришедших к полной бездуховности. Пьянки и бешеные деньги стали их нормой поведения и моралью. Это не жизнь — суррогат. Всё

сместилось. Веселье? Собеседования?! Это тупые игры в перелеты и механическая «летка-енка». Тупость! Заполнение времени пустой вздрючкой, экзальтацией. Нет мыслей, нет идей, нет любви. Существование, близкое к животному. Еще один шаг и — му-у-у-у!

Шукшин даже лишает их имен. Бездуховность делает их безликими, однозначными, похожими друг на друга. Нет — внешние приметы имеются: курносый, лысый, брюхатый... Они и говорят-то на одном, нивелированном языке.

У них фактически нет прошлого. Оно стерлось. Кто кем был? Хоть слово о детстве, о маме! Нет. Только перед самым финалом кто-то вспомнил, что была у них большая семья и что младшие донашивали вещи старших. Но это сквозь туман времени. Какой-то дрожащий призрак, мираж. Нет памяти, нет прошлого. И «деревня» в устах Простого звучит как насмешка. Какая деревня? Какая пашня? Просто болтовня. Корней нет!

И даже любовь для них материальна, как автомобильная крышка. Надо (престижно!) иметь любовницу, вот я и имею. Это неважно, что я не питаю к ней никаких чувств, что сердце мое пусто, — полагается иметь! И к жене не осталось никаких чувств. Кроме страха. Страх постоянно живет рядом! Отсюда и постоянная настороженность, даже ненависть друг к другу. Кто продаст? Кто первый?

В чем же драма? Эти люди обокрали сами себя. То, что обманули государство, рано или поздно раскроется. А вот как быть с самим собой? Со своей совестью, с душой, в конце концов? Но про это они забыли. Есть так называемое ДЕЛО — и всё! Бездуховность так же страшна, как обезумевший пьяный с ружьем. К сожалению, «деловые люди» составляют немалую часть общества. Они агрессивны в своей наступательности. Об этом и говорит Шукшин.

Нас, артистов, часто спрашивают: а в чем же ваш оптимизм? Так ли уж все безысходно? Нет, не так! Дело в том, что мы хотим дать отпор бездуховности. Остановить ее расползание. И сделать это можно, только правдиво, точно и беспощадно показав ее физиономию.

Шукшин говорил: «Смешно должно быть не от трюка, а от правды». Очень справедливые слова!

Мне довелось ставить спектакль «Энергичные люди» в Ростке (еще во времена ГДР). Немецкие актеры — дотошный народ. У них существует такое понятие, как «введение»: прежде чем ставить спектакль, они хотят разобраться, о чем он, вникнуть в атмосферу происходящего, понять особенности характеров героев.

Я это предчувствовал и взял с собой фрагмент из «Калины красной» и фильм «Слово матери» — о матери Шукшина, снятый Анатолием Заболоцким. Все это я им показал. Они рты открыли. А потом ко мне подошел один актер, наверное, самый дотошный, и спрашивает:

— Как это у вас сочетается: вся эта техника, ракеты и то, что мама Шукшина стоит с коромыслом у проруби и идти ей за водой приходится километра полтора по морозу?

— Так это, милый, — говорю, — и есть Россия.

Он растерянно так кивнул:

— Я все понял...

И еще я рассказал им историю, которая приключилась со мной, когда я работал в Центральном детском театре. Я так замотался, что забыл купить ёлку. Наступило 31-е число, отыграл спектакль, и мне ребята советуют:

— Поезжай на Киевский вокзал, там всегда можно купить ёлку, тем более в новогоднюю ночь.

Приезжаю — ничего и никого там нет. А мороз, помню, все сильнее и сильнее. Походил, походил, смотрю — время уже к двенадцати, пора домой. Иду через сквер, и вдруг сиплый голос из темноты:

— Эй, парень, иди сюда, чего надо?

— Ёлку, — говорю.

— Так вот же ёлка! Бери!

Вижу, действительно, стоит мужичок, держит ёлку. Тогда были другие деньги, и на мой вопрос «сколько?» мужик назвал замечательную сумму:

— Три рубля!

— Да ты загнул, — говорю, а сам, делать нечего, лезу в карман за деньгами.

Он как-то так пригнулся, чуть не присел. Даю ему трешку. Он мне:

— Держи ёлку.

А сам что есть духу побежал к вокзалу, причем какими-то зигзагами, как будто я в него стрелять собираюсь.

Хотел было и я пойти, а ёлка... не пускает! Он мне, оказывается, продал растущую в сквере ёлку! Ну попал, думаю. А какая ёлочка была замечательная — голубая, аккуратненькая...

И я спросил немецких актеров:

— А у вас такое возможно?

Они засмеялись и закивали головами:

— Мы всё поняли.

И действительно, что-то до них дошло, потому что играли они замечательно.

Кстати, в память об этой поездке в ГДР у меня сохранился любопытный документ, который повергает в изумление не только иностранцев, но и наших, привыкших ко всему, соотечественников.

Вот этот документ:

СПРАВКА

Дана ДУРОВУ Льву Константиновичу в том,
что борода необходима ему для съемок в кино,
на телевидении и для работы в театре.

Справка дана для проезда на территории ГДР.

Заместитель директора театра (подпись).

Эй, бородачи! А у вас есть справки на право ношения бороды? Сомневаюсь.

А на самом деле ничего странного эта справка не представляет. Просто сфотографировался я на загранпаспорт без бороды, а выехал за рубеж уже с бородой. И чтобы не было в пути никаких недоразумений, меня и подстраховали этим документом.

Конечно, для познания России я мог бы еще многое рассказать своим немецким коллегам. Например, мог бы просто показать им две телеграммы, из которых они не поняли бы ровном счетом ничего.

Вот первая:

ЯЛТА ДОМ ТВОРЧЕСТВА АКТЕРУ ДУРОВУ ЛЬВУ КОНСТАНТИНОВИЧУ
СЪЕМКА ВАШИМ УЧАСТИЕМ НАЗНАЧЕНА 4 АВГУСТА ВЪТЪ КАЛИНИНЕ
19 ЧАСОВ СОВРАНЫ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ АРМИИ АКТЕРЫ СМОКТУНОВСКИЙ

**УЛЬЯНОВ ВЫКОВ СООБЩИТЕ НОМЕР РЕЙСА ВСТРЕТИМ = ДИРЕКТОР КАРТИ-
НЫ ВУЛЬМАН РЕЖИССЕР ГОСТЕВ**

Какая армия, какой Смоктуновский?! Ничего этого и в помине нет. Как нет и самой съемки. Все дело в том, что из Ялты невозможно вылететь: нет билетов! И мне шлют такую телеграмму.

Я иду с этой телеграммой к начальнику аэровокзала.

— Видите, — говорю, — какая армия бездействует, какие актеры! И все из-за того, что я не могу вылететь.

Срабатывает мгновенно. Билет у меня в кармане, и, чтобы сыграть свою роль до конца, отбиваю ответную телеграмму:

**МОСКВА МОСФИЛЬМ К/К ВЕСПРЕДЕЛ РУКОВОДСТВУ
ВОЙСКО ВЫСТРОИТЬ 1900 ПЛАЦУ СМОКТУНОВСКОМУ УЛЬЯНОВУ ВЕТЬ
НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ ВЫКОВА ЗАМЕНИТЬ ПАШУТИНЫМ ВЫЛЕТАЮ ВСТРЕЧАЙ-
ТЕ ПРИВЕТ ПАВЛУ НЬЮМЕНУ = ДУРОВ**

Да-а, чтобы понять русский уклад жизни и загадочную русскую душу, надо, наверное, все-таки пожить в России, походить в стужу к проруби за водой и обмануть одного-другого начальника аэровокзала.

Говорить о времени и о себе чрезвычайно сложно. И ответственно. Можно выпятить себя и унижить время, а можно и наоборот — себя потерять во времени. А самоуничужение паче гордыни.

Хорошо сказал мой старый товарищ, большой русский писатель Виктор Петрович Астафьев в своей книге «Посох памяти»: «Жизнь состоит из встреч и разлук. И встречи и разлуки бывают разные, как разны и люди, с которыми встречаешься и разлучаешься».

И дальше он пишет о своем учителе — критике Александре Макарове, встреча с которым на Высших литературных курсах и дальнейшая дружба оказали большое влияние на его писательскую судьбу.

«За все годы нашей дружбы он ни об одном — ни об одном! — человеку не сказал дурного слова, не унижил себя поношением и бранью в адрес того или иного литератора. Если человек был ему несимпатичен, он так и говорил, что человек этот ему несимпатичен, но никогда не навязывал мне своих симпатий и антипатий. Он доверял мне самому разобраться в людях...

Да, встреча и дружба с Александром Николаевичем Макаровым осложнила мою писательскую работу. Я стал относиться к ней строже, ответственней и на себя смотреть критичней. И посейчас я каждую строку рассматриваю проницательными глазами Александра Николаевича: выдержит ли она этот взгляд? Улыбчивый, чуть ироничный, как будто совершенно открытый, но с глубокой мыслью и отеческой заботой в глубине».

Перечитал я эти строки и вспомнил вот что. Сидели мы как-то у одного известного режиссера, а он и говорит:

— Дружба — это такое высокое чувство!..

А я возьми и брякни:

— Да нет, дружба — это очень тяжелая работа.

— Какая работа? О чем ты?

— Да-да, работа — или у тебя нет друзей.

Писать о дружбе и друзьях не так-то просто, потому что для каждого человека само слово «дружба» звучит по-разному и каждый понимает его по-своему.

Есть дружба, которая измеряется каким-то душевным порывом:

— Ах, мы так дружим!

Помните? После окончания школы:

— Клянемся, что никогда не будем разлучаться!

Или после института:

— Друзья на всю жизнь! Будем всегда собираться!

Они прекрасны, конечно, такие лицейские порывы. Но, к сожалению, жизнь потом всех разбрасывает, и мы даже забываем имена своих соучеников, а клятвы остаются прекрасными юношескими воспоминаниями.

Я считаю, что дружба измеряется только поступками! У меня не так уж много друзей, но это хорошие, настоящие, верные друзья. Знаю, что они понимают: я по отношению к ним так же ответственен, как и они по отношению ко мне.

Никогда ни в чем друзьям не отказывал, даже не представляю, как это сделать. Если кто-то говорит: «Я люблю человечество!» — значит, не любит никого. Абстрактно любить нельзя. Твое человечество складывается из близких людей. Можно думать о судьбах мира, можно вторгаться в его историю, — любить же можно только близких.

Поэтому я и говорю: дружба — не просто романтическое слово, это довольно тяжелая работа.

Вот звонит мне друг из другого города в три часа ночи: «Лёва, ты мне нужен. Прилетай». У меня может быть температура, забот полон рот, безденежье, но я должен лететь. Если другу плохо, я продам последнюю рубашку (если кто купит) и полечу. Я просто обязан это сделать. Со мной самим были такие случаи, и друзья никогда не отказывали мне в помощи.

Раз я попал в очень сложное положение. Мне нужно было вылететь в другой город, а я без денег. Я обратился к товарищам и объяснил им свою ситуацию. Конечно, я понимал, что и они далеко не богатые люди. Но они собрали мне деньги, и я улетел. А потом, задним числом, я узнал, что кто-то продал часы, кто-то куртку, кто-то что-то еще... Вот это дружба!

Как-то со мной произошел дурацкий случай. Позвонил мне Алексей Баталов. А я к нему очень трепетно отношусь. Он один из редких актеров, который сумел сохранить в себе душевную гармонию, интеллигентность. Все мы, в общем-то, разночинцы, а он аристократ в нашей профессии. И он мне говорит, что есть возможность купить «Волгу», а у него не хватает денег. А у меня в это время были на книжке какие-то деньги, и я отвечаю:

— Лёша, о чем разговор! Сейчас съезжу сниму деньги — и к тебе. Жди!

Только положил трубку — снова звонок. Звонят из магазина «Детский мир»: собрали, говорят, для дочки Кати кое-какие вещи, и их нужно выкупить.

Еду в сберкассу, снимаю все деньги, какие были, и мчусь в «Детский мир». Там мне вручают пакет с детскими вещами, я расплачиваюсь и спускаюсь вниз. И тут чувствую: чего-то не хватает. Ну конечно! На руке у меня болталась такая маленькая сумочка, которую в народе зовут «барсеткой», с деньгами. И вот ее нет! Мне становится нехорошо. Что делать, где искать? И все же я на всякий случай возвращаюсь к прилавку. Вижу — лежит моя «барсетка», а продавщица спрашивает:

— Это ваш кошелек?

— Мой, — говорю.

— Вот я его стерегу. А там есть деньги?

— Есть.

Расстегиваю сумочку — продавщица заглянула в нее и ахнула. А у меня мысль совсем не о деньгах. Я думал о другом. Что бы я сказал Баталову, если бы приехал к нему без денег? И что подумал бы Баталов? Что я в последний момент разду-

мал давать ему деньги? Ведь только что звонил: жди, еду! Какой стыд! Какой позор!

Слава богу, отдал эти проклятые деньги. А он мне говорит:

— Возьми, пожалуйста, расписку. Она лежит под хрустальной вазочкой.

— Лёша! — начинаю обижаться. — Ведь мы же с тобой друзья, как я могу взять у тебя расписку? Мы что, уже не доверяем друг другу?

— Возьми, возьми, — говорит он мне. — Мало ли что может со мной случиться.

Вот такой это человек — Алексей Баталов.

Вспоминаю историю, связанную с Михаилом Аркадьевичем Светловым. Однажды ночью он написал стихотворение, и ему захотелось сразу же почитать его своему другу. И он позвонил ему.

— Хочу, — говорит, — прочитать тебе стихотворение, которое я только что написал.

— Миша, — пришел тот в ужас, — ты посмотри на часы: три часа ночи!

— А я думал, что дружба круглосуточна, — с горечью сказал Светлов и повесил трубку.

И больше он с этим «другом» не разговаривал. И имел на то полное право, потому что сам был готов прийти на помощь любому человеку, который в этом нуждался.

Рассказывают такой случай. Как-то летом в ночную пору дежурный милиционер на Савеловском вокзале увидел странного человека. На нем были добротные туфли, отутюженные брюки и майка. Милиционер поторопился к нему и спрашивает:

— Вас что, ограбили?

— Нет.

— А где же ваша рубашка?

— Отдал.

— Кому?

— Там какой-то несчастный человек стоял в одной рваной майке. Мне его стало жалко, и я отдал ему рубашку.

— А как же вы сами поедете домой?

— А у меня тут недалеко друг живет, он мне даст что-нибудь.

ЛИЦА ДРУЗЕЙ

В детстве у меня было очень много друзей: по играм, по дурака-валянию, по дракам. Были и подружки: Наташа Соколова, Марина Мусинян и Неля Горидько. Нас связывала дружба по драмкружку и по катку.

Надо сказать, что каток был самым популярным местом, там собирался весь район. Девочкам нравилось, когда местная шпана говорила:

— К этим девчонкам не приставать: это девчата Седого.

Было у меня среди множества прозвищ и такое. Волосы у меня за лето выгорали, потому мне и дали такую кликуху. Мы здорово катались. Особенно нравилась нам одна шутка. Мы выстраивались в цепочку и гнали по периметру катка. А потом по сигналу разворачивались на девяносто градусов и мчались поперек поля, сметая на своем пути всех встречных. Получалась такая огромная куча-мала, и никто не мог разобрать, где у кого руки, где ноги. Стоял гомерический хохот! И ни у кого не было ни злобы, ни обиды. Шутка!

И в то время дружба ценилась не по чему-нибудь, а только по поступку. Вот началась какая-то заваруха, и вдруг кто-то один исчезает: смалодушничал, испугался. Всё! Он для нас был уже потерянным человеком. Ну чего испугался? Ну, выйдешь из свалки с тремя синяками, с вывернутой рукой. Эка невидаль! Всегда надо стоять плечом к плечу, спина к спине. Каждый во дворе ценился только по поступкам, и ни по чему больше.

У меня были очень хорошие школьные друзья. Я дружил с Сеней Капланом, а у него лицо, как у Сирано, состояло из одного носа, оно как бы перетекало в один огромный нос. И этот нос представлял для всех большой интерес.

Когда мы шли с Капланом по улице и встречалась какая-то шпана, обязательно кто-то не выдерживал и начинал:

— Ой!..

Продолжить он, как правило, уже не мог, потому что кто-то из нас врезал ему по морде, и начиналась свалка. Мы очень часто дрались из-за этого носа, но честь его всегда была защищена. Каплан так же гордо носил свой огромный нос, как носил его Сирано.

Потом была дружба в Школе-студии МХАТ. Я уже говорил о нашей троице: Горюнов, Анофриев, Дуров. Нас педагоги даже порознь никогда не называли, всегда три фамилии сразу..

В свое время блистал знаменитый динамовец Лапшин. Потом он стал тренером «Динамо». А я в течение многих-многих лет дружил с его сыном Олегом, который обладал удивительно неуправляемым характером. Он прекрасно пел, играл на гитаре и был душой любой компании. Абсолютно бескорыстный человек с какими-то разгульными цыганскими замашками. То ли его дед, то ли прадед был хозяином спичечной фабрики. Спички Лапшина продавались по всей России. Однажды звонит Люся, жена Олега, и сквозь слезы говорит:

— Лёвочка, Лапша пропал...

— Успокойся, — говорю, — найдем твоего Лапшу. — А сам стал звонить по больницам, по моргам..

Конечно, нигде я Лапшу не нашел. Не нашла его и Люся. А через неделю она опять звонит:

— Лёвочка, Лапша нашелся! От него пришла из Кишинева телеграмма: «Играю в Кишиневе деньги выслал целую Лапша».

Как потом выяснилось, шел Олег по улице Горького и повстречал знакомого тренера. Обнялись, поговорили о том о сем, и тренер спрашивает:

— Ну как ты сейчас, играешь?

А Олег в свое время играл в «Динамо», потом получил травму и долгое время спортом не занимался.

— Да нет, — говорит Олег. — Как-то я отошел от этого.

— А поехали ко мне в Кишинев играть?

— Когда?

— А сейчас! У тебя паспорт с собой?

Олег нащупал в кармане паспорт.

— Со мной, — говорит.

— Ну и полетели.

Так он и оказался в Кишиневе.

Другая история про Лапшина связана с моими поминками.

Поднимаюсь я как-то в метро на эскалаторе и вижу: на соседнем спускается Люся Лапшина. Когда поравнялись, она подняла голову, увидела меня, и глаза у нее стали квадратными. Я думал, упадет в обморок. И мелькнула у меня догадка.

— Что, умер? — Я показал на себя.

Она кивнула.

А вечером раздается у меня в прихожей звонок. Я открываю дверь и вижу перед собой Олега.

— Ты что, похоронил меня? — спрашиваю.

— Не сердись. Ну, загулял. А когда пришел домой, Люська спрашивает: «Где был?» — «Да подожди, говорю, горе-то какое: Дуров умер. Там дома у него все плачут». Она поверила и тоже заплакала. Поставила бутылку, я выпил — и заплакал. Короче, помянули тебя хорошо. А сегодня едет она в метро и видит тебя, живого и невредимого! Вот я и приехал отпраздновать твое воскрешение. Позволишь?

Ну что делать с таким замечательным человеком!

Есть у меня прекрасный друг Женя Баранов. Он тоже начал играть в «Динамо». И играл отлично. Бил и с правой, и с левой неотразимым ударом.

Он носил прическу на прямой пробор и всегда бриолинил волосы. И вот после того, как он принимал мяч на голову, мяч с ноги всегда срезался, потому что Женя был набриолиненный.

Женя играл в молодежной сборной страны и должен был войти в основной состав. Но тут ему пришла в голову мысль заняться наукой.

Он закончил Московский авиационный институт и вот уже много лет занимается космическими делами. Лауреат Государственной премии, имеет множество правительственных наград. Человек удивительной доброты и необыкновенной верности. Мы до сих пор дорожим нашей дружбой.

Не забуду случай, который произошел с нами однажды в автобусе. Был час пик, на остановке образовалась толпа, нас с Женей разъединили, и мы вошли с разных площадок. Еду, сжатый со всех сторон, и вижу, как один щипач, а попросту — карманник, лезет к даме в сумку. Я взял его за руку и говорю:

— Я думал, после войны уже перестали этим заниматься.

А он:

— В чем дело?! Что такое?! — Шум поднимает.

И тут ко мне притискиваются еще двое. И давят на меня:

— Ты что?! Ты кто?!

Известные воровские штучки. Вот они прут на меня, а женщина рядом молчит, боится рот открыть. Женя услышал шум и кричит мне от передней двери:

— Лёва, что там такое?

— Да вот карманники! — кричу. — Хотят со мной поговорить!

И с моим другом что-то случилось. Я это понял по голосу, каким он вдруг закричал:

— Водитель, останови машину! Открой двери!

Тот останавливает автобус, Женька врывается в заднюю дверь, хватает одного, другого — а те здоровые парни — и кричит:

— Ты с кем разговариваешь?!

И со страшной силой вышвыривает их из салона. Третий не знает, куда деваться, и начинает дергаться.

— Тоже хочешь? — зловеще спрашивает его Женька.

— Нет! Нет! — верещит неудачливый щипач и бочком-бочком сам выпрыгивает из салона.

А я прекрасно знал: если бы с ним самим так разговаривали, Женька бы даже не повысил голоса. Но тут была задета честь друга, и он потерял самообладание.

Собственно, у меня такой же характер. Когда иной раз мне начинают хамить, я могу и простить это хамство. Но когда хамят моему товарищу, меня начинает знобить, и я не сдерживаюсь. Здесь я действительно могу растерять все рули. Наверное, так и должно быть. Друг есть друг. Как говорили когда-то на Руси: положи за други своя живот свой.

А как не написать о моем прекрасном товарище Саше Ворошило! Дружу с ним уже много-много лет. Выдающийся баритон, Саша пел на лучших оперных сценах мира.

А потом случилась беда: у него пропал голос. Он, конечно, безумно переживал, но не отчаялся, не запил. В этой, казалось бы безвыходной, ситуации и проявилась его настоящая человеческая натура. Он не запаниковал, а стал искать выход из

этой ситуации. И нашел! Занялся предпринимательством и добился в этой области таких успехов, что правительство обратилось к нему с просьбой открыть школу предпринимательства.

Вот так свой человеческий талант Саша смог применить в другом деле. Почему? Да потому, что у него ко всем было самое доброе отношение, для всех была улыбка. Он просто всех любит.

Были у него и другие сложные ситуации, но он всегда относился к ним с олимпийским спокойствием. Однажды машину у него угнали. Я попытался ему посочувствовать, а он и говорит:

— Ну что поделаешь, Лёва! Не я первый, не я последний. Конечно, противно все это...

Я не помню, чтобы он хоть раз потерял самообладание. И — удивительно верный товарищ. В любое время могу ему позвонить, поехать к нему — приятно просто посидеть с ним вместе и помолчать...

Армен Борисович Джигарханян в Москву был приглашен по моей «наводке», и первую свою роль он сыграл у меня как у режиссера, в Театре им. Ленинского комсомола.

Когда я увидел кинокартину «Здравствуй, это я!» с Арменом в главной роли, пришел к Анатолию Васильевичу Эфросу:

— Посмотрите, какой странный парень! Замечательный. Совершенно необычный. Нам бы такого!

Эфрос посмотрел фильм и сказал:

— Ты знаешь, мне тоже он очень понравился.

В то время мы были на гастролях в Киеве. И вызвали Армена к нам — он приехал. Эфрос спросил:

— Хотите работать в Москве?

— Хочу.

Первый спектакль с его участием был «Страх и отчаяние в Третьей империи» по пьесе Бертольда Брехта. Ставил его я. Там была новелла «Вернулся из лагеря»: герой возвращается из немецкого концлагеря, приходит к своим друзьям, а они ему не доверяют. Думают, что его там сломали, а на самом деле он все тот же. Эту роль как раз играл Джигарханян.

— Армен, — просил я, — когда рассказываете о пытках, говорите как о пустяках; а когда увидели знакомую чашку («Ой, а это же моя чашка!»), реагируйте как можно страшнее.

— Понял! — И моментально, в одну секунду все сделал. — Можно, я еще от себя чуть-чуть добавлю? Можно, я иногда буду чесаться?

— Конечно, давайте попробуем.

Пошли к Эфросу показывать отрепетированное. После того как Армен сыграл, Эфрос спросил нас:

— Вы сколько репетировали?

— Час, — говорю.

— Не валяй дурака...

— Честное слово!

— Тогда кто же он такой? — И Армену: — Вы гений!

Так Армен Джигарханян и остался у нас в театре, в Москве. И когда однажды я сказал ему:

— Армен, а ты помнишь?..

— Армяне добро не забывают! — вспыхнул он — У тебя начинал.

Бывает, договариваемся с ним о встрече, а он не приезжает.

— Армен, ты почему не приехал?

— Подожди! Главное — здоровье. Старик, как ты себя чувствуешь?

— Я — хорошо, но почему ж ты не приехал?

— Да подожди ты, приехал — не приехал... Главное — здоровье, и главное, что мы с тобой встретились! А остальное — ерунда...

С Виктором Петровичем Астафьевым в Москве я встречался не так уж и часто — он редко наезжал в столицу. А при встречах мы в основном обменивались лишь приветствиями: «Здравствуй». — «Здравствуй». Я относился к нему, да и отношусь, естественно, с огромным почтением, потому что считаю его российским классиком. На меня большое впечатление произвели и его рассказы, и роман «Царь-рыба».

И вот я с театром приехал на гастроли в Красноярск. Я знал, что он живет неподалеку, в деревне Овсянка. Было бы грешно не воспользоваться случаем и не заехать к нему в гости.

Я сел на рейсовый автобус и поехал в эту Овсянку. Автобус был набит битком. Рядом со мной сидел молоденький паренек с юношескими прыщиками на лице, с голубыми глазами, белобрысый. Он все время поглядывал на меня и ерзал. Потом не выдержал и сказал с досадой:

— Ну что за люди! Что они, кино, что ли, не смотрят? Телевизор?..

— А в чем дело? — спрашиваю.

— Да вот, едет к нам такой человек, и никто не подходит, ни о чем не спрашивает...

— Ну, ладно, ладно... Тебя как зовут?

— Толик.

— Так это хорошо, Толик, что никто не подходит, не мешает нам с тобой разговаривать. Да мы можем и просто помолчать, природой любоваться.

— Не-е! — говорит. — Ведь это нехорошо, что не узнают.

И не успел он сказать еще что-то, как подходит женщина, протягивает книжку и говорит:

— Поставьте, пожалуйста, свою подпись.

— Да ради бога, только зачем?

— Мы вас очень любим.

Я написал какие-то теплые слова, подписался. Толик сразу повеселел:

— Ну вот, видите — узнали!

И тут начали ко мне протискиваться один за другим пассажиры с просьбой поставить автограф — кому на книжке, кому просто на бумажке, а кому и на паспорте. Но портить официальный документ я отказался.

— Видишь, — говорю, — Толик, не дали нам с тобой поговорить — отвлекают.

— А вы куда едете? — спрашивает. — В Овсянку?

— Да, — говорю, совершенно не удивляясь его прозорливости: к кому же еще по этому маршруту может ехать артист!

— А знаете, где он живет?

— Нет.

— А я вам покажу.

Мы вышли вместе. Толик проводил меня до угла улицы и показал, как найти дом Петровича. Дошел я до того дома и оглянулся: Толик стоял на автобусной остановке — значит, он вышел раньше, чтобы только проводить меня. Вот такой гостеприимный, внимательный Толик.

Я подошел к открытой калитке и вошел во двор. И вдруг услышал из окна женский голос:

— Витя, Витя, смотри, кто к нам приехал! А ты все обижался, что он не едет и не едет.

Из дома в пижаме выбегает Виктор Петрович.

— Здорово! Что же ты так долго? А я смотрю, афиши висят — Дуров приехал и почему-то не заходит. Давай, заходи!

Зашли в дом. Он представил мне свою жену Марью Карякину — тоже литератора — и кряжистого человека с большим плоским лицом и раскосыми глазами, который сидел тут же на табуретке:

— А это наш местный поэт, бывший «панцирник».

«Панцирник» как-то неловко поднялся и откланялся.

— Пожалуй, я пойду. Встретимся на каком-нибудь спектакле. — Он взял в руки две палки и пошел какой-то странной крабьей походкой. Марья тоже оставила нас, сославшись на домашние дела. Виктор Петрович проводил взглядом странного гостя и невесело усмехнулся:

— Вот видишь, мало того что остался живой — еще и стихи пишет.

А я вспомнил одну встречу на Комсомольском проспекте. Это было 9 мая — в День Победы. Я сел в троллейбус и вижу: сидит полковник, а на его груди иконостас — весь в орденах. Я поздравил его с праздником, сказал несколько добрых слов. Вот, говорю, вы заплатили своей кровью за то, чтобы существовала наша страна и люди в ней. Он немного растерялся и посадил меня рядом с собой.

— Спасибо, спасибо, — сказал. — Теперь редко кто поздравляет. — И спросил: — А вы знаете, в каких я войсках служил? В «панцирных».

И рассказал мне, что это такое. Это были особые войска, которые состояли из политзаключенных, из тех, на которых «висела» 58-я статья — антисоветская пропаганда, шпионаж и т.д. и т.п. Им выдавали особые кольчуги, в которых воевали еще наши древние дружинники и на Чудском озере, и на Куликовом поле. «Панцирники» надевали эти кольчуги поверх гимнастеров, на них — телогрейки и шли в бой. Но эти кольчуги не очень-то и помогали. Редко кто выходил из боя живым — ведь «панцирников» выпускали даже перед штрафниками. Считалось, что если тебя ранило, то ты искупил свою вину кровью, и судимость снималась. И наши умельцы придумали способ сохранения жизни. Немецкие каски не кололись — они были двуслойными: на железный лист клали еще и стальной. А наши каски кололись очень легко. И вот их кололи кувал-

дой, а осколками нашпиговывали вспоротую телогрейку. Эта телогрейка надевалась на кольчугу. От прямого попадания такая защита не спасала, но от нее хорошо рикошетило. Так был создан прототип бронежилета. «Панцирники» опускали каску на глаза и с автоматом в руках шли в атаку.

И вот я встретил на своем жизненном пути еще одного «панцирника», ныне поэта. В него попали из противотанкового ружья, и он четыре с половиной года провисел на ремнях, потому что его нельзя было класть ни на что жесткое. В конце концов его кое-как собрали, и теперь вот он ходил такой крабьей походкой...

Мы переговорили с Петровичем о том о сем, перебрали последние новости, и он пригласил меня прогуляться по Овсянке, пока хозяйка готовит стол.

И я увидел те самые огороды, о которых он не раз писал в своих рассказах и воспел в «Оде русскому огороду»; посмотрел на дом, который Петрович поставил на свой первый гонорар старухе-погорелице; заглянул в тот самый подвал, куда отец сажал Витьку, заболевшего малярией, чтобы снять с него хворь. Бабушка, жалея внука, подсовывала туда ему шанежки. И когда Виктор отлежался после тяжелой болезни, он из последних сил поднял крышку погреба и вылез на свет божий.

— Ну жив, — сказал отец, увидев сына. — А раз вылез, живи дальше.

Потом Петрович рассказал о какой-то страшной траве, которая наступает на посевы, о траве, которой в Сибири никогда не было: бурьян со страшными колючками, которого боится даже клевер. И я в самом деле увидел в бурьяне низенький-низенький клевер. Еще показал он мне умирающую от заводских кислотных испарений березовую рощу. С большой грустью говорил, как вырубаются лесные массивы, как река Енисей перестала быть рыбной рекой...

Печальный получился рассказ. И чтобы развеять писателя, я пригласил его с супругой на спектакль «Женитьба». И они пришли и были в восторге. А после спектакля я пригласил их и нескольких актеров из труппы в свой гостиничный номер, где уже был накрыт стол, который венчал великолепный малосольный хариус.

— Вот, ребята, — оглядев нас, улыбнулся Петрович, — смотрю я на вас и вспоминаю свое детство, когда звуковое кино

только начиналось. О жизни артистов мы в ту пору ничего и знать не знали — кто на ком женат и сколько получает, даже узнать не пытались: артисты для нас были людьми неземными, дрались и умирали взаправду. И много споров, а то и потасовок требовалось нам, игарским детдомовцам, чтобы выяснить, как убитый командир, хоть бы его и сам Крючков играл, возник снова целый и невредимый! Словом, были мы простофили-зрители. Мы и титры-то не имели привычки читать: артистов кино помнили чаще не пофамильно, а в лицо. И с гордостью за свою глазастость и памятьливость, сидя в темном, часто холодном кинозале, тыкали друг дружку в бока: «Помнишь бандюгу в “Золотом озере”? Он! А этот — в “Тринадцати” и в “Морском посту”!» — «Точно! Он всегда командиров играет...» И никто не одергивал, как нынче: «Эй, теоретик, заткнись!» Наоборот, прислушивались к памятливому парнишке и даже переспрашивали: «Это который? С дыркой, что ли, на подбородке? Сильный артист!..» А стоило, допустим, появиться на экране Андрею Файту, фамилия которого запомнилась оттого, что чудной шибко казалась, как возникал и катился по залу ненавидящий шепот: «У-у, вражина! У-у-у, га-ад!» Мои старые друзья по сей день не верят, что именно этот актер сыграл в телефильме «Гончарный круг» премилого, добрейшего мастерового старика, — он, мол, гадов только может изображать...

— И когда же вы освободились от этой «наивности»? — спросил кто-то из актеров.

— Не знаю... Пожалуй, не освободился и до сих пор. На то оно и искусство — в этом его тайна. — Петрович помолчал немного и продолжал: — На фронте, уже взрослый и тертый вояка, сидел я как-то в тесно забитой бойцами украинской клуне прямо на земляном молотильном току и смотрел кинокартину о войне. Смотрел и вдруг дрогнул сердцем, даже вскинулся: узнал в лицо знакомую с детства артистку. Ровно бы родного кого встретил и хотел тут же поделиться радостью с товарищами, но не до того стало, исчезло вдруг ощущение условного действия. И хотя постукивал за клуней электродвижок, жужжал и потрескивал киноаппарат, все воспринималось въяве... Может, причиной тому были звезды, видные в разодранном соломенном верху кровли, перестук пулеметных очередей на передовой, запах земли и гари — не знаю, но ощущение доподлинности охватило всех бойцов. Когда дело дошло до того места в кар-

тине, где мать убитого дитяти, тайком от фашистов закопавшая его во дворе, притаптывала землю, чтоб «незаметно было», она глядела на нас широко раскрытыми глазами, в которых горе выжгло не только слезы, но даже самую боль. И сделались они, эти глаза, как у младенца, прозрачны и голубы, хотя кино было и не цветное. Почудились они нам звездами, они даже лучились, указывая в самое сердце. Она уже ничего не видела и не слышала. Она топталась и топталась по своему дитю и с недоумением и мольбой глядела куда-то далеко-далеко — должно быть, в вечность. Белая рубаха до пят, припачканная землей и детской кровью, похожая на саван, распущенные шелковистые волосы и босые материнские ноги будто исполняли танец вечной муки и возносили ее в такую высь и даль, где обитают только святые. И в то же время блазнилось — живыми ногами наступает она на живое, дитю больно и страшно в темной земле... Хотелось остановить ее, да не было сил крикнуть, шевельнуться — оторопь брала, костенела душа, стыла кровь... «Господи! Господи!.. — зашелся кто-то сзади меня. — Что деется? Что деется?!» Я очнулся: в клуне глухой кашель, хрип — солдаты плакали «про себя», давили боль в груди, и каждый думал, что плачет только он один — такой жалостливый уродился — и если ударится в голос — спугнет женщину, которая не в себе, и тогда она очнется и упадет за-мертво...

Виктор Петрович замолчал, молчали и мы, потрясенные его рассказом. Потом он, не поднимая головы, будто про себя, продолжил глухим голосом:

— Целую вечность спустя я встретился с этой актрисой и спросил, как ей удалось так доподлинно сыграть ту роль. «А я и не играла», — ответила она и рассказала мне историю, связанную с этим фильмом.

Тогда столичную киностудию эвакуировали в Алма-Ату. Актриса оставила в Москве мужа и восемнадцатилетнего сына. Сын сразу же после ее отъезда ушел в ополчение. И вот в разгар работы над фильмом ее вызывают телеграммой в Москву на похороны погибшего сына. Ей выписали пропуск, проводили на поезд, а через десять дней встретили. Она удивилась, что на вокзал приехал сам постановщик фильма, прославленный режиссер, занятой человек. Но тут же забыла об этом. Привезли ее почему-то не домой, а сразу на киностудию. И как была

она — в старой шалюшке, в древней стеганке, в подшитых валенках, — завели в павильон, где их уже ждала съемочная группа. «Но я не могу сейчас работать! — взмолилась актриса. — Это бесчеловечно!» Она плакала, рыдала, а режиссер только молча гладил ее по этой серенькой шалюшке. И когда она выплакалась, сказал единственное, распространенное тогда, слово: «Надо».

Он дал актрисе ножик, поставил мешок с мелконькой грязной картошкой и стал расспрашивать ее про Москву. А потом начались съемки, актриса продолжала чистить картошку и так увлеклась, что актера, игравшего немца, а он был доподлинный немец, предупредили: «Будьте осторожны. У нее в руках нож...»

Она работала всю ночь, а когда съемки закончились, режиссер встал перед ней на колени и поцеловал ее руки, испачканные землей: «Прости». — «Бог с тобой, — сказала она. — Получилось ли хоть что? Мне ведь не пересняться. Я умру...»

— Не знаю, друзья мои, — закончил Петрович эту историю, — ответил ли я на ваш вопрос о «наивности». А вообще я считаю, что счастлив тот, кто до конца дней своих сумел сохранить эту «наивность». Это великий дар. Не теряйте его.

— Виктор Петрович, — спросил кто-то, — вы ведь поздно начали печататься? Ну понятно, война...

— Если бы не война, — кивнул Петрович, — я начал бы писать лет на десять-двенадцать раньше. Я испытывал тягу к сочинительству с детства. Разумеется, тогда получился бы другой писатель: лучше или хуже — угадать уже никому не дано. Однако, вне всякого сомнения, тот писатель, не испытавший ужасов войны, не насмотревшийся на кровь и слезы, был бы мне гораздо приятней по той простой причине, что был бы он культурней, образованней, писал бы не об обесцененной и надломленной человеческой жизни, не о страданиях и горе, а о чем-то другом, более нужном человеку и природе, что в общем-то и соответствовало моему жизнерадостному и оптимистическому характеру, который хотя и сохранился в войну, однако понес неизбежные утраты, и они-то часто подминают под себя светлое виденье мира. И тогда являются в жизнь и в прозу раздражение, подозрительность, недовольство (прежде всего самим собой), порой и озлобленность — самый плохой помощник в писательской работе.

Потом были общие разговоры просто «за жизнь», и мы проводили дорогих гостей только под утро. И ребята мне сказали:

— Лёва, какую же прекрасную ночь мы провели сегодня! И какой это потрясающий человек — как он мыслит и как разговаривает!

В самом деле, Виктор Петрович очень интересно умел говорить. Мне, понимаю, не удалось передать хотя бы частичку его интонации. Его речь напоминала речь простого деревенского человека, и в то же время в каждой его фразе было столько мудрости, столько красоты, столько поэзии! Так разговаривают очень немногие. И эта сибирская присказка, которую я опустил: «Ага... ага... ага...» — «Лёв, вот тут я написал два рассказа, они тебе наверняка понравятся, ага?»

Никогда он ко мне ни с какими просьбами не обращался. Только однажды оператор Толя Заболоцкий, который тоже дружил с Петровичем, сказал мне:

— Лёва, надо нам под Москву, в Хотьково, съездить — Виктора Петровича отвезти к одной старушке, которую он считает своей второй матерью.

— О чем разговор! Конечно, поедем.

И мы с Петровичем поехали. В Хотькове быстро нашли ее дом, вошли во двор и увидели роскошный огород. А когда открыли дверь в избу, почувствовали ни с чем не сравнимый аромат засушенного разнотравья. На кровати, под одеялом, слабо просматривалось худенькое тельце старушки, а на нас смотрели умные-умные веселые глаза. Рядом, на подоконнике, стояла тарелка с клубникой. Как потом мы узнали, соседи опекали старушку и ухаживали за ней. Она никуда не хотела уезжать и завещала после смерти и дом, и землю тем, кто ухаживал за ней.

И вот тут началось. Она вдруг стала вспоминать войну — как встречала эшелоны с ранеными, приносила солдатам грибы-ягоды. Казалось, они не могли наговориться с Петровичем. А потом тетя Сима (так звали старушку) неожиданно замолчала. И сказала:

— Вить, у меня ведь грех перед тобой... Помнишь, когда Маня привела тебя в дом, я сказала ей: «Что, ты не могла кого получше найти? Завалящего привела...»

Петрович засмеялся:

— Да я ведь все слышал тогда.

Они посмеялись, а потом тетя Сима посерьезнела.

— Вить, я тут телевизор смотрела. Ну что ты все в драки ввязываешься! Вот ты написал рассказы, а они убить тебя грозятся.

— А чего мне бояться? — опять засмеялся Петрович. — Войну прошли — не боялись, а теперь я козлов всяких бояться должен? Я пишу о том, о чем не писать просто не могу. Ведь ты меня знаешь.

— Вот ты на каком-то съезде, что ли, выступил, всех генералов разозлил. Зачем?

Петрович все попытки тети Симы перевести разговор на серьезные темы сразу же пресекал, обращая все в шутку.

Наконец пришло время расставаться, и тут тетя Сима сказала:

— Вот ты знаешь, Вить, я уже устала жить — пора помирать. Смерть зову...

А Петрович так спокойно:

— А чего ты ее зовешь? Она и так вон бродит где-то рядом. Придет, придет, ты не волнуйся.

Я был поражен, с каким спокойствием они рассуждают о жизни и смерти: она неизбежна, и чего тут попусту рассуждать! Я даже и не подумал о том, что для Петровича это была очень тяжелая встреча.

В дверях он обернулся, отвесил ей низкий земной поклон и сказал:

— Когда-то еще встретимся? Будем надеяться...

Мы вышли и поехали в Москву. Дорогой Петрович стал рассказывать о войне. Вспомнил, как однажды они захватили немецкую батарею и решили из немецкой пушки открыть по немцам же огонь. А попали совсем не туда — по своей деревне! Оказалось, что у пушки был сбит прицел. Прибежали селяне и чуть этих горе-артиллеристов не избили. Кое-как воины объяснили, в чем дело.

Потом рассказал о старшине, у которого был целый вещмешок различных погон: разных видов войск и разных званий. И когда группа подходила к переправе, он смотрел, какие войска охраняют мост, и надевал соответствующие погоны. Говорил, что сам наводил этот плавучий мост и его группа должна переправиться на другой берег, чтобы укрепить там опоры. И их без задержки пропускали.

Однажды его «раскусили». Он надел погоны особиста и стал орать, что всех пересаждает, если не пропустят его группу. Но он забыл, что на этой переправе он уже два раза был в погонах разных родов войск и в разных званиях: то майор, то полковник. И его избили, чтобы он больше не шалил. Принесли его на плащ-палатке солдаты из другой части и сказали:

— Это мы его отвалтузили, чтобы больше не выкобенивался: ишь ты, стал уже изображать из себя особиста!

Потом вдруг Петрович замолчал. Я посмотрел на него и увидел, что он спит: выплеснул из себя какие-то воспоминания о войне, которые будоражили его, и успокоился, уснул.

А через некоторое время Петрович написал мне, что старушка скончалась.

После этого я долго не встречался с Виктором Петровичем. И тут мне позвонили и попросили подписать открытое письмо в газету: местные власти отказали Астафьеву в персональной пенсии! Я был возмущен: как можно отказать в персональной пенсии — ему? Человеку, который столько сделал для страны — и в войну, и в литературе, и в общественной жизни! Писателю, который уже признан классиком русской литературы! Мне стало грустно, настроение было просто ужасное.

Подумал: что же мы за люди?!

И вот Виктора Петровича не стало — и мир вокруг как-то разом потускнел...

Да, конечно, есть его книги — рядом стоят на полке, только руку протяни. Случается, я их перечитываю. Но чувство сиротства все равно не отпускает...

Как ни странно, а в самом театре друзей у меня не так уж и много. Дружил и продолжаю дружить с Володей Качаном. Мы с ним старые знакомцы. Он играл у меня в спектакле «А все-таки она вертится». У Володи там была одна из его любимых ролей. Они играли в паре с Герой Мартынюком: Володя играл директора школы, а Гера — фальшивого папу. Дело в том, что мальчик, которому директор велел прийти в школу с отцом, вместо папы прислал знакомого сантехника.

Это была маленькая сцена в спектакле, но она сама превращалась в целый спектакль. Я стоял за кулисами, и у меня слезы текли от хохота. А что делалось в зале!.. Если бы эту сцену показать на эстраде, уверен — она имела бы оглушительный успех.

Володя всесторонне талантливый человек. Он пишет песни, которые сам же и исполняет. Написал роман. И дай бог ему удачи на литературном поприще. Мы с ним можем обращаться друг к другу за советом или помощью в любое время суток.

Для меня Иннокентий Михайлович Смоктуновский единственный из нашего поколения гениальный артист. Он открыл новую систему актерского исполнения, так никто до него не играл. Ему стали подражать. У него своя сцена какая-то внутри была. Его же долго-долго не признавали. Я никогда ему не подражал, но его система мне близка. Она парадоксальная. Часто даже не понимаешь, почему такая интонация. Почему он так говорит? Почему эта улыбка, которая наоборот? Это тоже в нем загадка. Как человек он поражал своей детской наивностью. Он меня не шуточно, не валяя дурака, называл «Учитель». Почему? Я работал с Эфросом. А Смоктуновский был очень внимателен к Эфросу. Когда мы снимали «Високосный год», он подходил ко мне и говорил:

— Посмотри. Сейчас я буду репетировать — ты посмотри, что и как.

Потом подходил и спрашивал:

— Ну как?

Конечно, это глупость полная. Какой там «Учитель»! Но тем не менее он всегда советовался со мной.

Раз была такая история. Шли мы с одним актером из Дома звукозаписи на улице Качалова и переходили Садовое кольцо. Зима, снегопад. И навстречу нам из снега неожиданно вышел Иннокентий Михайлович:

— Как хорошо, что я тебя встретил! Знаешь, я буду сейчас сниматься у Козинцева в «Гамлете». Козинцев ничего не понимает про Шекспира. Это будет ужасно. Я буду ужасно играть. Давай я тебе сейчас сыграю Гамлета.

И он стал под снегопадом посреди Садового кольца играть Гамлета. Он сыграл чуть ли не всю пьесу. Мы стояли как замороженные, смотрели на него. Нас объезжали машины. Это было потрясающе. Потом он спросил:

— Ну как?

— Кеша, гениально!

Он говорит:

— Ничего этого ты не увидишь. Я буду ужасен.

Вот это — Иннокентий Михайлович...

А как я могу не написать о моем замечательном друге Мише Евдокимове! Я его очень высоко ценю как актера и считаю, что он открыл новый жанр на эстраде — личного деревенского рассказа. Я был на нескольких его концертах и видел, что творилось в зале, когда он выступал. И получал огромное удовольствие.

Потом я снимался с ним в двух картинах: «Не валяй дурака» и «Не послать ли нам... гонца?».

Он был из тех людей, которых я называю добротными: добротный человек! Мощный, грандиозный, красивый сибиряк. И — бескомпромиссный. Этот мягкий и добродушный человек становился жестким, когда чего-то принципиально не принимал или встречался с трусостью и жлобством.

Я долго уговаривал его:

— Миша, давай перейдем на «ты».

— Ну что вы! — отнекивался он. — Вы старше меня, и потом, я вас так уважаю!..

Все-таки я его заставил перейти на «ты». Мы друг друга называли «братанами». Думаю, это звание тоже неплохое — как будто породнились.

Удивительный человек! Мне всегда доставляла большое удовольствие каждая встреча с ним, любил слушать по телефону его голос. Он никогда ни о чем не просил и если звонил, то спрашивал только об одном:

— Братан, как дела?

И у меня теплело на душе.

Я не помню, приходил ли Юлиан Семенов, автор романа и сценария, на съемки фильма «Семнадцать мгновений весны» или он не появлялся на съемочных площадках. Мы с ним встречались в Центральном Доме литераторов, во Всероссийском театральном обществе, кивали друг другу — не больше. Ближе с ним познакомился, когда приехал с Театром на Малой Бронной на мюнхенский фестиваль. Тогда это была Федеративная Республика Германия.

Юлиан очень обрадовался встрече, схватил меня и Лёню Каневского и потащил в посольский городок. Мы сидели в какой-то большой просторной квартире, вспоминали Москву, общих товарищей и знакомых. И тут за окном раздались громкие голоса. Юлиан подскочил к окну и стал орать с балкона:

— Вот она идет! Вот она идет — Малая Бронная! Вот они все идут, евреи с Малой Бронной: вот и Броневой, и Эфрос! Вот единственный русский человек! — и выдернул меня на балкон. И я, как дурак, стоял и не знал, куда деваться.

А потом он пригласил меня с Каневским к себе. И мы поехали. Это было некое бунгало — то ли квартира, то ли офис: Юлиан был тогда корреспондентом «Литературной газеты». Я Юлиана сразу же назвал Фальстафом — он весь был живой, буйный, бурно проживающий каждую минуту, выпивающий — и все это делающий шумно, громко. Тут же началось какое-то жарение сосисок в камине, появились вино, виски, водка.

Все стены этого бунгало были увешаны картинами. Оказалось, что это рисунки его дочери. И тут он до того разошелся, что стал расхваливать эти картины до такой степени, что нам стало неловко. Он объявил на полном серьезе, что все импрессионисты ни больше ни меньше как последователи его дочери. Он уже до того вошел в раж, что чуть не упал в камин...

Лёнька Каневский решил, что Юлиан много зарабатывает, и попытался «раскрутить» его.

— Ой! — вдруг воскликнул он. — Я давно мечтал купить плащ. И тут увидел в витрине одного магазина как раз тот плащ, о котором все время мечтал! К сожалению, у меня всего семьдесят марок, а он стоит значительно дороже...

— Лёня! — закричал Юлиан. — Добавь еще семьдесят марок и купи себе этот плащ!

На этом коммерческий разговор и закончился. Но мы все равно замечательно провели время.

Гастроли наши прошли прекрасно. А потом был прием у нашего посла в ФРГ Семенова — фамильного тезки Юлиана. А Юлиан и у посла вел себя так бурно и возбужденно, что не знаю, как только посол его терпел.

А потом у меня была любопытная встреча с ним в Ялте, где я отдыхал. Однажды я вышел из гостиницы прогуляться и чуть не столкнулся с обнаженным до пояса бегуном. Это был Юлиан. Он схватил меня за руку и сказал:

— Лёва, сейчас мы будем бегать трусцой.

И мы побежали маленько-маленько, взяв ориентир на палатку вдалеке. В палатке нас уже ждали: на подносе стояли два фужера с напитками — апельсиновый сок с чем-то сильно крепким.

Юлиан сказал:

— Это коктейль «Юлиан Семенов».

Мы выпили и побежали в обратную сторону. Маршрут мы повторили несколько раз. Нам сильно захорошело. И я спросил:

— Может, хватит трусцой?

Он кивнул.

— Ко мне, — и затащил меня к себе в номер гостиницы «Ялта». Посредине комнаты стояла огромная зеленая кровать. Юлиан уложил меня в постель, сам лег рядом и стал читать вслух главы из своей новой книги о Столыпине.

Так продолжалось три дня. Было безумно интересно, и я не мог вырваться, чтобы предупредить своих, что все нормально и я лежу в постели Юлиана Семенова.

Потом пришел огромный человек с огромным-огромным портфелем, и Юлиан сказал мне:

— Сейчас мы едем покупать мне дачу, и ты обязательно должен при этом присутствовать.

Мы сели в машину и поехали то ли в Алупку, то ли в Алушту — сейчас уже не помню. И вот подъехали к странному учреждению с огромными металлическими воротами. Нам открыли военные и откозыряли. Мы подкатили к какому-то зданию, поднялись по лестнице. Огромный мужик с огромным-огромным портфелем остался ждать нас в машине. А на всех лестничных площадках — военная охрана, и все козыряют Семенову. Зашли в какой-то кабинет, и там человек сказал:

— Всё в порядке, товарищ Семенов, печати стоят, можете спокойно ехать и совершать купчую...

Оказывается, в Крыму ничего нельзя было приобрести без разрешения КГБ — погранзона! Ну, поехали совершать купчую. Нас встретил совершенно спившийся хозяин, который с трудом поставил свою подпись. И я увидел ужасный сарай, к которому даже страшно было подходить, — он мог рухнуть в любую минуту и, казалось, всем своим видом предупреждал: «Ребята, ко мне не подходите — я вас накрою!»

Тут появилась какая-то женщина, видимо местная власть, и сказала:

— Товарищ Семенов, когда будете строиться, вы не должны нарушать параметры этого дома.

— Нет-нет! — сказал Семенов. — Мы вширь не пойдём. Мы пойдём только вверх.

Потом он построил на этом месте дачу и действительно пошел вверх — наверху он оборудовал мастерскую для дочки-художницы. Я там не был, но говорили, что получилось скромно, но уютно и красиво.

А когда мы, совершив купчую, возвратились в гостиницу, тот огромный человек с огромным-огромным портфелем открыл наконец этот портфель и вытащил из него целую батарею бутылок: коньяк, массандровские вина, шикарную закуску, фрукты... Как потом оказалось, это был директор карьера, который обещал Юлиану помочь сделать фундамент и цоколь будущего дома. Покупку мы обмыли на самом высоком уровне.

А однажды мы ехали с Юлианом по одной из крымских дорог и увидели съёмочную группу — шла съёмка какого-то фильма. Юлиан затормозил, высунулся из машины и стал орать:

— Войска! — хотя там никаких войск не было. — Танки вперед! Ура-а!!! Кавалерия! И потом всё — в корзину!

Захлопнул дверцу, и мы поехали дальше. Я обернулся и увидел ошалевшую киногруппу. Впереди, раскинув в недоумении руки, стоял Андрей Миронов. Он не увидел, кто это так орал, и, слава богу, не узнал меня.

Вот такой был Юлиан: ему нужно было всех ошеломить — и уехать. Но я его видел и в довольно драматической для него ситуации. Это когда почти всех награждали за участие в фильме «Семнадцать мгновений весны». А этому предшествовала такая история. Вячеслав Тихонов прочитал по телевидению незабвенные страницы из книг Леонида Ильича Брежнева, и тот сказал, что надо бы ему дать за это Звезду Героя Социалистического Труда. Но, видимо, помощники ему объяснили, что за это нельзя давать «Гертруду». И посоветовали ему посмотреть фильм «Семнадцать мгновений весны», где играет Тихонов.

Генсек-писатель соизволил посмотреть несколько серий, и они ему понравились. И вот — десять лет спустя после премьеры — стали награждать участников фильма. Семенова в списке награжденных не оказалось.

Потом мы сидели у него в номере гостиницы, и он со слезами на глазах говорил:

— Лёва, ты пойми — ведь это я автор, я все придумал, а меня как бы и нет!..

— Юлиан, не расстраивайся, — как мог, успокаивал я его. — Меня ведь тоже вычеркнули.

— Лёва, но ты ведь действующее лицо, исполнитель, а я — автор! Я вас всех родил!

О том, за какие прегрешения вычеркнули из списка меня, я уже писал, поэтому повторяться не буду. А Юлиана мне тогда было искренне жаль.

Потом он опять уехал за границу.

Я как-то зашел в соседний с домом магазин «Свет» — мне нужно было купить вращающуюся лампу. А продавщица говорит:

— Вы знаете, таких ламп сейчас у нас нет. Была одна, но ее заказал Юлиан Семенов. Она стоит у нас в подсобке, и мы ждем, когда он ее заберет.

— Ну, когда он придет, — постарался я убедить ее, — к тому времени у вас уже будут лампы. А эту продайте мне. Даю слово, он вас простит, когда вы скажете ему, что отдали Дурову.

Она долго мялась, но в конце концов я ее уговорил, и она продала мне эту лампу. А через полгода я опять зашел в этот магазин и поинтересовался:

— А что Юлиан Семенов — приходил?

— Да. Я ему объяснила, кому продала, и он сказал: «А, Лёвочке! Это очень хорошо».

И вот когда я писал о нем эти заметки, для меня светила «лампа Юлиана», как я ее теперь называю.

Рассказывают, что, когда Юлиана познакомили в Париже с Жоржем Сименоном, он воскликнул:

— Жорж, а ведь мы с тобой тезки! Если наши фамилии перевести на французский, мы оба будем Сименоны, а если на русский — Семеновы!

Не знаю, понял ли француз эту шутку, но Юлиану, думаю, это было совершенно безразлично. Он был из тех, которых называют странными людьми и которые часто действуют под влиянием неких импульсов, отбрасывая в сторону соображения целесообразности.

Да, наверное, он все-таки был из этой породы — из породы «странных» людей.

Лёня Коробов был блестящий журналист, замечательный писатель-документалист и отличный рассказчик. Перед войной, будучи корреспондентом «Комсомольской правды», он брал интервью в Мюнхене у самого Гитлера. А когда в Москве открыли первую линию метрополитена, он, чтобы взять интервью у Сталина, прорвался через цепь охраны, впрыгнул в вагон вслед за Сталиным и Кагановичем — и дверь за ним закрылась. Чекисты остались с носом.

Оказавшись лицом к лицу с вождем всего прогрессивного человечества, Лёня во избежание недоразумений вытащил корреспондентское удостоверение, представился и сразу же взял быка за рога.

— Товарищ Сталин, — спросил он, пряча удостоверение и налаживая свой старенький фотоаппарат «лейку», — пожалуйста, ваше впечатление от метро?

Сталин поднял бровь и покосился на Лёню.

— Харашо работаешь, камсамолец. И как это тэбя нэ прыстрелили? — удивился.

Лёня не смутился (это был настоящий журналист — наглый и настырный):

— Значит, товарищ Сталин, метро вам понравилось?

— Паслушай, пачему ты мэня спрашиваешь? — начал раздражаться вождь всех народов. — Я здэсь хазяин? Я нэ хазяин. Здэсь таварищ Каганович хазяин. Вот у нэго и спрашивай.

Но спросить у товарища Кагановича Лёня не успел. Поезд остановился у первой станции, и его под белые руки вывели из вагона двое в штатском...

В то время Лёня был членом Осоавиахима (Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству). Учился летать и прыгать с парашютом. Один из воздушных парадов в Тушине открывало звено истребителей, которое вели представители трех поколений советских летчиков: Росинский — участник Гражданской войны, Чкалов — легенда 30-х годов и Лёня Коробов — будущее отечественной военной авиации. Говорят, Сталин остался очень доволен такой задумкой устроителей парада.

Потом, много лет спустя, когда Росинскому исполнилось девяносто лет, он вступил в партию. Лёня встретил его в одном из арбатских переулков, где тот жил в собственном рубленом

доме, который, как он говорил, ему подарил лично товарищ Ленин.

— Дед, — спросил Лёня, — чего это ты вдруг на старости лет в партию вступил?

— А-а, это ты, трёкало? — старый летчик уже плохо видел и слышал. — Вот ты окочуришься, и тебя поволокут на какое-нибудь Востряковское кладбище. А мое место теперь только на Новодевичьем.

— Так ты, оказывается, кладбищенский карьерист!

— Дурак, — сплюнул в бороду старик. — Меня еще Ленин назвал дедушкой русской авиации!

— Какой Ленин? — Тут у Лёни разыграло профессиональное честолюбие. — Это я тебя так назвал в «Комсомолке» после того тушинского парада! Забыл, что ли, старый?

Росинский еще раз сплюнул и отвернулся.

— Как ты был Лёнька-трёкало, так им и остался, иди отсюда...

А вскоре Росинский и представился. И неизвестно мне, где его похоронили...

С первых дней войны Лёня — военный корреспондент в действующей армии. Случилось так, что во время одного из боев комбат струсил и пытался бежать. Лёня пристрелил его и повел батальон в атаку. Бой был выигран, а Лёню за этот подвиг наградили орденом Ленина. После этого он четыре раза перелетал через линию фронта и выбрасывался с парашютом в расположении партизанского соединения Ковпака.

Пятый перелет мог стоить ему жизни.

На этот раз Лёня выбросился в районе лагеря Дмитрия Медведева, того самого, который опекал легендарного разведчика Николая Кузнецова и впоследствии написал замечательную книгу «Это было под Ровно». Лёня скрыл от Медведева, что прилетел со своей неразлучной «лейкой». Иначе ее просто бы разбили. Появляться с фотоаппаратом в строго засекреченном лагере? С ума сойти! Но Лёня никак не мог позволить себе упустить такой редкий случай и не сделать хотя бы несколько снимков. И он их сделал.

Он выбрал небольшой холмик, с которого весь лагерь был виден как на ладони, залег на нем и стал выбирать «сюжеты». Щелкнул несколько партизан, которые отдыхали у стога сена с автоматами на груди, еще несколько жанровых сценок и тут

увидел потрясшую его картину: в лагере появился сам Николай Иванович Кузнецов в форме немецкого обер-лейтенанта. К нему подошел улыбающийся Медведев, они пожали друг другу руки (эту сцену и запечатлел фотообъектив) и обнялись.

Тот, кто видел фильм «Подвиг разведчика», конечно же, запомнил образ главного героя, прототипом которого и послужил Николай Кузнецов. Он погиб в 1944 году в стычке с бандеровцами.

После войны Лёня стал готовить книгу воспоминаний и показал те старые снимки Медведеву. Когда Дмитрий Николаевич увидел их, его чуть не хватил удар. Он долго молчал, а потом перевел дух и сказал:

— Лёнька, ты сволочь... Жаль, что ты не попался мне с «лейкой» в лагере. Ты хоть представляешь, что было бы, если б самолет подбили и пленка оказалась у немцев?

— Как только мы взлетели, я положил кассету в рот, — объяснил Лёня. — Если что, я б ее разгрыз.

— И зачем я пустил журналиста в лагерь! — не мог успокоиться Медведев, но потом остыл. — Да-а, этим снимкам цены нет. Уникальные снимки! И всё же, если бы ты попался мне с ними тогда, не обижайся, но я бы все равно тебя пристрелил.

Но, слава богу, все обошлось, и Лёня умер своей смертью. Он много работал. Из-под его пера не выходили эпохальные романы — он ограничивался небольшими документальными повестями. Он не вылезал из дома до тех пор, пока не заканчивал очередной опус. И только после этого шел «спускать пар». У него были сотни друзей и приятелей во всех газетах, журналах и издательствах. Он всех любил, и его все любили, поэтому и обращались к нему просто: Лёня. Многие из его соратников по перу даже и не знали его отчества. Да и выглядел он молодожаво: сухощавый блондин, живой, подвижный и всегда веселый.

«Спускать пар» Лёня начинал с комбината «Правда» и уже оттуда постепенно продвигался к своему дому. Последней его точкой был журнал «Библиотекарь», который располагался во дворе Ленинской библиотеки. Сюда он заявлялся «на бровях» и отметить встречу с соратниками уже, как правило, не мог. Друзья сажали его на такси и транспортировали к родному очагу.

Эти выходы «в люди» не остались незамеченными. Лёня сперва пытался оправдываться: мол, когда он работает и неделями не высовывается из дома, его никто не видит, а стоит только расслабиться, как тут же начинаются укоризны. Наконец, когда ему уже надоело объясняться, его вдруг вызвал к себе Генеральный секретарь Союза писателей Александр Фадеев и стал стыдить и говорить что-то о моральном облике писателя... Лёня выслушал его внимательно и вздохнул.

— Сан Саныч, — сказал он, — ведь невозможно работать. Я живу напротив Донского кладбища и из окна вижу высокую трубу... Ведь хочется написать что-то оптимистическое, в духе социалистического реализма. И только сосредоточишься, как из трубы: пфф! — клуб черного дыма. Вот и еще одного человечка нет... Ну где ж тут заразиться трудовым пафосом?!

— Хорошо, — успокоил его Фадеев, — я попрошу, чтобы тебе помогли сменить квартиру.

И действительно помогли. А через два-три месяца Фадееву снова докладывают: никак не утихомирится ваш Коробов и на новой квартире! Фадеев осерчал и снова призвал Лёню к себе. И опять Лёня выслушал внимательно горячую проповедь писательского начальника — и опять вздохнул.

— Сан Саныч, — сказал он, — ведь невозможно работать. Из своего окна я вижу высокую трубу...

— Хватит про трубу! — оборвал его Фадеев. — Ты мне о ней уже рассказывал.

— Нет, Сан Саныч, — мягко возразил Лёня. — То я рассказывал про трубу Донского крематория, а это другая труба — на Хованском кладбище. Теперь я вижу из окна ее.

— Идиоты, — тихо выругался Фадеев и стал кому-то звонить.

Через некоторое время Лёне дали квартиру — на Ленинском проспекте. Теперь друзьям было удобно транспортировать его до дома: недалеко и все время по прямой. А Лёня сохранил о Сан Саныче самые теплые воспоминания.

Как-то он пришел в ресторан Центрального Дома литераторов, подсел к товарищам за столик и долго молчал.

— Что-нибудь случилось? — спросили его.

— Случилось... Несправедливость случилась. Был я сейчас на Новодевичьем — по ребятам соскучился. И ходил я между

могилками, ну как вот здесь между столиками хожу. Знакомые всё лица! Вот сидит... виноват, улыбается мне с портрета Григорий Маркович Ярон. Какой артист был! А вот... Да, господа, всех рассадили... виноват, положили рядышком, чтоб не скучно им было, чтоб можно словом переброситься. А Сан Саныча-то за что? В уголок, отдельно от всей компании. Как будто все они сейчас не равны перед Богом. Обидно!...

Еще раз хочу подтвердить свои слова о том, что дружба — трудная работа.

Есть у меня замечательный друг академик Александр Лагуткин. Он занимается связью. Понятно, что ученый постоянно занят и у него нет ни минуты свободного времени.

И вот понадобилась тут одному не очень здоровому человеку помощь, связанная с квартирным вопросом. У него маленькие дети, а халупа в Перловке, где он живет, совсем развалилась. Ему из года в год обещали квартиру, и этим обещаниям нет конца. Я позвонил Лагуткину, объяснил ему суть дела и извинился, что отвлекаю его.

— Лёвочка, — сказал он, — нужно? Значит, едем.

И мы поехали — Лагуткин, Евдокимов и я — по чиновникам в какой-то подмосковный район. Ну какого академика в наше время можно оторвать от дел, попросить сесть в машину и ехать куда-то, чтобы помочь совершенно незнакомому человеку!

А ведь встречаемся мы редко, но когда встречаемся, такое ощущение, что никогда и не расставались. Знаю его очень напряженные рабочие дни, но если возникнет нужда, я опять обращусь к нему за помощью и верю, что он никогда не откажет.

Вот написал я эти строки — и зазвонил телефон. Снимаю трубку и слышу голос Лагуткина:

— Лёвочка, я слышал, ты кашляешь. Я здесь купил мед и подобрал кое-какие лекарства. Еду к тебе.

Вот что такое дружба. Слова участия, конечно, могут в какой-то мере утешить, но не более того. Помочь же человеку в трудный момент может только поступок — действенный и бескорыстный. Товарищеский.

Я заболел и попал в больницу. Заведение не самое лучшее среди других. Человек здесь начинает задумываться над жиз-

нью и смертью. Часто пациенты из палаты не уходят своими ногами — их увозят. Совсем. Под простыней, на тележке с маленькими колесиками.

И тут я встретил замечательных людей, которых теперь считаю своими друзьями: профессора Владимира Семеновича Работникова, Бронислава Драголюбовича Богуновича и Михаила Михайловича Алшибая.

Я понял, что они относятся ко мне не как к артисту. Не в этом главное! Просто у них невероятно человеческое отношение ко всем людям. Они идут на операцию как на необычайно ответственное дело: ведь в их руках жизнь человека!

Я могу бесконечно говорить об этих прекрасных людях, и у меня все равно не хватит слов благодарности. Я просто счастлив иметь их в числе своих самых близких друзей. Хотя, честно говоря, лучше не обращаться к ним за помощью, а просто оставаться друзьями. Больница — слишком серьезное заведение...

Я уже упоминал о своем прекрасном товарище Юрии Владимировиче Никулине. Прошло какое-то время после того, как он вызвал меня в Президиум Верховного Совета за получением ордена Трудового Красного Знамени, и меня приглашают в дирекцию театра. Там мне вручают шикарный конверт — весь в штемпелях и печатях. Вскрываю и вижу отпечатанное на машинке письмо на английском языке. Нашел переводчика, и тот мне перевел, что кинокомпания «Парамаунт» приглашает меня в фильм «Пятеро». И что из советских артистов предлагают сниматься еще господину Никулину. С американской стороны участвуют Пол Ньюмен и еще какой-то популярный артист, не помню. Я сразу все понял и позвонил Никулину.

— Владимирыч, — сказал ему, — больше ты меня не купишь. Кончай свои розыгрыши.

— Ты о чем? — спрашивает.

— О письме из Голливуда.

— Значит, ты тоже получил? — радуется Никулин. — И мне прислали. Не веришь? Сейчас я к тебе Макса с этим письмом пришлю.

Приезжает его сынишка и передает мне точно такой же конверт, в котором лежит письмо с переводом. В нем сказано, что господину Никулину предлагают роль в фильме «Пятеро»

и что из советских артистов предлагают еще роль господину Дурову и т.д. Звоню Никулину.

— Юра, — говорю, — извини. А я думал, ты разыгрываешь. Ну что ж, поедем, научим их, как надо работать.

Проходит неделя, никто не интересуется моими связями с США, и Министерство культуры молчит. Звоню Никулину:

— Владимирыч, ты чего-нибудь получал еще оттуда?

— Нет.

— Тогда ну их к черту! А то дома уже все волнуются, когда дед поедет чего-нибудь привезет.

— Не поедем, — соглашается Никулин.

— Не поедем — пусть прозябают.

Никулин помолчал немного и спрашивает:

— У тебя конверт далеко?

— Вот он, — говорю, — на столе.

— Возьми его в руки.

Я взял.

— Там есть большая треугольная печать? — спрашивает.

— Есть.

— Прочти, что на ней написано!

— Так там же по-английски.

— Но буквы-то ты знаешь, вот и читай.

Я читаю. А там написано английскими буквами: «Счастливого пути, дурачок!»

А познакомился я с Юрием Владимировичем, когда он был еще подставным в цирке. Подставной — это свой человек в зале. Когда артисты на арену приглашают кого-нибудь из публики, подставной тут как тут, и с ним начинают валять дурака. Однажды я задал Никулину, уже известному артисту, вопрос:

— Ты знаешь, какой самый смешной номер был у тебя в цирке?

— Конечно, — сказал он не задумываясь. — Когда я был подставным.

Он это прекрасно помнил. Меня же при одном лишь упоминании этого номера охватывает приступ смеха. Я хохочу ужасно, до колик. А тогда весь цирк не только сотряснулся — он просто выл!

Это был общественный просмотр новой цирковой программы. Собрались артисты, режиссеры, работники культу-

ры — ведь все любят цирк. И вот отъездили туркменские наездники в белых папахах и стали вызывать кого-нибудь из публики:

— Кто хочет стать артистом? Ты хочешь? Ты?

Все, конечно, упираются. И тут поднимается какой-то парень. Вид чудовищный: засаленный бушлат, кирзовые сапоги, из-под застиранной ковбойки выглядывает рваная тельняшка, мичманка — со сломанным козырьком. Этот портрет во всех деталях я помню до сих пор. Как будто он сейчас стоит передо мной.

Рядом с ним сидела его жена. Как потом я узнал, это действительно была жена Никулина, Татьяна. Она была одета так, как одевались все тетки в ту пору: замотанная платком и с огромной авоськой с апельсинами и колбасой. Она дергала супруга за рукав и ругалась:

— Куда поперся? Какой артист? Сиди на месте!

А он шевелил губами, и все понимали, что мужик матерится. И вот он, озираясь по сторонам, вышел на арену.

Конечно, если бы это был не Никулин, не было бы и никакого эффекта.

Когда он вышел на арену и в ужасе стал смотреть на зрителей своими испуганными собачьими глазами, постепенно начал нарастать хохот.

Потом его пытались посадить на лошадь, но он перекидывался через нее и падал лицом в опилки. Его сажали с другой стороны — он снова переваливался и падал. Ему что-то попало в рот, он вытащил и долго-долго внимательно рассматривал. Опять жевал. А Татьяна кричала:

— Жуй, жуй — это из лошади!

Началась просто истерика — цирк выл! А когда его все-таки посадили, да еще задом наперед, и лошадь поскакала, он схватил ее хвост и прижал к груди. И это сочетание растерянного Юриного лица и необыкновенно чистого розового лошадиного крупа убило весь цирк. Потом с его ноги свалился сапог и начинала разматываться длинная разноцветная портянка. Юру выдергивали из седла лонжей, роняли, и он опять падал в опилки.

Цирк уже выл, зрители сползали с кресел, издавали какие-то нечленораздельные звуки, хрюкали. Напротив меня сидел в ложе Михаил Иванович Жаров. Я и не мог представить, что

он такой смешливый. Он чуть не вываливался из ложи, смеяться уже не мог и только хрюкал и почему-то всему цирку показывал пальцем на Никулина, будто кроме него его никто не видел. И все орал:

— А-а! А-а! А-а!

У меня часто случается такое: рассказываешь в гримуборной о ком-нибудь, и в этот момент входит тот, о ком рассказываешь. Тогда я обязательно говорю:

— Ну что вы! Он такой идиот! — И мгновенно наступает тишина.

Вот и в цирке подобное случилось с Жаровым. Вдруг между приступами хохота наступила секундная пауза, и в это время Жаров на весь цирк заорал:

— Ой, я опёрся!

Наконец измотанный Никулин покидал манеж, пробирался к своей супруге, она колотила его авоськой с колбасой по голове, и они убегали.

Во время антракта началась давка у туалетов. Никто не разбирал, где женский, где мужской. Все лезли друг на друга, орал:

— Пусти, я не могу!

Это было что-то страшное.

Когда мы выходили из цирка, я оказался рядом с Марией Владимировной Мироновой и Александром Семеновичем Менакером. И Миронова все говорила:

— Саша, Саша, не смотри на меня, не смотри!

Потому что стоило только встретиться с кем-то глазами, как начинался дикий хохот.

А у меня после этого целый месяц все болело: не мог ни кашлять, ни смеяться.

Спустя много времени мы с Андреем Мироновым играли в спектакле «Продолжение Дон Жуана». И вот опустился занавес, и Андрей мне говорит:

— Сегодня день моего рождения. Поехали ко мне.

Приехали. И мы с Марией Владимировной вспомнили о том цирковом представлении.

— А-а! — закричала она и выскочила из комнаты.

Потом вернулась и сказала:

— Лёвочка, разве можно такое напоминать? У меня даже живот судорогой свело.

А потом мы с Юрием Владимировичем вместе снимались в кино. Первый раз это было в картине «Старики-разбойники», где я играл маленькую роль водителя инкассаторской машины. С этим фильмом связана такая интересная история.

Одну из сцен должны были снимать в таксомоторном парке. Только мы въехали в ворота, как к нам подошла группа ребят — они ждали нас. Говорят:

— Юрий Владимирович, здравствуйте! Дайте, пожалуйста, ключи от машины. Мы ее сами отгоним и поставим.

У Юры была тогда «Волга». Они забирают ключи, садятся в машину и уезжают. После съемки, которая длилась фактически целый день, мы стали собираться домой. Тут снова подходят эти ребята:

— Юрий Владимирович, возьмите ключи, пожалуйста. Вон ваша машина.

Мы сели, и Юра стал ее заводить.

— Стоп-стоп-стоп! — закричал он вдруг. — Что-то не так!

А ребята все стоят, улыбаются. Юра вышел и спросил:

— Ребята, вы что-то делали?

Они отвечают:

— Да нет, ничего, Юрий Владимирович.

Когда мы выехали с территории парка, Юра остановился, открыл капот и сказал:

— Лёва, они мне половину деталей на новые поменяли...

Вот такая к нему была необыкновенная любовь. Каждый считал своим долгом сделать что-то приятное и полезное этому замечательному человеку.

Я был дружен с ним в течение многих, многих лет. И встречались мы с ним постоянно, так как служебный вход Театра на Малой Бронной находился напротив подъезда того дома, где жил Юрий Владимирович с женой Татьяной и сыном Максимом. И могу засвидетельствовать: его мудрая доброта была неизменной. Казалось, что, общаясь с ним, сам становишься и остроумнее, и добрее. Находясь рядом с ним, нельзя было быть ни хамом, ни грубым, ни колючим...

Просто нельзя — и всё.

...Началось с дурацкой шутки. Я шел за кулисами, и вдруг у меня перед носом распахнулась дверь репетиционного зала,

и из него выскочил Станислав Любшин, а за ним, с веником в руках, Олег Даль.

— Ах ты, мерзавец! — кричал Олег. — Он не помнит! Вот я тебе всыплю, так ты сразу вспомнишь! Негодяй!

Не раздумывая, я выхватил веник у него из рук и завопил:

— Ты чего орешь?! Чего ему вспоминать?! Я тебе сейчас так врежу, что ты сам всё на свете забудешь! Понял, сукин сын?!

И замахнулся на него веником. Олег бросился от меня бежать, а я, не переставая ругаться и пытаюсь достать его веником, — за ним. Мы выбежали на большую сцену, сделали круг и влетели в другую дверь репетиционного зала, продолжая играть начатый этюд. В зале — хохот. Наконец я выдохся, бросил веник и предупредил Олега:

— Еще раз повысишь голос — убью!

Я вышел. За моей спиной продолжали хохотать, и громче всех — Эфрос:

— Ду-ра-ки! Вот дураки!

— Да не дураки, Анатолий Васильевич! — возразил кто-то. — Вот так надо играть, а мы как дистрофики...

Через несколько дней ко мне в гримуборную заглянул Эфрос.

— Любшин уходит из театра, — сказал он. — А мне не хочется бросать работу. На, быстро прочитай, и сам все поймешь, — и положил на стол рукопись.

Это была пьеса Эдварда Радзинского «Продолжение Дон Жуана».

Содержание ее вкратце таково. Откуда-то из другого измерения на землю спустился Дон Жуан. Он же Овидий, он же Парис, он же Казанова, он же... такой обобщенный образ великого оболстителя всех времен. И он ищет своего слугу Лепорелло. Наконец находит и назначает ему по телефону свидание — ночью на пустынной площади.

Но Лепорелло уже и не Лепорелло, а Леппо Карлович Релло, деловой человек, фотограф из ателье. А заведует этим ателье Иван Иванович Командор, у которого красивая жена Анна, Дона Анна.

Дон Жуан и Лепорелло встречаются, и бывший слуга делает вид, что не узнает «этого гражданина», никогда не знал и знать

не хочет. А Дон Жуану необходимы воспоминания, ему хочется вспомнить всю свою жизнь. А заодно заставить и слугу вспомнить — свою. Лепорелло упорствует — ему совсем не хочется снова возвращаться «туда». Он прекрасно освоился на земле. Он человек дела, и ему хорошо.

И тогда Дон Жуан пощечинами и затрещинами напоминает ему, что он, Лепорелло, слуга и должен слушаться своего господина и повиноваться ему. Лепорелло сломлен и начинает перечислять все любовные истории Дон Жуана. Но, странно, обольститель помнит лишь глаза, объятия, тайные встречи, страстный шепот. Но не помнит, а скорее, не хочет вспоминать удары своей шпаги, стоны умирающих соперников, кровь, горе обманутых отцов и мужей: «Я убил?! Разве?! Не помню, не помню!» И Лепорелло понимает, что это уже не тот Дон Жуан. Это уже не тот хозяин, требования которого он безропотно выполнял, перед которым трепетал от страха. В нем осталось только романтическое начало! Он не боец — он поэт. Он слаб. А значит...

И Лепорелло начинает действовать. От его наглости умирает, хватаясь за сердце, Командор. Дона Анна становится женой этого Релло, а Дон Жуан — его слугой. Человек дела побеждает! А как же иначе. Деловые люди — хозяева жизни, а не эти восторженные хлюпики. Вот такая история.

Звоню Анатолию Васильевичу.

— Замечательная пьеса! А кто кого играет?

— Ну, ты — Лепорелло, Дона Анна — Ольга Яковлева, Командор — Лёня Каневский, Проститутка — Лена Коренева. А кто Дон Жуан, не знаю. Думай.

Начинаю думать, перебирать в памяти актеров — всё не то! А через два дня Эфрос подходит ко мне и говорит:

— Лёвка, я придумал — Андрей Миронов! Я ему уже передал пьесу. Ну как?

— Да уж лучше не придумаешь, — говорю. — Только бы он согласился.

— Да он согласился не читая! Давно, говорит, хотел с вами встретиться.

Спустя пару дней мне позвонил Андрей.

— Лёва, — говорит, — это я, Миронов. Очень рад, что мы будем работать вместе. Только почему-то Эфрос вызывает ме-

ня одного. Я у него спрашиваю: «А где Дуров?» А он отмахивается: «Я его позже вызову. Он всё знает». А что ты знаешь?

— Да ничего, — говорю, — я не знаю. Просто Эфрос хочет привыкнуть к тебе и чтобы ты тоже привык к нему.

И наконец мы встретились все вместе. У меня было такое ощущение, что мы работаем с Андреем давным-давно. Репетиции проходили весело, мы валяли дурака, импровизировали.

— Все правильно, ребятки, — говорил удовлетворенный Эфрос. — До премьеры.

— Нет, Анатолий Васильевич, — возражал Андрей. — Давайте еще раз. Я хочу закрепить.

Мы повторяли сцену, и снова Эфрос хвалил нас. Но Андрею все было мало.

— Давайте еще повторим, — просил он.

Иногда мы одну и ту же сцену повторяли много раз. Андрей вкалывал по-настоящему, въедливо, кропотливо. Он выверял каждую мизансцену, каждую реплику. Часто мы заканчивали репетиции мокрые и выпотрошенные. Кажется, всё, до завтра! Но Андрей снова просил:

— Анатолий Васильевич, давайте поговорим. Я хочу кое-что уточнить.

И так — каждый день. Он фиксировал все нюансы, родившиеся на репетиции, многое записывал. А перед следующей репетицией заглядывал в свою тетрадочку, сверяя по записям игру.

Это уж я потом узнал, что он тяжело болен. У него был жуткий фурункулез. Играл он бесподобно, с полной отдачей, не щадил себя. А после спектакля, когда переодевался в гримуборной, у него вся рубашка была в крови...

Когда мы играли, я забывал, что это больной человек и что к нему следует относиться очень бережно. Да нет, не забывал! Он своей игрой заставлял забывать, что он болен. И всем своим поведением давал понять: «Это у вас могут быть какие-то болячки, а у меня как раз всё в порядке и ничего не может быть»...

Приближалась премьера, пошли прогоны. Мы уже окончательно притерлись друг к другу. А Андрей на каждой репетиции все что-нибудь прибавлял, начинал плести свои «мироновские» кружева.

По ходу пьесы я накрывал стол проголодавшемуся Дон Жуану. Вынимал из кармана банку консервов, открывал ее и ставил перед Андреем. Он долго рассматривал содержимое, осторожно пробовал и спрашивал:

— Что это?

— Мелкий частичек в томате, — валяя дурака, отвечал я.

— И вы это едите?

— Давайте я уберу.

— Ты что? Пошел вон! — орал он на меня. — Я ничего подобного никогда не ел!

И на глазах у публики с завидным аппетитом, восторгаясь и причмокивая, съедал всю банку. Незатейливая находка, но он играл эту сценку с таким изяществом и у него в это время были такие наивные детские глаза, что зрительный зал взрывался аплодисментами.

А в финале он всех потрясал. Там повторялась сцена, которая была в начале, только теперь хозяином был Лепорелло. Надо было видеть трагические глаза Андрея, в которых затаилась мольба: «Не надо бить меня...»

Сломленный, подавленный Дон Жуан поднимал с пола портфель и покорно шел какой-то шаркающей старческой походкой за Лепорелло, который победоносно вел под руку теперь уже свою Дону Анну.

Премьера прошла прекрасно. Маленький зал (спектакль шел на Малой сцене), вмещающий всего семьдесят человек, был забит до отказа. Зрители сидели в проходах на полу. И никто не роптал и не жаловался на тесноту. А ведь помимо обладателей билетов в зале было еще не менее шестидесяти человек! И так — каждый спектакль.

Однажды прибежал взволнованный директор:

— Ребята, что делать? Там приехала целая группа космонавтов. Стоят у служебного входа. Спрашивают вас.

Мы с Андреем побежали вниз. За стеклянной дверью толпились народные герои, для которых тогда все двери были открыты настезь.

— Дорогие товарищи, — говорим, — зал забит до отказа. Не выгонять же кого-то из зрителей!

Нас, кажется, поняли. В дверь протиснулся один Гречко. Остальные посмеялись и ушли. А после спектакля Гречко зашел к нам мрачный.

— Что, — спрашиваем, — спектакль не понравился?

— Да нет, — говорит, — спектакль блестящий, и играете вы лучше некуда. Только как мне домой возвращаться? Жена-то моя за дверью осталась.

Мы позвонили ему домой, извинились перед ней и пригласили на следующий спектакль. Она все смеялась:

— Надо же — жену забыл! Ну, получит он у меня!

А на одном из спектаклей появился известный американский продюсер Пап. Ему тоже не нашлось места, и для него поставили стул, чуть ли не у нас на носу. Такого зрителя мы еще не видели. Он не умолкая хохотал во все горло, аплодировал, не жалея ладоней, сползал на пол, держась за живот, и все время апеллировал к зрителям, как Жаров в цирке: мол, вы видите, что происходит?!

После спектакля Пап пришел в гримуборную Андрея. Обнимал его, что-то восторженно выкрикивал, вытирал слезы. И тут же заявил, что приглашает нас в гастрольное турне по всем столицам Европы, а потом по Америке.

Тогда мы подумали, что он говорит это для красного словца, от избытка чувств. Но через несколько дней действительно получили от него официальное приглашение. Конечно, мы обрадовались, но радость наша оказалась преждевременной. Заместитель министра культуры заявил, что с этой антисоветчиной мы поедем за границу только через его труп. Он остался жив — мы никуда не поехали.

До сих пор не могу понять, какое отношение имели Дон Жуан и Лепорелло к советской власти.

А как-то Андрей зашел ко мне в гримуборную и сказал:

— Дай прежде слово, что ты у меня не отберешь то, что я тебе сейчас покажу.

— Конечно, даю.

— Ведь ты даже не знаешь, что очаровал всех парижанок.

И он положил передо мной роскошный темно-зеленый буклет с золотым тиснением. Это оказалась программа нашего турне по Европе. В ней говорилось, что маленькая блестящая труппа во главе с выдающимся режиссером Эфросом триумфально закончила свои выступления в Париже и отправляется в Стокгольм, где ее ждет не меньший успех. Дальше упоминались Осло, Западный Берлин и т.д.

— Что это? — спросил я.

— Что видишь. Пап был абсолютно уверен в нашем успехе и заранее напечатал этот буклет. Он звонил мне из Европы, и я объяснил ему, что нас не выпускают. «Что они делают?!» — закричал он и, кажется, заплакал... Идиоты! — И Андрей вышел, хлопнув дверью.

Эфрос не пропускал ни одного спектакля. Он нервно ходил за кулисами и ждал нас.

— Ну как? — задавал он всегда один и тот же вопрос, и Андрей каждый раз отвечал:

— Я играл блестяще, и Лёвка мне не мешал. Да всё хорошо, Анатолий Васильевич, не волнуйтесь! Но, если честно, ваш Дуров мне играть не дает: тянет одеяло на себя. Что поделаешь — ваша школа!

И мы, обнявшись, шли разгримировываться. А Эфрос улыбался нам вслед:

— Ду-ра-ки!

Это был спектакль общего счастья. Я не знаю, сколько раз прошел «Дон Жуан». Цифра все равно ничего не скажет. Просто — он был!

Я думаю, что роль Дон Жуана — одна из лучших работ Андрея Миронова: сплав его звонкого, хрустального, полетного таланта и трагизма, о котором постоянно говорил Анатолий Васильевич.

Не знаю, кто придумал циничную формулировку «незаменимых людей нет». Такого не может быть! Каждый человек незаменим. Даже сварливый сосед, который говорит тебе гадости или писает под дверь, — незаменим. Когда он умрет и появится новый сосед, он покажется тебе скучным — и не поругаешься с ним толком. Будешь жалеть о том, который ушел, потому что он был неповторим.

Всё, квас уехал!

Это моя любимая поговорка. Когда ситуация безысходная, когда что-то или кого-то теряешь, я говорю: «Квас уехал!»

Появилась эта поговорка довольно неожиданно. Я очень люблю квас. А у нас рядом с домом всегда стояла бочка с квасом. Однажды знойным летом, проходя мимо бочки, я захотел купить домой квас. Поднялся наверх, взял бидон, спустился и увидел, что вместо той бочки висит объявление: «КВАС УЕХАЛ». Увидеть это объявление для меня было, пожалуй, даже пост-

рашнее, чем увидеть в метро: «ВЫХОДА НЕТ». В метро выход, может быть, еще и найдется, а вот когда «квас уехал»... Ничего трагичнее в своей жизни я лично не знаю.

Каждый день я прихожу в Театр на Малой Бронной, захожу в репертуарную контору и встречаюсь с... Григорием Моисеевичем Лямпе. Вернее — с его портретом. Он, портрет, здесь не в память, а — просто без него нельзя: Лямпе всегда был здесь и будет. Он — незаменим.

У него было три имени: Григорий Моисеевич, Гриша и Гриня. Я имел право и честь называть его всеми тремя. Официально, за кулисами и в жизни.

Если кто запамятовал его лицо, напомним: в фильме «Семнадцать мгновений весны» он играл профессора Рунге.

Его все любили и продолжают любить. Спросите сейчас любого актера любого театра о Лямпе, и каждый скажет о нем самые замечательные слова. Гриша был не только замечательным актером, он еще и заведовал труппой. Сложная и неблагодарная должность. Заведующий распределяет роли, следит за участием каждого актера в спектаклях, дает возможность артистам подработать на стороне и т.д. и т.п.

Заведующего назначает директор, но выдвигается он из своей среды самой труппой. А выдвигают, конечно же, того, кому артисты полностью доверяют. Не знаю, был ли где лучший заведующий труппой, чем Григорий Лямпе. Его труппа была как бы филиалом ТВ. У него постоянно в каждом зальчике шли репетиции телеспектаклей. Он для всех находил работу.

И вот однажды он мне заявляет: «Уезжаю в Израиль». Я был страшно огорчен, потому что такой добрый, справедливый человек в наше время не такая уж каждодневность — это редкое явление.

Он уехал. И я думал, что больше мы никогда не увидимся: какой ветер занесет, какие пути заведут меня в эту страну? Но так случилось, что я уже не раз побывал там — и на съемках фильма «Мастер и Маргарита», и потом.

Я прилетал и звонил.

— Гриня! Это я, Лёвка!

— Ты откуда?

— Из Тель-Авива. Я прилетел с кино. Я в гостинице...

— Какой гостинице?! Ты что, спятил? А ну быстро к нам!

— Гриша, да у тебя и так... Я же знаю, кто бы ни приехал — все к тебе.

— Все?! Ты мне кто — все?! Да я и слушать не хочу! Катя, скажи ему...

Трубку берет его жена Катя и спокойно, но властно:

— Лёвчик, а ну-ка быстрее!

А потом дочь Алёна:

— Дя-дя Лё-о-ова, как я рада!

Сам не знаю, кем я был у них: дядей, племянником, дедушкой? Но я был родным. И гордился этим.

И вот я опять в их доме, и мы говорим, говорим, говорим... Вспоминаем, вспоминаем, вспоминаем...

Я видел его в двух спектаклях театра «Гешер»: в «Идиоте» и «Адам — бен келев». Он играл блестяще! А потом он приехал в Москву и показал отснятый на кассету свой бенефис. Это был вечер большого гордого Мастера. С прекрасным, но очень грустным финалом. Как предчувствие... Кто знал, что это — итог...

Весть о том, что Гриша лег в больницу, никто не воспринял как большую опасность. Кто не ложился! Как у всякого пожилого человека, у него был набор всяких болячек. А медицина... Не уверен, что там она лучше нашей. Может быть, аппаратура лучше. А специалисты-то почти все наши работают.

Я написал ему в больницу письмо:

«Ну вот, стоит мне уехать, и ты сразу начинаешь откалывать номера: что мне, совсем поселиться в Израиле?»

Гриня, я тоже сыграл генерала Иволгина, и неплохо. Не подвел тебя. Выйдешь из больницы — и давай ко мне на дачу под Загорск. Не так жарко, как у вас, и сельмаг рядом».

И в ответ получил письмо — наверное, одно из последних его писем:

«Друг мой! Вот видишь, как получилось: стоило, действительно, тебе уехать, как я заболел. И заболел серьезно. Насчет “Идиота” я очень рад. Я не сомневался, что ты превосходно сыграешь. Я ведь сыграл своего Иволгина, абсолютно памятуя и видя тебя: твоего Снегирева, твоего Чебутыкина.

Твое приглашение отдохнуть у тебя в Подмосковье тронуло меня. Я его не исключаю, если Бог даст сил и здоровья.

У меня тоже нет большего друга, чем ты. Обидно ведь: “Современник” здесь, а я в больнице. Пишет Алёна, я диктую. Твой Гриша».

А потом я узнал, что Григорий Моисеевич умер. Это был для меня сильный удар.

В свой последний приезд в Израиль я пошел к нему на могилу.

Кладбище. Пустыня. Невероятно палящее солнце. Пыль. И среди одинаковых камней стоит его камень, на другой стороне которого на русском языке написано: «Актер Григорий Лямпе». Я посидел на могилке, поговорил с ним.

Вспомнил, как в предыдущий приезд я не предупредил его, что прилетаю. Мне не хотелось его беспокоить, стеснять. Но очень хотелось увидеть.

Поднялся к нему на этаж, позвонил. Гриша открыл дверь и — «ах!» Я говорю: «Гриша, я в прошлый раз у тебя кепку забыл. А вот уже осень наступает, и я прилетел за ней». В коридоре незаметно вынимаю из-за пазухи кепку и делаю вид, что снимаю с полки. Надел, выскочил за дверь, спустился вниз, и с балкона услышал его голос: «Сво-оло-очь! Него-о-одяй! Где живешь?!»

Я ему крикнул, что в Москве увидимся. Не увиделись...

И вот я захожу в репертуарную контору и вижу на портрете лицо прекрасного актера, прекрасного человека, прекрасного друга. Он внимательно смотрит на меня своими добрыми грустными глазами. И я говорю ему: «Не грусти, Гриня. До встречи».

Люди, люди, люди... Добрые вы, мои люди. Это же вы — мои зрители, ради которых я выкладываюсь на сцене, в кино, на телевидении, потому что не могу обмануть ваших ожиданий.

Среди вас есть академики и шоферы, сантехники и ученые, рабочие, крестьяне и военные. Но я играю не для специалистов и профессионалов, я играю для людей, которые не потеряли еще веру ни в «чувства добрые», ни в прекрасные человеческие отношения.

Вот у меня есть хороший товарищ Александр Александрович Ким. Он не имеет никакого отношения к искусству. Он руководит дорожно-строительными работами. В его распоряжении одна дорожная техника — самосвалы, грейдеры, катки, и весь его материал — асфальт, гравий, щебенка, песок...

И этот, казалось бы, сугубо технический человек оказывается нежнейшей, интеллигентнейшей личностью, тонко чув-

ствующим театралом, не пропускающим ни одной премьеры! Он мне очень многим помог. А главное, помог понять своего зрителя. И я ему бесконечно благодарен за все это.

Еще у меня был хороший друг — гаишник. Мы подружались, когда я еще не думал ни о какой машине.

Ира Мирошниченко предложила довезти меня на своей машине из Внукова до дома. Едем. Она проскакивает один красный светофор, другой, и я говорю:

— Что ты делаешь?

А она мне:

— Ничего, ничего, все нормально.

Опять проскакивает красный светофор. И я снова прошу ее остепениться:

— Ира, ну что ты делаешь! Ты кончишь плачевно.

Гляжу: от тротуара медленно отделяется инспектор ГАИ и пересекает дорогу.

— Вот это за нами, — говорю ей.

— А, ерунда!

— Вот посмотришь.

Смотрим. Останавливает нас этот инспектор и очень вежливо, интеллигентно говорит:

— Знаете, вы уже третий раз проскакиваете на красный свет светофора. Если уж вы не жалеете себя, то пожалейте тех, кто может попасть под вашу машину, кто может столкнуться с вами. Прошу ваши права.

Она дает ему права, он смотрит и удивляется:

— О, у вас уже здесь есть дырочка! Придется составить протокол. — И уходит к своей машине.

— Ну, доигралась? — спрашиваю.

Ира, видно, думала, что ее моментально узнают и все обойдется. Делать нечего, вылезая из машины и иду к инспектору.

— Что, заступаться пришли? — не поднимая головы, спрашивает он.

— Ну, командир, — говорю, — что тут поделаешь... Женщина!

— А-а, — говорит он мне, — она думает, что артистам все можно? — Поднимает голову и смотрит на меня. — О, Дуров, здорово! Ладно, отдай ей права и скажи, чтобы была поосторожнее, а то она очень уж рискованная.

— Слушай, — говорю, — приходи к нам в театр.

— Да некогда все, — пожимает он плечами. — А впрочем...

Я дал ему свой телефон. Через какое-то время он позвонил, и я пригласил его на спектакль. Ему понравилось, и он стал частенько наведываться к нам. Оказался очень интересным человеком. Мы дружили с ним много лет. Попадали в разные интересные ситуации. Всякое бывало. Между прочим, когда я приобрел машину, он стал моим первым учителем по вождению. Вот тут уж я выкозюливал! Потом его перевели в другое место, и наша связь прервалась. Но у меня остались о нем самые добрые воспоминания.

Всякие истории и байки травят не только актеры. Но я что-то не слышал, чтобы в каком-нибудь ЖЭКе или НИИ существовала Академия травильщиков. Нам, актерам, сама профессия велит постоянно играть: выдумывать этюды, произносить монологи, фантазировать или, лучше сказать, импровизировать. Это своего рода тренировка профессиональных навыков.

Мы травим в компаниях, в дружеских беседах, да везде, где собираемся больше одного: один рассказчик, один слушатель — и этого вполне достаточно. Я рассказывал многим о многом. И вдруг увидел, что мои рассказы возвращаются ко мне в газетных и журнальных публикациях, в пересказах других людей, но в искаженном виде — совсем не в том, как рассказывал я. Иной раз я их просто не узнавал.

И это тоже одна из причин, по которой я решил написать книгу: пусть все-таки будет хоть первоисточник, так сказать, канонический текст.

Один мой рассказ, под названием «Судьба», использовал даже мой друг Миша Евдокимов. Правда, в отличие от других, он не приписывал себе авторство, а всегда честно говорил:

— Так мне рассказал Дуров.

Эту историю, случившуюся с бабой Клавой, можно смело отнести к трагикомическому жанру.

Когда я жил у Филевского парка, то часто выходил туда гулять с маленькой дочкой Катей. Там все друг друга знали, раскланивались, хвалили чужих детей — всё как положено. И была там баба Клава, которая гуляла с внуком. Это была умная, необычайно полная женщина. Она жила в соседнем доме, который стоял перпендикулярно нашему.

И вот выхожу я как-то из дома и вижу: стоит на табуретках гроб, а вокруг маленькая толпичка людей. Я подошел поближе, смотрю — в гробу лежит баба Клава. Обычай такой: ставят

во дворе гроб, чтобы все знакомые могли проститься с покойником. Узнаю всех бабушек, с которыми она сидела на скамейке у подъезда и гуляла по парку.

Я простился с бабой Клавой и обернулся к мужчине, который стоял рядом.

— Жалко, — говорю. — Что с ней было-то — сердце?

— Да нет, — отвечает, — внук за жопу укусил.

И тут я вижу — на углу дома, в кустах, стоит толпа побольше. Я думал, люди в ней рыдают, а они хохочут. Мне это показалось странным, и я подошел поближе. Гляжу, мужики слезы вытирают.

— В чем дело? — спрашиваю.

— Ну, вам, видно, уже сказали...

— Сказали, — говорю, — но что-то странное.

И тогда мне один мужик пояснил:

— Ну, у нас, как и у вас, коридорчики совсем узенькие, и в туалет не сразу влезешь. А баба Клава-то женщина была полная. И чтобы протиснуться, она сперва принимала подготовительную позу, а потом уже задом входила в туалет. Вот она приготовила свою позу и не заметила, что на унитаза сидел ее внук. И когда он увидел, что на него надвигается что-то большое и страшное, он испугался и с перепугу укусил бабу Клаву за задницу. А уж бабу Клаву, тоже от испуга, хватил инфаркт, и она тут же скончалась.

Вот уж действительно и смех и грех. И живет теперь вместе с нами этот внук-убийца, которому, конечно же, не рассказали, что его родная бабушка скончалась от его зубов.

Здесь Евдокимов добавлял от себя замечательную реплику: «Видишь, укусил вон куда, а отдалось где? Судьба...»

Нет, все же удивительная у нас страна — в ней всё на контрастах, парадоксах, крайностях!

Я недавно был в Канаде — и ни разу там не улыбнулся! Там никто не шутит, никто не улыбается, никаких анекдотов, никаких дурацких ситуаций. У них этого просто не может быть. Не то что у нас...

Когда я играл Анастаса Микояна в фильме «Серые волки», мы поехали сниматься в Завидово — это правительственный

заповедник. Там начинается сцена охоты на волков. Никто, конечно, никаких волков не убивает. Их сшибают снотворным, обливают красной краской, и они спокойно лежат. Спят.

И вот стою я рядом со съемочной площадкой, и тут же какой-то человек в телогрейке топчется. А за отворотами телогрейки вижу на нем синий мундир. И солдатская ушанка сидит на нем как генеральская папаха. Весь подтянутый, красивый, и у него такое замечательное лицо: загорелое, здоровое. И его южный загар резко контрастирует с белым-белым снегом. Этот красавец молча топтался вокруг меня, пока я не выдержал и не спросил:

— Вы что-то хотите мне сказать?

А он и спрашивает:

— Константиныч, ты знаешь, кто я такой?

— Нет, — говорю, — не знаю.

— Я егерь Политбюро.

— Прости, — говорю, — но Политбюро уже сто лет как нет.

— А вот про меня забыли.

Вытаскивает трудовую книжку и показывает. Читаю — действительно: «Главный егерь Завидовского заповедника».

— Вот, — говорит, — вы про Хрущева тут снимаете, а ты знаешь, что Хрущев мне чуть всю жизнь не искалечил? Сейчас поймешь, о чем речь.

И пока он рассказывал мне свою историю, я и плакал, и губы себе перекусал. Перескажу эту историю так, как я ее запомнил.

«Помнишь, — начал он свой рассказ, — когда Вальтер Ульбрихт был у нас в России самым дорогим гостем? Никита всегда встречал его как родного. Уж и не знаю, чего он так любил его. Бог с ним. И вдруг звонок: Хрущев с этим Ульбрихтом приезжают на заячью охоту. А зайцев у нас в заповеднике нет! Что делать?

Ну, мы привыкли ко всему. Приезжают члены Политбюро, им солдаты выталкивают оленей, кабанов, кому что нужно. Они их стреляли и хвастались потом своими охотничьими трофеями.

Делать нечего, поехал я в соседнее хозяйство, поменял на бутылки зайцев и привез их в клетке. А зайцы, паразиты, ока-

зались очень хитрыми и умными. Они ночью умудрились открыть эту клетку и удрали.

Утром мне говорят:

— Слушай, главный, нет зайцев — все ушли.

— Братцы, — говорю, — что же будем делать?

А в это время слышу: “Вау! Вау!” — сирены орут. И едут с мигалками “членовозы”. Я выбегаю навстречу и, зная крутой характер Никиты, уже понимаю, что мне сейчас кранты. Вот машины останавливаются, и вылезает из своей Никита. Я поприветствовал его и тихонько:

— Никита Сергеевич, знаете, сейчас не сезон и зайцев в заповеднике нет.

Тут он побагровел и стал топтать ногой. Кричит:

— Как нет?! На Руси нет зайцев? Да я тебя сгною! У тебя дети попросят хлеба, а знаешь, что ты им дашь? Вот что ты им дашь!

И показывает определенный жест — что я им дам.

Короче, орал он, орал, орал, а потом и говорит Ульбрихту:

— Пошли!

И они зашли в охотничий домик.

Я стою и думаю: “Действительно, он меня, конечно, выгонит, а что я детям дам?..” И тут мне в голову приходит потрясающая идея.

Я вспомнил, что у нас в баньке висят заячьи шкурки. Какого черта они там висели — понятия не имею. Но я подумал: поймаем на помойке кота, зашьем его в шкурку и выпустим под стволы. Все равно руководители сейчас напьются и ни хрена не поймут. Так наш номер и пройдет.

Послал я ребят на помойку, они поймали одного голодного кота сеткой и зашили в эту заячью шкурку. Но, как известно, коты очень своенравные животные, самолюбивые и страшно обижаются, когда над ними измываются».

Здесь я перебею егеря и в подтверждение его слов расскажу историю своего кота Марта. Это был замечательный кот. Его кто-то выбросил из форточки в марте (отсюда и имя), мы его подобрали и выкормили из пипетки. Это был преданный дому кот.

А тут как раз юбилей Юрия Никулина, и мы с котом пошли его поздравлять. Март должен был читать приветственный адрес юбиляру. Я был уверен, что кот прочтет. Мы вышли с ним

на сцену, и, как я ни пытался заставить его читать, он отказывался. Я его стыдил:

— Как же так! Мы с тобой репетировали дома, и ты прекрасно читал. Ну тогда просто скажи Юрию Владимировичу, что мы поздравляем его с юбилеем. Ну, скажи!..

Кот, конечно, молчит. Тогда я говорю:

— Ну, скажи просто — Юра!

Он опять молчит. Мы уходим с ним за кулисы. У меня уже была приготовлена кровавая рубашка, а на теле мне нарисовали кровавые полосы. И через секунду я вылетел из-за кулис как бы истерзанный котом. Взял с пола приветственный адрес и зачитал его. Успех был ошеломляющий. Даже Карандаш сказал: «После Дурова я не выйду на сцену». Хотя у него поздравление было с живым крокодиллом.

Но мой кот Март жутко обиделся на публичное оскорбление и ночью исчез. Больше я его не видел...

Прошу прощения у егеря, что я его перебил.

«Так вот, — продолжал егерь, — когда мы зашили кота в заячью шкурку, его вроде как бы парализовало. Он, видно, не мог понять, что с ним делают. Получился этакий котозаяц. Он не бежал, не прыгал, а мог только ползти.

Значит, после этой процедуры иду я в охотничий домик. Стучусь. Захожу.

Никита увидел меня, нахмурился.

— Чего тебе? — спрашивает.

— Зайцы, — говорю, — появились.

— Ну вот! А ты говорил, что зайцев нет! Вальтер, пошли!

Они хватают ружья и выскакивают на крыльцо. И видят: ползет это чудовище — котозаяц. Они вскидывают стволы и — бах! бах!

И вдруг этот заяц: «Мя-а-у!» — и на сосну. Ульбрихт от такой сцены упал в обморок. А Никита орет:

— Второй раз Германию победили! Завалили немца!

Тут вызвали «неотложку», Ульбрихта увезли, а Никита еще три дня пил в этом домике. И каждое утро выходил, чтобы посмотреть на кота, который сидел на ветке и боялся спуститься вниз.

— Всё сидишь? — спрашивал его Никита и предупреждал охрану: — Вы мне этого зайца не трогайте. Не стреляйте в него. Он мне второй раз Германию победил!

На третий день “заяц” пропал, видно, все-таки сполз от голода на землю. А Никита, уезжая, все спрашивал и наказывал: — Вы запомнили его? Смотрите не стреляйте.

А потом по распоряжению Никиты мне выдали премию. Правда, не знаю за что.

А еще позже Никита рассказывал, как он был в больнице у Ульбрихта и тот сказал: “Никита, какой же дурак был Гитлер, что пошел на державу, где зайцы по соснам лазают”».

Я рассказал эту историю так, как запомнил. Потом ее где-то перепечатали и, как обычно, всё перепутали и переврали. Как переврали и другую историю, свидетелем которой я был сам. А если не верите, спросите любого из киногруппы, с которой в это время приезжала Галина Сергеевна Уланова в Осташково. Они снимали там в это же время фильм о великой балерине, которая родом откуда-то из-под Осташкова. Местные жители запомнили ее как прекрасную, скромную женщину, которая никогда не рассказывала о своих успехах, наградах, триумфах. Она просто говорила с людьми о жизни, о женских проблемах, о детях. И нельзя было даже заподозрить в ней великую актрису, неподражаемую балерину.

Так вот, вторая история, чем-то напоминающая первую, такова.

Мы в Осташкове снимали дом. А в те места каждый год приезжали иностранцы — охотники на медведей. Они платили за лицензию большие суммы, а если заваливали медведя, то должны были заплатить, коли не ошибаюсь, что-то около десяти тысяч марок (в основном приезжали немцы из Западной Германии).

Вот как-то приехал такой немец, поселился в гостинице Осташкова и ждет, когда ему найдут медведя в берлоге. Он живет, а медведя все никак не найдут. Нет медведя! А срок лицензии кончается, и заплаченные за лицензию деньги накрываются медным тазом. Что делать?

И тут кто-то вспомнил: в соседнем городе гастролирует цирк, и там есть медведь, у которого обнаружили катаракту и который поэтому уже не может работать, и его хотят усыпить. И умные ребята решили: все равно ему погибать, поедем возьмем его для дела.

Приехали, посмотрели. Медведь, действительно, сидит грустный в клетке. Ну, они расплатились за него водкой и привезли к себе.

Тут же доложили немцу, что наконец-то медведя прикормили на овсах и завтра надо идти на охоту.

Немец затемно залег в овсах со своим ружьем и ждет. Егеря сняли с медведя намордник и выпустили. Ну, мишка, наверное, подумал, что начинается спектакль, и пошел на задних лапах, как по манежу. А передними размахивает и кланяется во все стороны.

А рядом тропинка была, и по ней ехала дачница на велосипеде с авоськой, в которой лежали продукты. Она увидела этого медведя — брык! — бросила велосипед и кинулась бежать. Медведь не погнался за ней. Он спокойно подошел к велосипеду, сел на него и поехал...

Этот немец два месяца пролежал с инфарктом в реанимации в осташковской больнице. Потом его перевезли в Калинин.

Думаю, немцы надолго запомнили и заячью, и медвежью охоту.

Да что иностранцы! Для них всякое русское животное — экзотика. Но мне самому всю жизнь попадают странные животные. С отклонениями.

Вот помню случай, который произошел со мной, когда я еще учился в школе-студии. Однажды мы всем курсом выехали в Подмоскowie — к кому-то на дачу. Развеемся. И во время пирушки я увидел мирную буренку и решил изобразить перед ней тореадора.

Это уж потом, лет через тридцать, я прочитал, что корова опаснее быка, потому что она во время атаки глаза не закрывает, а быка тореро практически водят за нос.

Так вот, паясничал я перед этой буренкой, паясничал, ей, видно, это осточертело, и она прыгнула на меня. И я в тяжеленном дядюшкином пальто рванул стометровку, как Джонсон. Сзади что-то ударило по голове, я упал лицом в траву и решил, что меня забодали. Встал на колени и понял, что вдобавок ослеп. Пощупал лицо рукой — что-то не то. И снял с лица... засохшую коровью лепешку, на которой четко отпечатался мой барельеф, как посмертная гипсовая маска Петра Первого.

Однокурсники торжественно повесили «навозный барельеф» на гвоздик, открыв «буренкинско-дуровский мемориал».

А буренка, сказали мне, вовсе и не пыталась за мной бежать. Просто она не привыкла видеть фиглярство и прыгнула, чтобы пугнуть меня. А на «финише» я наступил на грабли, и удар пришелся точно по затылку.

Кто-то из студийцев запечатлел этот исторический момент. Это был прекрасный кадр!..

Однажды приехали мы со съемочной группой в деревню Гуши на озере Селигер. Там должны были снимать эпизоды фильма «Прощание». Все идет хорошо. Работаем. И вот ребята мне говорят:

— Лёва, ты вон в ту избу пойди. Там живет замечательная тетя Сима, она молоко парное дает с черным хлебом. Вкусно!

Я и пошел. Открываю калитку, вхожу во двор... Вдруг из-за угла выскакивает корова, по-собачьи бросается в мою сторону и... лает! Лает на меня, как пес цепной, и все движения у нее собачьи. Бог мой!

Вылетел я на улицу, упал в пыль. Вслед за мной выскакивает эта самая тетя Сима и орет — сначала мне:

— А, артист! Испугался! То-то же! — Потом корове: — Пойдем, Милка, домой!

И Милка, как собака, мирно пошла за ней.

Что же оказалось? Тетя Сима, сама алкашиха, и корову свою споила: каждый день подливала ей в пойло самогон. Хмельная корова общалась только с одним живым существом — с хозяйской собакой. С пьяных глаз и стала ей подражать. А потом у коровы высохло вымя, она вконец утратила «национальное самосознание», научилась лаять и бросаться на чужих.

Абсолютно уверен, что если с животными всегда можно договориться, то с людьми — и подавно. Неужели мы хуже животных? Вспоминаю случай в Бахчисарае, где мы снимали фильм «Иванко и Царь Поганин». Там медведь сорвался с поводка и со страшным рыком пошел на массовку. Все оцепенели, будто парализованные, боялись сделать хотя бы одно резкое движение. Мне, потомку великих дрессировщиков, ничего не оставалось, как выйти навстречу зверю. Я подошел к нему вплотную и, не повышая голоса, сказал:

— Ну как тебе не стыдно? Такой большой, здоровый и пугаешь мирных, беззащитных людей. Что они тебе сделали плохого? Ну подумай сам, и тебе станет совестно.

Медведь пробормотал что-то, опустил голову, повернулся и медленно побрел назад. Смутился? Наверное.

В молодости, когда я был совсем мальчишкой, я часто ездил в Махачкалу к своим родственникам. А у их соседей была собака Пулька о трех лапах. Она очень странно бегала, делала несколько прыжков, спотыкалась, кувыркалась через голову и опять продолжала бежать.

Я спросил у хозяйки, что с Пулькой случилось, и хозяйка рассказала мне грустную историю.

Во время войны в Махачкалу по ленд-лизу приходило через Иран по Каспию американское вооружение. Сюда же прибывали суда с американской тушенкой. А однажды пришла даже баржа с кокосовыми орехами. Орехи сгрузили на пирс. Они долго лежали огромной грудой и стали гнить, распространяя запах по всему городу. Кончилось тем, что их бульдозерами скинули в море. Тогда никто не знал, что это за продукт и что с ним делать. А американцы тоже не имели понятия, что мы едим и что нам нужно.

Так вот, о Пульке. Она тогда была еще о четырех лапах. Как-то она притащила раздавленную банку тушенки, и хозяйка эту тушенку ей и скормила. Собака была умная, она сообразила, что эти банки помогут им с хозяйкой выжить. И стала бегать в порт и воровать консервы. Хозяйка кормила Пульку и кормилась сама. Потом стала менять консервы на хлеб, на носильные вещи, и стали они жить с Пулькой более-менее сносно.

Но однажды часовой на складе обратил на собаку внимание и что-то заподозрил. И когда Пулька в очередной раз пришла за добычей и с банкой тушенки побежала через железную дорогу, он вскинул карабин и выстрелил. Пуля попала собаке в лапу. Часовой подумал, что пристрелил ее, а Пулька, придя в себя, приползла к хозяйке. Банку тушенки, которую уворовала, она так и не выпустила из пасти.

Хозяйка отрезала у Пульки отстреленную часть ноги, перевязала, и Пулька стала жить дальше.

Но — возненавидела военных. Свою ненависть к ним она проявляла так. Не гавкала на них, не рычала, но стоило мимо ворот пройти военному в ботинках — она кусала его за икры,

если в сапогах — подпрыгивала и хватала за ляжку. После чего ныряла под ворота — к себе во двор. Начинался скандал. Укушенный стучал в калитку, выходила хозяйка и удивлялась:

— Какая собака?

— Да она кусает прохожих! Меня вот только что укусила!

— Заходите, посмотрите — у меня никакой собаки и в помине нет!

Военный заходил во двор, осматривал. Действительно, никакого лая, никакой собаки.

— Ну, где вы видите собаку? Зайдите в дом. Пожалуйста. Ну что?

В самом деле, собаки нигде не было. Военный извинялся и уходил. А Пулька вылезала из-под крыльца, где вырыла себе нору и где пряталась после очередного своего «подвига» до тех пор, пока не уляжется скандал. Так она мстила за свою потерянную лапу.

Война давно уж закончилась, а она все мстила людям в погонах...

Как-то двенадцатилетний внук Ваня пригласил меня в Уголок Дурова, в Театр зверей, где у него должен был состояться дебют в качестве ассистента в номере с пеликанами и верблюдом Леопольдом. Перед представлением за кулисами собралась большая толпа. И тут раздался крик:

— Расступись, народ! Дорогу Яше!

Народ расступился, и в образовавшемся проходе появилось странное существо в шляпе — это и был любимец публики Яша. Обезьяна, увидев меня, остановилась, взвизгнула и бросилась мне на шею. Ошалевшего от радости Яшу с трудом удалось оттащить от меня. Клянусь, до тех пор мы с ним ни разу не встречались! А вот ведь признал одного из представителей династии Дуровых-дрессировщиков.

С кем у меня не складываются отношения, так это с лошадьми, хотя лошажник я старый, ездить верхом умею, лошадей знаю и чувствую хорошо. Это какое-то наваждение. Как только на съемках раздается команда «Мотор!», а я должен сесть на лошадь, она обязательно падает. Казалось бы, мы просто обязаны чувствовать друг друга: ведь в моем роду была зна-

менитая кавалерист-девица Надежда Дурова. Ан нет! Может, у меня какое-то особое биополе, не совместимое с лошадиным? Не знаю.

Когда я снимался в фильме «Не бойся, я с тобой!», то решил покататься верхом и выбрал, на свою голову, самую сноровистую лошадь. Она меня так лягнула, что я пропахал несколько метров, разворотил ограждение, врезался в дерево и сломал сук. Кое-как поднялся с седлом на шее.

Был в Большом театре танцовщик Коля Харитонов. Он любил выпить, и из-за этого его не взяли на гастроли в Америку. А жена, тоже балерина, поехала. Перед тем как уехать, она очень ругала Колю, когда подсчитала, сколько долларов они на этом потеряют.

Она уехала, а Коля с собутыльниками запил. Вдруг кто-то из друзей показал ему газету: Большой возвращается с триумфом. Коля в панике начал убирать квартиру: выносить бутылки, окурки, консервные банки и прочий мусор. А когда стал мыть полы, разделся догола.

А у него был сиамский кот, о котором он совершенно забыл в длительном запое и который питался все это время, вылизывая консервные банки и подбирая остатки закуски. Он сидел мрачный на шкафу и смотрел, как голый Коля ползает с тряпкой на четвереньках. Что-то коту не понравилось — он спрыгнул и вцепился танцовщику в одно место. Коля взвыл, отпрянул и вцепился башкой в батарею.

Истекая кровью, позвонил в «скорую» и прошептал:

— Дом Большого театра... Квартира Харитоновых... Умираю...

Приехали врачи и увидели худое двухметровое тело на полу в грязи и крови.

Когда санитары несли его по лестнице на носилках, Коля открыл глаза, и пожилая докторша спросила:

— Что с вами?

Он сказал правду:

— Кот в яйца вцепился.

Санитары заржали и выронили носилки — Коля сломал ключицу. Все-таки довезли его до Склифосовского.

На следующий день приезжает жена и видит, в каком состоянии квартира: «Так и знала — пьянка, бабы...» И в заведенном

состоянии влетает в больничную палату. Коля, весь забинтованный-загипсованный, протянул к ней ручки, а она с размаху ахнула сумкой его по башке, забыв, что в сумке лежала стеклянная бутылка с пепси-колой. Проломила мужу височную кость, и ему делали трепанацию черепа.

Все-таки он выздоровел, но в театр не вернулся. Его затравили. Как кто из знакомых встречался, так сразу кричал ему:

— Коля, мяу! — И Харитонов шарахался в сторону.

В общем, он пропал как артист.

«Дрессировке не подлежит» — с такой характеристикой зарубежная фирма должна была доставить к советской границе слонику. Там ее предстояло принять представителю Театра зверей имени В.Л.Дурова. Встретить слониху приехала Наталья Юрьевна Дурова. Это понятно — прибывало редкое животное, требующее особого внимания. Слониху приобрели за валюту. Правда, стоила она относительно недорого. Объяснялось это ее агрессивным характером, проявившимся в Европе.

Наталья Юрьевна стояла у контрольно-пропускного пункта на пронизывающем ветру, а автофургона все не было и не было. Наконец машина появилась, но двигалась она очень медленно, несколько раз останавливалась. Когда автофургон подъехал, оказалось, что слониха в пути взбунтовалась: разгромила часть фургона и своим нежным хоботом выбросила на дорогу горячую печку, которой ее обогревали. Хобот был в ожогах. Слониха никого к себе не подпускала. Пограничники переглянулись и на всякий случай проверили свои автоматы.

— Стрелять не придется, — твердо сказала Дурова. — Главное — спокойствие, — и пошла к фургону.

В ее карманах, за пазухой пальто были морковь, бананы, сахар — самые желанные слоновьи лакомства.

Слониха коснулась вошедшего человека хоботом и осталась неподвижной.

— Bravo, моя крошка! — по-немецки сказала Наталья Юрьевна.

Знакомство состоялось. Слониху доставили в Москву в Театр зверей. Ввели в приготовленный вольер.

— Тебя здесь никто не обидит, — ласково говорила Дурова. — Тебя здесь будут любить. — И в ее интонациях и жестах

сквозило неподдельное сопереживание измученному дорогой, ожогами и ранами животному.

Предстояло изменить характер слонихи, завоевать ее доверие, найти с ней общий язык. Прошное должно быть забыто навсегда! Новое имя — новая жизнь. Каждый день Дурова приносила слонихе лакомства и ласково окликала: «Маша, Маша!» Наталья Юрьевна при всех своих многочисленных обязанностях директора и художественного руководителя каждый день несколько часов проводила с Машей — разговаривала, кормила, приучала. Понемногу начала с ней репетировать.

Маша освоила и исполняла различные трюки, в том числе традиционный для династии Дуровых. Его в свое время демонстрировал Владимир Леонидович Дуров. Заключался трюк в том, что слон перешагивал через артиста, который ложился на пол у его ног. Это один из самых опасных трюков народных игр в Индии. Решиться проделать такое со слонихой, несколько раз нападавшей на человека, было предельно рискованно. Но с Машей стали готовить этот трюк.

Вначале она перешагивала через лежащую перед ней подушку. В один из дней подушку убрали, на ее место легла Дурова. Прозвучала команда. Маша не двинулась с места. На пол была брошена пригоршня сахара. Лакомство не могло соблазнить ее сделать шаг. Она явно опасалась нанести вред своей хозяйке.

Но постепенно Маша освоила этот трюк. На представлениях ей вручали свернутый коврик, она разворачивала его на арене. На коврик ложилась Наталья Юрьевна, и Маша сосредоточенно переносила через нее свои огромные ноги. Потом поворачивалась и галантно протягивала хобот, чтобы помочь дрессировщице подняться.

Как-то, когда Наталья Юрьевна легла на коврик, а слониха уже подняла ногу, погас свет. Не светились даже аварийные лампы. Позже выяснилось — произошел сбой в подаче электроэнергии — во всем микрорайоне. В темноте прозвучал тревожный шепот ассистента:

— Что делать?.. Что делать?

Дурова, не меняя положения, тихо ответила:

— Ничего не делайте. Оставайтесь на месте.

Из темного зала, заполненного людьми, доносился тревожный ропот. Когда через несколько томительных минут вспых-

нул свет, слониха стояла уже с другой стороны от Дуровой и протягивала ей хобот.

Значит, в темноте она осторожно перешагнула, повернулась — исполнила все как положено и терпеливо ждала. Зал взорвался аплодисментами — наступила разрядка после нервного напряжения.

Было еще одно событие, в котором проявились привязанность и доверие слонихи к хозяйке. Обычно слонов демонстрируют на просторном манеже. На сцену, ограниченную кулисами, слонов не выводят: пол на сцене шаткий. Впервые в истории дрессуры слонов это животное, причем очень крупное, стало работать в замкнутом пространстве сцены. Был снят инстинкт боязни шаткого, не приспособленного для таких гигантов пола.

Каждый раз, когда Наталья Юрьевна приезжала в театр, Маша протягивала ей хобот и проявляла явную радость.

— Соскучилась? — спрашивала Дурова. — Я тоже соскучилась по тебе, мой верный друг!

А случай, происшедший со мной в Латинской Америке, наверное, все же связан с чертовщиной, с ведьмачеством. И животное здесь действовало под чьими-то колдовскими чарами.

Сам я к «потусторонним явлениям» отношусь скептически. Но однажды мой скепсис был подвергнут серьезному испытанию.

Это было в Мексике. Мы снимали фильм «Эсперанса». И как-то утром режиссер собрал всю русскую группу и говорит:

— Сейчас мы едем в город Катемака. Только что там закончился слет черных ведьм. Я умоляю отнестись к моим словам серьезно: если кто-то из вас вдруг заметит на себе пристальный женский взгляд — отворачивайтесь и бегите!

Провели мы в этой Катемаке нормальный рабочий день. А после съемок я решил сфотографироваться на память. Там в массовке снимался один местный парень на настоящей ковбойской лошади. Я попросил у него — для экзотики — сомбре-ро и пончо, нарядился и взгромоздился в седло. Эта лошадка была смиренная, рабочая, у меня — ни шпор, ни хлыста. Приосанился я и говорю кому-то из наших актеров:

— Фотографируй!

И вдруг моя савраска мексиканская начинает пятиться, пятиться... и втискивается вместе со мной в невероятно узкую

щель между какой-то бетонной стеной и толстенной пальмой! Резким движением поворачивает ко мне морду и со всего маху ударяется головой о пальму! Делает стойку и заваливается назад. Понимаю: всё, конец — сейчас на меня рухнет махина в полтонны весом... И мы падаем! Рядом!

На следующий день приходит ко мне в номер наш оператор Толя Мукасей и спрашивает:

— Слушай, когда вчера в Катемаке снимали, говорят, лошадь на тебя завалилась. И где ты лежал?

— Между бетонной стеной, — говорю, — и пальмой.

— Точно?

— Ну а как же! Я от пальмы отжимался что было сил и головой упирался в стену. А чем ты озабочен?

— Ты, — говорит, — там не мог лежать. Мне показали это место — там даже лошадь одна не помещается.

В ближайший выходной поехали мы с ним в Катемаку. Взяли операторскую рулетку. Замерили. Точно! Пространство настолько узкое, что там и жеребенок не уместился бы — ширина седла, не больше. Ни бетонную стену, ни пальму отодвинуть, сами понимаете, невозможно... Но я там лежал! Рядом с лошадьёю!

Режиссер объяснил невероятное происшествие так:

— В массовке явно была ведьмачка, это ее работа. Вы же громче всех подшучивали над моими предупреждениями. Вот она вас и напугала.

С другим артистом из нашей группы неприятность приключилась похлеще моей. У него, когда мы вернулись из Мексики в Москву, дикие боли в сердце начались. Просто умирал! Врачи ничего понять не могли, никакой болезни не находили. Продолжалось это около года. А потом ему один художник посоветовал, специалист по магии и чертовщине всякой: мол, в момент приступа постарайся как можно более ясно представить крест. Большой, деревянный. И пусть этот крест в твоём воображении вспыхнет.

Больной так и сделал. И все прошло. В одну секунду, после года бесполезного лечения и мучений.

Но я так до сих пор и не понял: то ли действительно мексиканские ведьмачки такие зловредные, то ли эта ковбойская савраска оказалась со странностями. Все-таки что ни говорите, а иностранные животные здорово отличаются от наших и характером, и поведением.

Вот с нами в семье живет кот Миша. Правда, он не лает, как корова тети Симы, но его и так все боятся: он огромный, как рысь, и умный, как человек. Мы долго не знали, что это за порода. А потом мне попался кошачий журнал, и выяснилось, что Миша — иностранец: «норвежский лесной». Представляете? Любит холод, ласки презирает. И все время норовит показать, кто в доме хозяин. К любому гостю прыгает на колени, сидит и смотрит прямо в глаза с таким выражением: «Ну, ты понял, к кому пришел? Ты не к Дурову в дом пришел, а ко мне. И веди себя соответственно».

Иногда я думаю: может, те мирные животные, которые меня чуть не забодали, не зашибли, мордой в свои «лепешки» тыкали, вовсе и не странные? Может, они мне мстят за то, что я изменил фамильной традиции? Ну как же! Два Дуровых, Владимир и Анатолий, прославились как цирковые артисты, великие дрессировщики, Наталья Дурова была руководителем Театра зверей. А я прервал эту традицию — ушел в драматический театр.

А вообще говоря, смертельные опасности подстерегали меня с самого детства.

Однажды, сразу после войны, один контуженый офицер стрелял в меня буквально в упор. Манией преследования страдал. Три пули просвистели в сантиметре от лица! Как он умудрился в меня не попасть — не знаю. Какой-то военный мимо проходил, прыгнул на этого сумасшедшего, повалил...

А когда в городе Переславле-Залесском снимали фильм «Не валяй дурака», я опаздывал на очередную съемку. Шел проливной дождь, и я мчался на своих «Жигулях» со скоростью сто сорок километров в час. И на таком ходу у меня вдруг взорвался баллон. Автомобиль сто метров крутило по шоссе — весь гравий снес! Как встречные машины от меня уворачивались, до сих пор понять не могу. С дороги улетел так далеко, что, когда потом машину вытягивали, одного троса не хватило. От шины только лохмотья остались. Но — пронесло.

Я вот ворчал на Иру Мирошниченко, что она очень рискованно ездит, а ведь и сам не могу ездить медленно. Нарушаю все, что можно нарушить. Друзья садиться ко мне в машину отказываются. Больше одного раза никто не выдерживает.

Я как-то Москву американской актрисе показывал — возил ее по городу целый день. Она потом директору нашего театра письмо прислала с такими строчками: «Кланяйтесь господину Дурову и передайте ему, пожалуйста: красный сигнал светофора означает, что нужно остановиться, а не ехать быстрее. Я хотела бы в следующий раз увидеть этого актера целым куском».

То же самое мне не раз пытались объяснить и гаишники. Но я нашел оружие против ГАИ — безотказное. Меня чуть ли не каждый день тормозят и, когда я выхожу из машины, узнают сразу же и говорят со вздохом:

— Ну, Дуров, что делать будем?

А я отвечаю:

— Милиционер, давай обнимемся!

Срабатывает моментально и всегда! Главное — не произносить пошлых фраз типа: «Командир! Не стыдно артиста грабить?» Меня один замечательный гаишник как-то раз на всю жизнь от такого обращения с милицией отучил. Знаете, что ответил?

— Лев Константинович Дуров! Я вас очень уважаю как профессионала. Позвольте же и мне быть профессионалом на своем месте! — А потом еще добил, крикнув вслед: — Берегите себя! Вы нам очень дороги!

А что — опасность? Так ведь судьба везде настичь может. И на сцене тоже, кстати сказать.

Мы с Лёней Каневским играли когда-то в пьесе Нила Саймона «Весельчаки» двух старых эстрадных артистов, которые всю жизнь ссорились. И вот на одном из спектаклей, как раз когда на сцене у героев разыгрывается очередной скандал, мимо наших с Каневским носов, едва их не касаясь, падает деревянный брус — двадцать сантиметров в ширину, семь метров в длину!

Я вижу, у Лёни ноги отнялись. Он стоит и слова сказать не может. Что делать? Перешагиваю через брус и, обращаясь к зрительному залу, говорю:

— Вот вам всем кажется, будто самое мирное место на земле — театр, а актер — самая безопасная профессия. Теперь вы поняли, что это не так?

И непонятно, кто говорит: Лев Дуров или герой пьесы, тоже артист. Многие, кажется, и в самом деле поверили: герой пьесы...

А в ложе сидел наш друг Слава Третьяк. После спектакля заходит он в гримерку и говорит:

— Ну класс, ребята! Этот трюк с бревном у вас гениально отработан. Как вы не боитесь? Такая махина рядом с лицами падает!

А когда мы ему объяснили, что на самом деле произошло, он весь белый стал. Это Третьяк! Мужественный человек, который, стоя на коньках, ловил «кирпичи»...

Поскольку я упомянул Третьяка, тут уж никак не избежать разговора о спорте.

Чем я только не занимался! Боксом, фехтованием, хоккеем, футболом и даже воздухоплаванием. Да-да, и не в качестве пассажира авиалайнера, — я самостоятельно вел воздушный шар с пассажиром на борту.

Но неизменная моя любовь, конечно же, футбол. Я играл за прекрасную команду Московского Художественного академического театра. Так она и называлась — команда «МХАТ». А о том, что она действительно была сильной, говорит хотя бы такой факт: во главе ее стоял капитан Николай Николаевич Озеров. Чемпион страны по теннису, в футбол он играл за первую клубную «Спартак». Его уважали все судьи, потому что он играл тактично, элегантно, был истинным интеллигентом на поле. Когда в игре создавалась сложная ситуация и судья вел себя некорректно, Озеров делал ему серьезные замечания, и судья ничего не мог возразить.

Мы играли за райсоветы на первенство Рабис — работников искусств. У меня даже сохранился диплом за второе место в этом первенстве.

Я играл очень цепко. Когда мы начинали проигрывать, Николай Николаевич — а тогда мы его звали просто Коля — говорил: «Оттянись назад». Это значило: уйди в защиту. И тут уж я стоял насмерть и никогда не допускал, чтобы противник прорвался к воротам. Поэтому и противник меня не жаловал и относился ко мне с нескрываемой неприязнью.

В команде «Красный факел» нападающим был Лобов, могучий малый. И так получилось, что в игре с этой командой я однажды «провалился». Смотрю, этот Лобов выходит один на один с нашим вратарем. Голевая ситуация! По моей вине! И тогда я разворачиваюсь и — за Лобовым. Но вижу: я его уже

не догоню. И думаю: лучше пенальти, чем чистый гол. А пенальти, может быть, еще и не забьют. Бросаюсь вперед, в прыжке хватаю Лобова за бедра — и оказываюсь на газоне. И тут вижу — что-то у меня зажато в руке. Лобовские трусы! Поднимаю голову, а впереди мелькает что-то розовое. А на трибунах стоит дикий хохот, и раздается свисток.

Лобов играл без бандажа и без плавок, и вдобавок у него была укороченная маечка. И вот в таком виде он продолжал бежать к нашим воротам. Что делалось на трибунах, нельзя и вообразить!

Команда «Красный факел» растерялась и, вместо того чтобы прикрыть товарища и надеть на него трусы, стала «вводить» его в трусы, как лошадь в оглобли. Потом всё же привели его в божеский вид, но с этого момента Лобов как игрок пропал. Как только он выходил на поле, все кричали:

— Лобов! Трусы держи!

А меня за хулиганские действия на поле дисквалифицировали. Но Озеров сумел доказать, что в моих действиях не было ничего хулиганского — произошел несчастный случай. И меня вернули на поле.

Смех смехом, а в историю футбола я все же вошел.

В том матче я играл в защите. И вот вижу — идут на меня такие же, как Лобов, два валуна, два нападающих. Создается ситуация, которая называется «коробочка». Это когда два игрока сходятся на игроке противника, он оказывается между ними и уже не может продолжать игру. Смотрю, чистая «коробочка». Озеров кричит:

— Осторожно!

А эти здоровенные прут как танки. Ну, думаю, сейчас они в порошок меня сотрут. А обгоняя их, идет на меня навесной мяч — ударяется о поле и летит в мою сторону. Я, не долго думая, оттягиваю на трусах резинку и ловлю этот мяч. Нападающие обалдели, затормозили и не знают, что делать, — мяч-то у меня в трусах! Пока они стояли с раскрытыми ртами, я проскочил между ними и рванул к воротам противника. Трибуны буквально осатанели!

И вот я, беременненький, бегу, а рядом со мной бежит судья. Смотрю на него, а он не свистит, — я ведь мяч-то руками не трогал! И он не знает, что делать. Вот такая ситуация.

Вот так мы с ним бежали, бежали, потом он все же свистнул. Мы остановились, и он говорит:

— Вынимай!

— Вынимайте сами, — предлагаю и стою животом вперед.

В конце концов, делать ему было нечего — он вынул мяч. И объявил почему-то «спорный». Ну, тут на трибунах такое поднялось!..

А через несколько дней мне дали вырезку из «Советского спорта». Там было сказано, что вот на стадионе «Локомотив» произошел курьезный случай: игрок команды «МХАТ» Лев Дуров неожиданно поймал мяч в форму (в редакции решили, видно, что слово «труссы» прозвучит неблагозвучно) и продолжал движение к воротам; судья долго не мог принять решение и наконец объявил «спорный». Наверное, писал автор, он был прав, так как игрок не касался мяча руками. По всей вероятности, предложил журналист, в футбольные правила надо ввести параграф, запрещающий игру формой. Так я нежданно-негаданно скорректировал футбольные правила.

А с воздухоплаванием у меня такая история произошла. Мы снимали картину под названием «День ребенка», где я играл гангстера. Во время детского праздника мы воровали ребенка, чтобы получить за него выкуп. Думали, что своровали принца, а на самом деле утащили нашего российского мальчишку. За нами — погоня, и я должен был сесть с этим мальчишкой в корзину воздушного шара, чтобы улизнуть от погони. Нужно было снять только взлет — самое начало полета.

Привезли этот шар и стали его накачивать горелками. А надо сказать, спортивная команда воздухоплавателей, которая помогала нам в этой сцене, была очень серьезная. Командир нашего шара был даже чемпионом Европы. Значит, шар накачивают, а вся группа держит его за фал, чтобы он не взлетел раньше времени.

— Мотор! Начали!

Я хватаю ребенка, и мы прыгаем с ним в корзину.

— Бросайте фал! — кричу.

Все, как горох, рассыпались, остался висеть один фотограф — он был очень тучный и не такой ловкий, как остальные. Прыгнул он уже метров с четырех и вывихнул себе голеностоп. А мы с мальчиком полетели.

Смотрю вниз: и группа вся исчезла, и роща, где мы снимались. А шар плывет по ветру незаметно, только видишь, как под тобой меняется ландшафт. И вот мы летим, летим, летим. А я в огромной широкополой шляпе — как-никак гангстер. Проплываем над какой-то деревней, и мне кричат:

— Эй ты, в шляпе! Давай садись сюда к нам!

А я вижу, что мы вот-вот врежемся корзинкой в дома, и начинаю орудовать горелкой. Шар поднимается, мы перекатываемся через эту деревню и летим прямо на высоковольтные провода. Страшная вещь! Я уже не за себя волновался — за мальчика. И смотрю — самолеты взлетают: где-то рядом аэродром. Тут я совсем расстроился. Ну, думаю, сейчас в нас врежутся...

Не знаю уж, какой силой воли я заставил шар опускаться на замеченный мною пятачок. Успел крикнуть мальчику:

— Распнись!

Мальчонка оказался сообразительным. Он ухватился за веревочные петли и прижался к стенке. Слава богу, мы опустились благополучно.

Подъехали местные жители на велосипедах, на мотоциклах. Стали гасить купол, чтобы он не уволок нас по земле. А тут подъехала и команда настоящих воздухоплателей. Шар свернули и сказали, чтобы завтра я явился с ящиком шампанского.

Я явился. Меня сфотографировали на фоне корзины и выдали роскошный диплом, в котором на английском языке было написано, что мне присваивается звание «Брат ветра» — за то, что я в течение двадцати минут самостоятельно вел шар и благополучно посадил его.

Мои воспоминания о спорте много потеряют, если я не расскажу о своем друге Петюнчике (почему-то все его звали Петюнчиком). Он занимался наукой, но я знал, что он бывший спортсмен.

Это был удивительный человек, который ни минуты не мог прожить нормальной спокойной жизнью. Он постоянно кого-то разыгрывал. Без этого просто не мог. Вдруг останавливался на улице, смотрел вверх и замирал.

— Вон, вон, вон... — начинал бормотать. — Боже! Боже, это же надо!..

Вокруг собиралась толпа, все смотрели вверх и вправду что-то начинали там видеть. А Петюнчик отходил в сторону и наблюдал за всем этим как случайный прохожий.

Этот странный человек никому не давал покоя — ни на улице, ни в трамвае, ни в автобусе. Задавал какие-то дурацкие вопросы, кого-то «узнавал».

— Боже мой, сколько лет, сколько зим! Сколько же мы не виделись?

Человек, к которому он привязался, мучительно пытается вспомнить, где он мог видеть этого типа. Но Петюнчик ему сам напоминает:

— Ну как же! Помнишь, мы с тобой на Белорусском фронте...

Все смотрят на них и ничего не понимают: они и по возрасту-то ни на каком фронте не могли быть. А Петюнчик с такими подробностями вспоминает их окопную жизнь, что тот и в самом деле начинает верить про Белорусский фронт и что он воевал. И тут люди уже глядят на них с уважением: как же, друзья-однополчане встретились после стольких-то лет! А те уже и обнимаются, и целуются, и все прочее. Вот такой вот Петюнчик.

Как-то звонит:

— Лёв, в Лужниках сегодня легкоатлетические соревнования дружественных армий. Нужно обязательно пойти. Будет очень интересно.

И мы пошли. Заняли на трибуне места, и тут объявляют, что в забеге будет участвовать чемпион мира Владимир Куц. И Петюнчик спрашивает громко, чтобы все слышали:

— Лёв, Куцый — это какой?

Я говорю:

— Не Куцый, а Куц. Вон на третьей дорожке стоит.

— Послушай, как же он может бежать? — удивляется Петюнчик, опять же громко, чтоб все слышали. — Он какой-то кривоногий. Да разве он бегун?

Все вокруг хихикают. И тут выстрел стартового пистолета, а Петюнчик продолжает комментировать:

— Смотри, ведь он уже задыхается. Какой же это чемпион мира? Да он уже и бежать не может — все время спотыкается и спотыкается!

Зрители начинают роптать:

— Успокойтесь, ради бога! Если ничего не понимаете в легкой атлетике, нечего было приходить на стадион. Что вы лезете с вашими идиотскими комментариями? Сидите и молчите!

А Петюнчик не унимается:

— Да нет, вы посмотрите: у него и форма какая-то не такая, и трусы, по-моему, только вчера сшили. Нет, нет, не годится! Вот смотрите, смотрите — задыхается! Совсем отстают, отстают!..

Тут уж вся трибуна начинает раздражаться, а он все комментирует, комментирует и уже слов не находит, как бы еще унижить этого самого «Куцего»: и какой он кривоногий, никуда не годящийся, и фамилия у него подходящая — Куцый.

Чувствую, публика начинает нас ненавидеть. А бегуны проходят еще несколько кругов, и вот Куц отрывается ото всех.

— Ага, отрывается! — кричит Петюня. — Он еще метров сорок пробежит и умрет! Ага, вот смотри — уже все: спотыкается, спотыкается!..

И уже вся трибуна:

— Да заткнись ты!!!

Я говорю:

— Сейчас нас будут бить.

— Ну пускай бьют! — кричит Петюня. — Если они ничего не понимают в легкой атлетике, чего они сюда приперлись? Ну вот, смотри, смотри!

Тут Куц рвет ленточку, и объявляют новый мировой рекорд. А Петюня возмущается:

— Да это же все по благу! Это же все подстроено! Все бежали гораздо лучше, но специально стали отставать!

Я чувствую, что живыми мы отсюда не выйдем. А в это время Куц совершает круг почета, бежит мимо нашей трибуны, и Петюнчик кричит:

— Володя! Володя!

Куц поворачивает голову.

— Петя!

Перепрыгивает через турникет и через всех зрителей лезет к нам. Трибуна замерла. Куц расцеловался с Петей, поздоровался со мной, сел рядом и спрашивает:

— Ну, как я бежал?

— Замечательно! И такой колоссальный отрыв! На такой дистанции!

А Куц:

— Да ну, господи! Есть еще силы.

И тут вся трибуна начала от нас отползать, отползать...

— Петь, — спрашивает Куц, — а у тебя как дела?

— Да вот, работаю.

— Не думаешь вернуться в спорт?

— Да какой там спорт. Годы не те.

— Ну, ладно. Пока. А то там тренер, наверное, уже психует: где я?

Они обнялись, расцеловались. Куц спустился на дорожку и побежал. И Петюнчик опять, чтобы все слышали:

— Ну что, всё? С Вовкой повидались, поехали домой. Давай возьмем бутылочку и выпьем за его здоровье.

Сквозь гробовую тишину мы прошли с Петюнчиком всю трибуну и поехали домой.

Читатель, конечно же, не мог не обратить внимания на возвышенные эпитеты, которыми я награждаю своих друзей: изумительный, замечательный, прекрасный...

Но что делать, если я именно так отношусь к ним. Они у меня действительно изумительные, замечательные, прекрасные. А тогда какой же друг, если он ни одно, ни другое и ни третье?

Миша Вострышев, мой знакомый литератор, чистая душа, всегда был очень восприимчив к человеческим страданиям. И когда американцы в 1999 году стали бомбить Югославию, он вместе с другими москвичами направился к американскому посольству, чтобы в знак протеста забросать его гнилыми фруктами и тухлыми яйцами. Но поскольку гнилых фруктов и тухлых яиц в продаже не было, а все свежее стоило дорого, он долго боролся с искушением: а не лучше ли выпить на последние деньги пива. Но чувство солидарности с братьями-славянами взяло верх, и он разорился на десяток мелких яиц. У посольства он остановился, чтобы оглядеться и покурить. А пакет с яйцами положил на бетонную тумбу. Подошел мужик и стал алчно коситься на этот пакет и дергать кадыком.

— Братьев-славян уважаешь? — наконец спросил он.

— Уважаю.

— А я, между прочим, тоже славянин.

— И что? — не понял Миша.

— А то, что я второй день только овсянку жру, да и та кончается.

Миша понял намек мужика и все же спросил:

— И что ты предлагаешь?

— Давай устроим бартер.

— Как это?

— А так. Я вижу, ты простуженный. Так вот, ты даешь мне яйца, а я за тебя орать буду. А когда я голодный и злой, голос у меня — не приведи господь!

— Ори, — согласился Миша.

— Да-а-алой! — заорал мужик так, что Миша понял: он не прогадал. — Па-а-азоррр! Гоу хо-о-ом!

Как-то проходил я с приятелем-журналистом мимо метро «Кировская». А он мне и говорит:

— Послушай, хочешь, я тебя познакомлю с настоящим анархистом? Ведь ты их небось только в кино видел? А доведись тебе играть роль анархиста...

— Да знаю! — отмахнулся я. — Сейчас куда ни плюнь, так и попадешь то в графа, то в князя, то в анархиста. Раньше где были?

— Зря ты так, — обиделся журналист. — Иван Егорович Мокин настоящий, убежденный анархист. Ученик Петра Алексеевича Кропоткина, теоретика анархизма, весьегонский сослуживец легендарного генерала Тодорского.

Господи, с трудом вспомнил я, это же, кажется, связано с Гражданской войной!

— И сколько же годков твоему анархисту?

— Восемьдесят пять. Но ты не беспокойся — он резвей тебя.

Мы купили чай, сахар и много печенья. Как сказал приятель, Мокины ни в чем больше и не нуждаются.

Через десять минут мы уже звонили в квартиру анархиста.

Дверь нам открыл сам хозяин — подвижный, маленький, сухонький, с выцветшими голубыми глазами. Голова его была небрежно покрыта цветастым ситцевым платочком, завязанным под подбородком. В прорехах платка светилась розовая лысинка, и все лицо его было розовеньким, как у младенца. Светился даже маленький носик пуговкой. Под стать была и его супруга — два этаких божьих одуванчика, дунь — и поле-

тят по комнате белые пушинки. Киношный образ анархиста — громилы в тельняшке и с маузером в кобуре — сильно померк в моем воображении.

И еще меня поразило обилие книг: они нависали с полок, торчали из каждого угла, громоздились на стульях, табуретках, тумбочках. И только на письменном столе самого Ивана Егоровича лежала единственная книга в черном переплете — «Записки революционера» Петра Кропоткина. Бывший весь-егонский «четырёхэтажный» комиссар (комиссар торговли, промышленности, обложения и труда) так до гробовой доски и не изменил своим убеждениям. А дожил он до девяносто одного года.

Незадолго до его кончины по просьбе старых большевиков Мокину решили дать персональную пенсию вместо обычных двадцати трех пенсионных рублей. А чтобы соблюсти формальность, его попросили прийти на бюро райкома партии — коммунистической, конечно. И вот тут-то один из благодетелей (из уважения к старику) заявил, что Мокин всегда работал бок о бок с советской властью на ответственных постах, а что касается его увлечений молодости, то с возрастом они проходят, и, мол, кто не переболел ложной романтикой анархизма.

Если б у старика Мокина был тогда маузер, он не задумываясь вlepил бы этому своему «защитнику» пулю в лоб. Он вскочил и белыми от бешенства глазами обвел членов бюро.

— Оглянитесь на себя! А я не меняю свои убеждения, как перчатки! — И сильно хлопнул дверью.

Персональную пенсию ему все равно дали: не стали молодые большевики афишировать, что старый анархист поставил их к стенке.

Немного не дожил Иван Егорович до того дня, когда его благодетели сменили перчатки в очередной раз. В последний ли?

А я подумал вот о чем. Так ли уж странен убежденный анархист Мокин, отказавшийся от персональной пенсии, чтобы только подтвердить эти свои убеждения? И не более ли странны те твердокаменные воинствующие атеисты, которые на своих «убеждениях» сделали карьеру, а ныне смиренно стоят в божьих храмах со свечами в руках?

Не знаю, не знаю...

Киру Константиновну Станиславскую Лёня Коробов встретил у опекушинского памятника Пушкину.

— Ах, Лёнчик, — сказала она, — как же о нас дурно думают в Европе! Ну бедные мы, несчастные, но не до такой же степени!

Оказалось, что в Париже умерла ее тетка и кузина прислала посылку с мукой. Просила помянуть усопшую и добавила: «Очень покойница любила московские пироги с вязигой. Помяните ее этими пирогами».

— Но ведь муки у нас и в самом деле нет, — возразил Лёня. Это было еще до отмены карточной системы — вскоре после войны.

— Попрошу я у девчат в Филипповской булочной. Ведь не откажут они мне ради такого случая. Смешаю с французской... А их мука мне не понравилась: какая-то серая и, по моему, немного сладит. А ты непременно приходи. Я тебе позвоню.

Она позвонила, и Лёня пришел. Все было чинно и благородно. Правда, специфический вкус зарубежной муки в пирогах не всем понравился. В ту пору наши люди употребляли только отечественный продукт и к иностранному не привыкли.

А через неделю Кира Константиновна снова позвонила Лёне и попросила о встрече. Они встретились там же, на Пушкинской площади.

— Что случилось? — спросил Лёня, увидев, как у Киры Константиновны дрожат губы.

Она протянула ему листок:

— Прочитай сам... Я не могу об этом говорить. Это от кузины. Из Парижа.

Кузина писала, что матушка ее скончалась в канун оккупации Франции германо-итальянскими войсками. Тогда же ее кремировали. Перед смертью она попросила, чтобы прах ее захоронили в русской земле. Но об этом не могло быть и речи целых пять лет. И урна с прахом хранилась в семье кузины. После окончания войны появилась возможность высылать в Россию посылки с вещами и продуктами. Пересылка же праха стоила больших денег. И тогда кузина пошла на хитрость.

Хитрость удалась, вот только письмо в пути задержалось...

Старые люди любят вспоминать свое «замечательное» житье в коммуналках. Это неправда, ничего замечательного там не было, — я сам это испытал. С женой и новорожденной дочерью мы жили на шести метрах за занавеской. Когда к нам собирались гости, они говорили: «Пойдем к Дурову в танк».

Мы сидели за полночь, обсуждали вселенские вопросы, создавали новые театры, а потом на этих шести метрах у меня оставались ночевать до десяти человек. Я своими руками сделал кроватку для ребенка поменьше, чтобы было больше свободного места. На полу мы расстилали матрас и укладывались. Удивительно, но в такой тесноте мы еще умудрились держать пианино. А все углы у мебели и у пианино мы обшили поролоном, потому что дочь Катька все время ударялась о них башкой.

Однажды мы с гостями уже засыпали, и один из моих друзей, футболист Лапшин, вдруг говорит:

— Лёва, я вот лежу и все думаю: чем обивать всю мебель поролоном, может, лучше Катьке из этого поролона колпак сшить?

Мы ржали до утра...

В конце семидесятых известного поэта («Бьется в тесной печурке огонь»), секретаря Союза писателей Алексея Суркова пригласили в Центральный Дом работников искусств прочитать лекцию о состоянии современной советской литературы. Тогда все «ответственные работники», как себя называли партийные функционеры, чтобы отличаться от остального безответственного быдла, выступали по бумажкам. Даже именитые писатели, приписанные к райкомам, обкомам и ЦК. Мало ли что язык ляпнет в пылу откровения! И тогда в одно мгновение можно стать и сирым, и убогим. А Алексей Александрович, кроме всего прочего, был кандидатом в члены ЦК и депутатом Верховного Совета. С одной стороны, он чувствовал себя всемогущим, а с другой — помнил, что и не таких по стенке размазывали.

Начал он по бумажке — с выражением, с чувством. «Советская литература, — читал он, — всегда была примером для всех прогрессивных писателей мира; она всегда высоко несла знамя гуманизма; угнетенные и оскорбленные всех частей света припадают к ней, как к живительному источнику...»

Он поднял от бумаги глаза и увидел, что половина зала зевает и с тоской смотрит на часы. Наверное, ему и самому стало стыдно за текст, который ему склеили из передовиц «Правды».

И в какой-то момент осторожность ему изменила. Наверное, он подумал: что это я? Кругом знакомые всё лица — писатели, артисты, художники. Могу же я им как товарищам по искусству, черт побери, сказать правду?

И его понесло.

— Все это так, — сказал он и раздраженно добавил: — И совсем не так! Ну назовите мне хотя бы одно произведение в любом жанре, которое в последние годы вам бы запомнилось! Ничего! Пустота! В прозе — серость, халтура, конъюнктура. В поэзии — выморочная блажь. В драматургии — сопливая бесконфликтность. Что там еще?..

И тут Алексей Александрович, к ужасу своему, увидел, как рядом с официальным микрофоном из-за трибуны медленно поднимается другой — маленький, незнакомый. Сурков изменился в лице, обвел зал бессмысленным взглядом и глухо сказал:

— В этом меня пытаются убедить некоторые наши неблагожелатели на Западе, — и снова его голос обрел уверенность. — А я утверждаю: советская литература покоряет одну вершину за другой. Ей нет равных... Все прогрессивное человечество... — и уверенно покатыл по тексту.

Подозрительный маленький микрофон медленно скрылся за трибуной. Девяностолетняя Мариэтта Шагинян, которая плохо слышала, убрала свой слуховой аппарат, как только поняла, что ничего нового Алексей Александрович так и не скажет.

Секретарь СП, известный литератор, лауреат всевозможных литературных премий Иван Фотиевич Стаднюк приехал в Астрахань с каким-то официальным визитом. Встретили его, как и полагается, на самом высоком уровне. Заядлый рыбак, Стаднюк за день до окончания визита попросил в обкоме, чтобы кто-нибудь отвез его на рыбалку. Секретарь обкома вызвал к себе такого же страстного рыбака и тоже писателя Юрия Селенского (сейчас его имя носит одна из улиц города).

— Юрий Васильевич, — сказал секретарь, — надо уважить гостя. Отвези его к какой-нибудь бочажине — пусть подерга-

ет стерлядок. Да смотри не увлекайся, знаю я тебя. Гость гостем, а порядок порядком: не больше трех килограмм на душу. Закон один для всех. И не мне, секретарю обкома, его нарушать.

Взял Селенский удочки, спиннинги, и на обкомовском катере они двинулись в путь. Спустились немного вниз по Волге, Юра по одному ему известным приметам определил нужное место, велел глушить мотор и бросать якорь.

С одного борта ловил гость, с другого — абориген. Через минуту гость завопил на всю Волгу:

— Юра, я поймал!

Юра мрачно смотрел на воду: у него даже не клевало. Стаднюк не успевал таскать эту стерлядку. И наконец ему стало неловко за свое везение.

— Юра, — предложил он великодушно, — может, поменяемся бортами?

— Нет, Иван Фотич, — вздохнул Юра. — Если уж не повезет, так и от родной жены насморк подхватишь.

— У тебя что, в самом деле ни разу не клюнуло?

— Ни разу..

Юра на глаз прикинул улов гостя и решил, что пора кончать этот балаган.

— Будя, Иван Фотич, — сказал он. — Не ровен час, рыбнадзор из-за острова на стрежень..

— И то верно, — согласился гость. — Не будем нарушать порядок. Жалко только, что ты ничего не поймал. А мне говорили, что ты даже из дождевой лужи сома можешь выловить.

— И на старуху бывает проруха.

— Ну и как рыбалка? — спросил чуть позже секретарь обкома Юру.

— Уложились в норму. Гость надергал за двоих.

— Ты что ж, — не понял секретарь, — хочешь сказать, что ты вообще ничего не поймал?

— А я на своих удочках все крючки срезал.

Это было время, когда горожане вдруг прониклись любовью к природе и личному овощу и стали организовывать садово-огородные товарищества, объединения и строить дачные домики. Не такие, конечно, «средневековые крепости», что строят нынче «новые русские». А так, кто из чего мог:

из некондиционных досок, дощечек от ящиков, которые тогда валялись у магазинов, рубероида, даже из самана.

Мой старый дружбан по двору Толян построил свою «фазенду», как он ее называл, из обрезков досок. И чтобы она долго стояла, под первую доску (под «фундамент!») заложил бутылку водки. «Примета такая», — сказали ему. На новоселье Толян пригласил всех, кто добывал ему доски и шифер, кто помогал по выходным возводить это чудо архитектуры, и просто друзей. Гости были в восторге: это ж надо — своими руками, из ничего! Не хоромы, конечно, но и не собачья конура. Вспомнили старую русскую мудрость: человек в своей жизни должен родить ребенка, поставить дом и посадить дерево. И не было человека счастливее Толяна: у него уже росли два мальчугана, он посадил несколько яблонь на участке и вот теперь — дом! Исполнено последнее жизненное предназначение! Толяну завидовали, всего обслюнявили и смочили пьяными слезами радости. Он и сам крепился из последних сил, чтобы не разрыдаться в голос. Терпел.

И вот уже за полночь (гости решили заночевать на лоне природы) вдруг прошел страшный слух: водка кончилась! Не рассчитали! Перетрясли все заначки, багажники в машинах — пусто! Это было равносильно тому, как если бы ты намылился под горячим душем, разомлел — и тут выключили воду. Тогда магазины ночью не работали. Знать бы, кто варит в округе самогон, но Толян с местным народом еще не сдружился. Он чуть было не упал духом, как вспомнил: господи, да ведь он сам заложил в фундамент бутылку, чтоб дом дольше стоял!

— Мужики! Есть! — крикнул он, подхватил у порога топор и выскочил за дверь.

Мужики бросились за ним, но и жены поняли, что здесь что-то светит, и выскочили за порог. «Фазенда» опустела. Вооружились все — кто ломом, кто гвоздодером, кто саперной лопаткой. Всем, что попало под руку. Толян уже забыл, где искать, и жилище взяли в кольцо. Вокруг все скрежетало и скрипело. И наконец раздался долгожданный крик:

— Наше-ел!

И в этот момент «фазенда», как в замедленной съемке, стала медленно опускаться, потом с треском рухнула и покрыла всех мягкой теплой пылью.

Жертв не было. Гости, как и договорились заранее, ночевали на лоне природы. Впрочем, как и хозяева.

В этой истории винить некого, кроме хозяев: сами построили, сами разрушили. Руки есть — опять построят.

А вот как быть с теми «подарками», которые делают новоселам так называемые профессиональные строители? Расскажу лишь об одном случае.

Мой приятель, которого звали Ёрик Маленький (потому что был еще Ёрик Большой), получил однокомнатную квартиру в новом доме и пригласил друзей на новоселье. Мы к нему пришли, и тут выяснилось, что балконы после окончания строительства оказались в аварийном состоянии, поэтому их просто отрезали автогеном, а балконные двери завинтили огромными шурупами, предупредив жильцов, что балконов нет, а двери являются продолжением стены и трогать их нельзя.

Надо сказать, что стояла жуткая жара — июль в разгаре. Мы все были молодые, горячие — что нам! Мы развинтили эту дверь и открыли — все же знали, что балкона нет и выходить нельзя.

И в самый разгар торжеств раздался звонок в квартиру. Хозяин пошел открывать, и мы услышали радостные возгласы:

— Щегула! Щегула пришел!

Это был переводчик с семи языков. Очень высокий красивый парень, в роскошном и модном по тем временам блестящем костюме.

— Что же вы, сволочи, не предупредили? Зажилить праздник хотели?

Все с ним пообнимались, перецеловались, он поздравил хозяина с новосельем и буквально через несколько секунд подошел к открытой настежь балконной двери.

— Ну-ну! И какой же вид мы здесь имеем?

И никто не успел рта открыть, как гость сделал с балкона шаг, и снизу донесся неприятный шмякающий звук. Все замерли. Хозяин сразу сказал:

— Нет, я вниз не пойду..

И каждый счел своим долгом тоже сказать:

— И я не пойду..

Я понял, что миссия с упавшим телом предназначена для меня. Подошел обреченно к двери, и в это время опять раздал-

ся звонок. Я открыл дверь — передо мной стоял Щегула, морщась и потирая коленку.

— Ну вы что, сволочи!.. Не могли предупредить? У меня ведь новый костюм — японский! Вот смотри: пробил штанину и ушиб локоть.

Все это происходило на третьем этаже. И когда мы посмотрели, откуда и куда Щегула упал, нашему удивлению не было конца: он упал на грудку битого кирпича со строительным мусором. И хоть бы хны! Только ушиб локоть и пробил штанину. Мы тут же послали к черту новоселье и стали пить за здоровье нашего героя — Щегулы.

Вот вам и новоселье...

Я забыл дома ключи от квартиры и в ожидании жены подсел во дворе на лавочку к двум бабкам. Они говорили о наболевшем — о своих болячках.

Одна:

— Вот у моей соседки хороший доктор был. От кашля ее лечил. Она все кашляла, кашляла, а потом перестала.

— Вылечилась?

— Нет, померла...

Помолчали, и теперь другая любопытствовала:

— А чё твои-то — так и живут нерасписанными?

— Так и живут.

— А чё так-то?

— Дак ведь волк и меченых овец ворует.

Сейчас живой русский язык можно услышать только от стариков и старушек. Его так замусорили, как Грибоедову и не снилось, когда он говорил о смеси «французского с нижегородским». Ну так в его время не было ни массовой информации, ни массовой культуры.

Я как-то заглянул только в один день программы ТВ (у меня нет времени смотреть телевизор) — и пришел в ужас: «шоу», «шоты», «хиты», «арты», «брайны», «токи», «ноу-хау»... Самый богатый в мире язык подменили каким-то хриплым собачьим лаем. Да о чем говорить, если уж депутаты Госдумы не стесняются (а может, иначе просто не умеют) «ботать по фене». Не научившись английскому, мы уже забыли русский. И чтобы понять речь человека, еще не разучившегося говорить по-русски, молодым русским людям нужен уже переводчик.

Говорливые старушки на лавочке продолжали свою беседу.

Одна:

— Ты квартиру-то свою продала с углом аль без угла?

— Что я, дура, что ль? Конечно, с углом.

— Это хорошо. Да и сколь нам и маяться-то осталось...

А ты справу-то себе приговорила?

— А то! Я ее еще в девках приговорила.

— Дак ведь она поди уж сгнила!

— А мне там не плясать!

Ну что, молодежь, поняла что-нибудь? А речь всего-навсего шла о том, что одна старушка продала квартиру с условием, что до своей кончины она будет иметь в ней свой уголок — угол. А «справа» — это платье, в котором кладут в гроб. Раньше о ней думали загодя: кто знает, когда тебя настигнет костлявая.

Вот такие пироги. Как говорят, заплати налоги, а потом баунтись!

Недавно, отдыхая у своих родственников в среднерусской деревеньке, я случайно услышал такой разговор. Старуха отчитывала парня за то, что тот взялся точить косу, да плохо это сделал.

Она ему:

— Плохо наточил.

Он:

— Нет, не плохо.

— Плохо.

— Не плохо.

И так они препирались несколько минут, пока старуха окончательно не разозлилась; тогда она плюнула и сказала:

— Не умеешь в воду пердеть, нечего и рыбу пугать!

Артисты театра и кино, драматурги и сценаристы, да и просто самодеятельные любители сцены порой попадают в такие ситуации, которые даже трудно предугадать.

Бывает и так, что, когда от зрителя ждут потока слез, он, этот непредсказуемый зритель, начинает корчиться от смеха и махать руками. Значит, в самый трагический момент увидел на сцене нечто такое, о чем сами артисты и не подозревали.

Покойный драматург-комедиограф Алексей Симуков рассказывал, как он оконфузился на премьере своего первого спектакля. По окончании его восторженный зритель стал вы-

зывать на сцену автора. Симуков вышел и начал кланяться, и при каждом поклоне зал взрывался диким хохотом. Молодой драматург решил, что так и положено встречать комедиографов, и задыхался от счастья. Каково же было его отчаяние, когда оказалось, что в суматохе он забыл застегнуть на брюках ширинку и при каждом поклоне демонстрировал зрителям свои ярко-красные трусы. Как говорил герой Аркадия Райкина: «Не смешно».

Чтобы не смущать своего целомудренного читателя, я не стану демонстрировать перед ним неглиже, а смиренно представлю ему несколько скромных рассказов из истории нашего отечественного театра и кино после 1917 года.

Билль-Белоцерковский. Сейчас это имя никому ничего не говорит. Или — почти никому. А между тем он был автором десятка пьес, полудюжины сборников рассказов и очерков, и уже после его кончины (в 1970-м) вышел двухтомник его избранных произведений «Так проходит земная слава»...

Иногда еще прокручивают на ТВ фильм-спектакль по его пьесе «Шторм». А чаще не фильм, а лишь одну сцену из него, где Фаина Раневская играет Спекулянтку. Помните, чтобы не попасть впросак, она все время спрашивает комитетчика: «Шо вы гоорите?.. Шо вы гоорите?..» Сцена незабываемая — потому что Раневская! — чего нельзя — увы! — сказать о самой пьесе, хотя, как утверждал автор, она и построена на биографическом материале.

А биография Белоцерковского удивительная. Начитавшись в детстве Майн Рида и Фенимора Купера, мальчишка бежит на юг. Его берут юнгой на рыболовную яхту, которая курсирует по Азовскому и Черному морям. Пацану хватило трех месяцев, чтобы разочароваться и в Купере, и в Майн Риде. В трюме английского парохода он добирается до Америки и пешком пересекает ее с востока на запад. Здесь он знакомится со своими любимыми литературными героями, и они тоже разочаровывают его: в жизни индейцы оказались совсем не такими, какими изображали их писатели.

На западном побережье он нанимается на торговое судно и оказывается в Южной Африке. Об этом он напишет потом рассказ «Как я стал негром». А годы идут. Когда он узнал, что в России произошла революция, ему было уже тридцать два

и судьба забросила его в Китай. Из Харбина он перебирается в Россию и через всю страну «на перекладных» направляется в ее европейскую часть.

Где-то между Москвой и Уралом он пишет свое первое «литературное произведение»: «Обращение к солдатам». Его потом, в виде листовок, сбрасывали с аэроплана. Там были такие «простонародные» выражения, что, по мысли автора, белогвардейцы должны были сразу же испепелиться. Красное начальство заметило это «произведение» и назначило его автора командиром воинского подразделения.

— Неграмотный, серый, — как рассказывал сам Владимир Наумович, — я стал командовать сотней бойцов. Однажды мне приказали «прикрыть» артиллерию. Откуда мне было знать, как ее «прикрывать»? Я, конечно, понял буквально и приказал прикрыть пушки брезентом. После этого случая начальство решило, что в газете от меня будет больше толку, если я стану писать рассказы. Но меня это не устраивало, и я начал с пьесы. Это была ура-патриотическая пьеса — с солдатами, мировым капитализмом, светлым коммунизмом и еще черт знает с чем. Я привез ее в Москву и предложил Художественному театру. На меня посмотрели как на ненормального. А я их обвинил в саботаже. Тогда это было серьезное обвинение. Но они не дрогнули. И только когда пригрозил лишить их хлебного пайка, они начали репетировать.

Со второй пьесой автор поступил еще круче: он просто приставил ствол маузера к животу режиссера и предупредил, что если, мать-мать, еще слово, то, мать-мать... Поставили. Так начиналась советская драматургия — и советский театр. Шел 1920 год. А через шесть лет, когда ставили «Шторм», актеры были уже приучены к новой, революционной, сценической эстетике. А еще через год, в десятую годовщину Октября, сам К.Станиславский поставил «Бронепоезд 14-69» Всеволода Иванова. Как же иначе: ведь именно тогда впервые с театральной сцены прозвучало имя Ленина! Пройдет еще десять лет, прежде чем Н.Погодин и театры рискнут вывести на сцену самого вождя в «Человеке с ружьем». А был ли риск? Такой же риск упасть у малыша, которого мама держит на помочах. Здесь, скорее всего, боялась сама «мама»: как бы чего не вышло! Вон ведь даже двести лет назад в «Комедии на Рождество Христово» вместо родителей Спасителя ставили на сцене две

большие иконы. А тут — вождь мирового пролетариата! Всё же рискнули. И ничего не случилось — ни гром не грянул, ни земля не вздрогнула. Напротив! Дедушка Ленин стал еще «живее всех живых»: кошечек гладит, детишек конфетами угощает. Велика сила искусства, даже если оно — социалистический реализм!

В заповедной стене была пробита брешь, и, почуяв легкую поживу, в нее хлынул целый косяк «богомазов».

И вот «иконы» стали этих авторов охранять. Когда поэта и драматурга, бессменного главного редактора «Огонька» Анатолия Софронова контролеры прищучили за сокрытие доходов и соответственно неуплату в партийную кассу огромной суммы членских взносов, а это грозило страшной карой, он не растерялся. Быстренько написал пьесу и срочно тиснул ее в своем журнале. Своя рука — владыка! И все контролеры в одночасье заткнулись. А почему? А потому: главным героем пьесы был — нет, не бывший полковник Брежнев, а его «икона»: полковник Бережной. А кто замахнется на святое? Себе дороже.

Рассказал мне как-то приятель одну историю, которая приключилась с нашим известным актером Николаем Афанасьевичем Крючковым. Когда он был в Индии на Международном кинофестивале, то, хорошо угостившись у гостеприимного Раджа Капура, вернулся в гостиницу с огромной гаванской сигарой в зубах, воображая себя Черчиллем. С этой сигарой лег в постель и уснул. А ночью стал «тлеть»: у них там матрацы набиты сухой пахучей травой. Первым запах почувствовал сосед по номеру, не менее известный артист (к/ф «Цирк») Сергей Столяров. Залили все водой из графина, и получилась совсем неприглядная картина: грязь и чад.

В общем, назревал международный скандал: отель-то был президентским! Наш посол в Индии, к которому обратились друзья, не знал, что делать, и решил переждать какое-то время, чтобы выяснить, какие дипломатические шаги предпримет индийская сторона.

А оказалось все проще простого. Когда убитые горем Крючков со Столяровым открыли дверь в номер, то поразились: будто ничего и не произошло — все чисто, прибрано и вместо паленой гари пахнет индийскими благовониями.

Это у них — в азиатской стране. А у нас?

Расскажу в связи с этим лишь две истории, которые мне запомнились.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

Был у нас в Театре на Малой Бронной замечательный артист Саша Юдин по прозвищу Лемур. Между прочим, Саша был из какой-то аристократической семьи, и, когда он называл фамилии тех, кто был близок с их семьей, можно было представить внушительный круг их знакомств.

У Саши никогда не было никаких денег, но при этом он умел сохранять аристократическую независимость. Он, например, переходил улицу там, где ему хотелось, не обращая внимания ни на светофоры, ни на постовых. Вот как-то они с Геннадием Сайфулиным переходят улицу где не положено, и раздается милицейский свисток. Они подходят к милиционеру, и тот говорит:

— Будьте добры, заплатите штраф.

Лемур оборачивается к Сайфулину:

— Слушай, отдай этому жлобу шесть рублей.

Гена, конечно, платит. При этом у него и в мыслях нет, что Лемур отдаст ему эти три рубля.

Однажды Лемур пригласил кого-то в ресторан:

— Пойдем посидим часочек, расслабимся.

Почему бы и не пойти, если приглашают? И они пошли. Расслабились. А когда официант принес счет, Лемур повернул голову к своему товарищу: мол, чего не платишь? Тот:

— Саш, ведь ты меня приглашал!

— Да, но я не ожидал, что у тебя нет денег.

— Откуда? Ни копейки!

Пришлось им что-то оставить в залог и на второй день изыскивать средства.

А вообще-то это был хороший парень и добрейшей души человек.

И вот мы приехали на гастроли в Свердловск (теперь это опять Екатеринбург). У Лемура случилось несколько свободных дней, и он празднично проводил их в своем номере, приглашая друзей и подруг. Как-то, уже хорошо «нагрузившись» и оставшись один, он прилег с сигаретой на кровать и уснул. Тогда

как раз появились модные американские сигареты «Астр». Наши сигареты постоянно гасли, и через несколько затяжек их приходилось снова прикуривать. А американские не гасли. И постель загорелась. Но несмотря на то, что нижняя часть его тела начала уже поджариваться, Лемур не просыпался.

Дежурная увидела, как из его номера валит дым, и стала стучать в дверь. Никакой реакции — ни на стук, ни на крик, ни на шумную панику в коридоре. Тогда выбили дверь, и дым повалил в коридор. Саша приподнялся на кровати и удивленно спросил:

— Боже мой, что это? Пожар?

Подошел к телефону и стал тыкать пальцем в дырочки телефонного диска. Но ему никак не удавалось попасть в эти дырочки и вызвать пожарную команду. Дежурная между тем схватила кувшин с водой и стала заливать постель.

Все имело жуткий вид: почти сгорели одеяло, простыни, начал тлеть матрас, закоптилась царка — боковая доска у кровати. В гостинице начался жуткий скандал. Сашку отправили в больницу, потому что в ползадницы у него огромный пузырь. Потом разразился скандал на городском уровне — дошло до горкома партии. И там сказали: эту труппу, которая чуть не сожгла гостиницу, надо гнать из города поганой метлой! В конце концов дело с трудом удалось уладить, но нас предупредили: в гостиницу явится комиссия и обследует, как и что произошло в номере. Наш директор в свою очередь заявил, что виновник происшествия уже уволен из театра и больше такого безобразия не повторится.

А в то время с труппой работал плотник, которого взяли на гастроли в качестве монтировщика. (Позже я узнал, что это бывший таксист, который сбил насмерть человека, но в том происшествии его вина доказана не была. Тем не менее он сам решил год-два не ездить, пока не пройдет шок.) И вот он пришел к Лемуру и сказал:

— Саша, зайди в магазин «Ткани», там есть полосатый материал, купи три метра и дай мне ключи от твоего номера. А сам найди себе партнеров по бильярду, и погоняйте в холле шары. Стучите шарами как можно громче и как можно громче реагируйте на каждый удар.

Лемур так и сделал. Купил ткань, принес ее в чемоданчике в номер, отдал ключи плотнику. И собрал компанию бильярдистов.

Стали играть. Все кричали, визжали, хохотали, короче, буйно резвились. А администраторша смотрела и ворчала:

— Господи, ну что это за люди! Ведь, паразит, чуть гостиницу не сжег, ползадницы у самого сгорело, а ему хоть бы что! Веселится еще!

Прошло часа полтора, наш плотник вышел из номера, незаметно передал ключи Лемуру и сказал:

— Саша, всё в порядке.

Когда Саша вошел в номер, то увидел: матрац новый, царка отполирована и следов пожара вообще нет! Остался только запах гари. И тогда Саша, то ли по совету товарищей, то ли по собственной догадке, обходит все номера и спрашивает:

— Ребята, у кого есть цветы?

А после каждого спектакля, как известно, артистам дарят цветы, а уж «звездам»-то — обязательно. И вот тайком в номер Лемура стали нести цветы. Саша взял у кого-то роскошную пижаму (своей-то у него никогда в жизни не было). И когда должна была прибыть комиссия, он готов был к ее приему.

Раздался стук в дверь. Саша спросил поставленным голосом:

— Кто там?

— Комиссия.

Тогда Саша спросил:

— А скажите, пожалуйста, в комиссии женщины есть?

Из-за двери грубый голос ответил:

— Есть, есть! Женщины тоже есть!

И Саша сказал:

— Я не могу вас так принять, я еще в постели, я в пижаме.

Через короткую паузу он услышал:

— Ничего. Открывайте.

Саша открыл дверь, и в номер вошла комиссия во главе с директором гостиницы, администратором, директором театра, еще какие-то чины... Все они как вошли, так и замерли. А Саша отбежал к кровати и лег в нее в чужой роскошной пижаме. У кровати стояли вазы и банки с шикарными цветами, и все благоухало.

Администраторша после короткого шока вдруг закричала:

— Нет, нет! Встаньте сейчас же! Встаньте сейчас же! — И к комиссии: — Он вчера бегал голый, звонил, пытался вызвать пожарную команду!

Саша, пожимая плечами, встал, а она сорвала с кровати одеяло, простыню, и все увидели совершенно новый матрац.

— А-а! — продолжала вопить администраторша. — Сгорела вся деревяшка!

Она перевернула матрац и увидела отполированную «деревяшку». Наступила тишина. И в этой тишине все услышали нежный шепот директора гостиницы:

— Вон отсюда, идиотка! — Директор радушно улыбнулся артисту и сказал: — Товарищ Юдин, мы просим у вас прощения за эту дуру, которая доставила вам столько беспокойства. Я приношу извинения директору театра и всем артистам труппы...

— Ну, мало ли что бывает! — улыбнулся Саша. — Не будем на нее сердиться.

Директор театра остался очень доволен, что все так хорошо кончилось. Но чувствовал, что ему все-таки надо на это как-то отреагировать. Он обратился в местком, а там были всё Сашкины друзья — и обошлось.

Зато когда пришел другой директор театра, с Лемуром опять случился казус. И его таки решили уволить.

Тогда главным режиссером у нас был Александр Леонидович Дунаев. Я пошел к нему выручать Лемура. И не успел войти в кабинет, как Дунаев замахал руками:

— Дуров, всё знаю, знаю, знаю, зачем вы пришли! И на эту тему не может быть никаких разговоров! Всё! Хватит, хватит, хватит!

Я сказал:

— Александр Леонидович, ведь это замечательный парень. Уволите вы его из театра, он же погибнет. Он отличный актер, безотказный. Когда нужно, он с одной репетиции вводится в спектакль. Сколько раз он и меня выручал.

— Нет, нет, нет! Я непреклонен!

В общем, наш диалог продолжался довольно долго. Я его уговаривал, уговаривал и наконец почувствовал, что вроде бы склонил к тому, чтобы Лемура не увольняли. Дунаев во время разговора ходил по кабинету. Вдруг он подошел к окну и, стоя ко мне спиной, сказал:

— Ну, Лев Константинович, вы попались! И я вместе с вами. Так он и театр спалит. Идите сюда.

Я подошел к окну и вижу: прямо против окна Дунаева стоит Лемур в позе популярной тогда скульптуры «Пионер-гор-

нист». Стоит, запрокинув голову, только вместо горна прижимает к губам горлышко бутылки с вином и опустошает ее с каким-то сладострастием.

— Александр Леонидович, извините, — сказал я и вышел из кабинета.

Вот так закончилась сценическая карьера артиста Саши Юдина по прозвищу Лемур...

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

Режиссеры Андрей Смирнов и Борис Яшин снимали в Тирасполе картину «Пядь земли», в которой мне была предложена роль. Я приехал на съемки в тот момент, когда в городе разразился жуткий скандал.

Первый секретарь горкома влюбился в жену второго секретаря и отправил его куда-то в командировку. А сам поехал с его женой за город развеяться. За рулем, конечно, был он сам. Они гуляли-гуляли по красивой пересеченной местности, пока не стемнело. Стояла тишина, и все располагало к интимной обстановке. И вдруг раздался жуткий металлический лязг, скрежет — и пошли танки. Оказалось, влюбленные забрели на танкодром, у танкистов начались ночные учения, вот боевые машины и пошли с погашенными огнями. Кстати, на этом самом танкодроме мы снимали некоторые эпизоды картины.

Первый секретарь подхватил свою даму, они выбрались на шоссе, но автомобиля не обнаружили. В город пришлось возвращаться на попутке.

Первый секретарь горкома был в то время царь и бог в своей епархии — его каждая собака знала. И слух о том, что он поехал с женой второго за город на своей машине, а вернулись они на попутке, облетел город в мгновение.

А случилось вот что. Первый же танк наехал на горкомовскую «Волгу», и танкист, чтобы не навлечь на свою голову беды, проскочил дальше. За этим танком по «Волге» прошлась вся танковая колонна. И только утром обнаружили большую лепешку искореженного металла, на которой красовался именной знак — номер — горкомовского автомобиля.

Начался чудовищный скандал. И тут как раз вернулся второй секретарь горкома. Ему, естественно, обо всем доложили. Он ворвался в кабинет первого, выхватил пистолет, а секрета-

ри тогда были вооружены, чтобы обороняться от любимого народа, — и пытался застрелить своего соперника. Но то ли не попал, то ли вышла осечка — убийства не произошло.

История докатилась до Москвы. Приехала огромная комиссия разбирать этот чудовищный инцидент. Как писал наш великий поэт Некрасов: «Суд приехал, допросы, тошнехонько...»

Вот в это самое время мы и оказались в Тирасполе. Но это — к слову. А хочу я рассказать о другом.

В нашей съемочной группе был тогда артист Витя Сускин — высокий красавец и очень-очень добрый человек. К тому же застенчивый, как девушка. Он никогда не участвовал ни в каких спорах, дискуссиях, интригах. Сам говорил мало, но любил слушать — с замечательной, доброй улыбкой на лице. И вот как-то у него выдались свободные дни, когда он не участвовал в съемках. И пошел Витя гулять по городу.

А в этом городе через каждые десять шагов стояли бочки с сухим вином и палатки, в которых тоже продавали разных сортов сухие вина. Витя шел, улыбался прохожим; останавливался у каждой бочки, у каждой палатки, дегустировал и вернулся в гостиницу в умиротворенном состоянии.

Ну и опять же — в то время появились эти неугасимые американские сигареты, «Астр». Витя пришел в номер, закурил, лег на кровать и уснул.

Проснулся он от того, что стал задыхаться, — номер наполнен дымом. Гостиница была новая, по всей видимости — рамы и двери были сделаны из сырого дерева, они очень плотно закрывались, и дым в коридор не проникал. Когда Витя очнулся, то первым делом выпустил через фрамугу весь дым, залив предварительно диван водой. Но оказалось: в середине дивана образовалась огромная дыра — огонь прожег его насквозь.

В тот день я тоже был свободен и сидел в своем номере. Раздается у меня телефонный звонок.

— Лёвочка, — спрашивает Витя, — у тебя есть сумка? Чем больше, тем лучше.

— Есть, — говорю, — но она с вещами.

— Освободи ее и зайди с ней в мой номер.

Я освободил сумку и пошел к нему. И тут вижу — идет еще один актер, и тоже с большой пустой сумкой. Я спросил:

— Ты не к Вите Сускину?

— Да. А ты не знаешь, в чем дело?

— Нет, но он просил меня прийти с большой сумкой.

Ладно. Дошли до номера, постучались. Витя открыл дверь. И мы увидели на полу аккуратно сложенные кусочки дивана, отдельно — аккуратно сложенные пружинки, а Витя допиливал последнюю часть.

— Я уже кое-что отнес, — сказал он, — а теперь мы сложим остатки в ваши сумки, и отнесите их, пожалуйста, на стройку — это в квартале отсюда. Выбросьте там все это через забор.

Мы сложили все, что могло поместиться, в наши сумки, дошли до указанной Витей стройки, перекинули мусор через забор, вернулись в гостиницу и увидели, что Витя уже подмел за собой и тщательно протер пол мокрой тряпкой. Собранные в кулек опилки и завернутые в газету остатки пружин он опять уложил в наши сумки.

— Ну вот и всё, — удовлетворенно сказал он. — Дело сделано...

И действительно — никакого шума и скандала по этому поводу не было — на отсутствие дивана просто не обратили внимания.

Через какое-то время я встретил Витю на улице Горького. Мы обнялись, разговорились.

— А знаешь, Лёвочка, — сказал он, — я ведь из профессии ушел — я теперь не актер.

И я подумал, что это каким-то непостижимым образом связано с той историей, и сказал ему об этом. Как ни странно, я оказался прав.

— Вот ты помнишь, — сказал он, — как вы помогли мне тогда в Тирасполе. Так вот, в тот день, когда мы уезжали из города, ко мне зашла администраторша. «Товарищ Сускин, — сказала она, — а вот тут...» — и показала пальцем на то место, где раньше стоял диван. Я не выдержал, перебил ее и крикнул: «А что, я его — съел?!» Она растерялась, пожала плечами и ушла. Вот и оказалось, Лёвочка, что артист-то я никудышный. Я даже не умею слушать. Я ведь даже не дослушал ее, а уже закричал. Вот тогда я и понял: ни на сцене, ни на экране мне не место... Сейчас я работаю по другой профессии, а по какой — не скажу. Может быть, ты обо мне еще услышишь.

И, расставаясь со мной, он так же, как и раньше, по-доброму и широко улыбнулся. А я понимал, конечно, что шрам-то

в душе его остался, потому что кино такое же заразное дело, как и цирк. Но об этом я уже говорил. Очень трудно покидать и то и другое. Очень...

Артист Аркадий Щербаков был колоритнейшей личностью. Он очень напоминал такого провинциального буйного трагика. Было в нем что-то если не от Ильи Муромца, то уж от Добрыни Никитича — точно. Изумительный актер.

Он сменил уйму театров. Даже во МХАТе играл: помню его великолепного Анархиста в «Разломе» Бориса Лавренева. Но у него была известная еще со времен Островского слабость: «Мы актеры — и наше место в буфете». В конце концов он оказался в затруднительном положении.

И вот пришел он к Анатолию Андреевичу Колеватову в Ленком и, упав на колени, стал просить, чтобы тот взял его к себе в театр.

— Хорошо, — согласился наконец Колеватов. — Но учти, ты сразу же попадаешь в революционный спектакль, где будешь играть главную роль — Человека из центра. Понимаешь, этот спектакль необычайно ответственный, очень важный для театра. Мы получим за него Сталинскую премию, а у тебя будет возможность реабилитировать себя за все свои прежние проделки.

Аркадий прослезился и сказал:

— Анатолий Андреевич, да никогда в жизни! С сегодняшнего дня в рот — ни капли!

А надо сказать, что пьеса даже по тем временам была далеко не оригинальной. Там сибирские мужики собрались на сходку и решали — поднимать восстание или подождать. Во-жак их успокаивал.

— Нет, мужики, — говорил он, — надо погодить. Вот придет человек из центра, он-то нам все и скажет, потому как без руководства у нас ничего не получится.

Тут надо отметить еще одну странность: сибирских мужиков играли актеры Ленкома не русской и не кавказской национальности. Возглавлял их Аркадий Вовси — родной брат того самого «врача-вредителя» Вовси, который потом будет арестован как врач-убийца.

(К счастью, его не успеют расстрелять, и он останется жив. А Аркадия прятал у себя на чердаке один из его друзей-актеров. Когда волна этой жути прошла, Аркадий вернулся в театр. Это был прекрасный актер и добрейший человек. Все у него просили займы, а он:

— Вот-вот! Сейчас я тебе дам. А никто не отдает! Если б я собрал все долги, которые мне не отдают, я бы стал самым богатым человеком в мире! Нет, ни копейки я тебе не дам. Ни за что не дам!

Через минуту он заходил в гримуборную, молча выходил, и у него или из кармана, или из ширинки торчали свернутые денежки. Просто так дать он не мог — обязательно с каким-то фокусом, с криком, с протестом. Но и не дать — не мог. Вот он и возглавлял толпу этих самых сибирских мужиков.)

Наконец настал день сдачи спектакля. Полный зал черных костюмов и черных галстуков на белых манишках.

И вот, значит, сидят на сцене сибирские мужики во главе с Аркадием Вовси, и он говорит:

— Ну что, мужики, поднимать восстание или ждать человека из центра? Он-то нам все растолкует: он должен привезти письмо от самого Ленина!

Поговорили мужики еще о чем-то между собой, а Человека из центра все нет.

Сибирские мужики начинают повторяться, чтобы заполнить тягучую паузу.

— Нет, мужики, пора подниматься. Уже и наши мужики, и соседние начали подниматься. Чего мы ждем?

— Погодь немного. Вот дождемся человека из центра, даст он нам письмо от Ленина, тогда и поднимемся.

А Человека из центра все нет и нет. Опять неловкая пауза, и сибиряки начинают импровизировать:

— А все же, может, начнем, мужики? Наша деревня готова.

— И наша!

— И все прочие! Все деревни готовы!

И вдруг из-за кулис раздается дикий грохот: что-то там рушилось, слышались какие-то удары, приглушенная брань. Все замерли. Задник, на котором было написано «РЕКА» и нарисована изба, стал медленно-медленно собираться к центру. Все окостенели. Неожиданно раздался треск — и задник лопнул вдоль! А в его проеме, как распятие, стоял Аркадий Щербаков

с безумными красными глазами. Он увидел толпу мужиков — и пошел вперед, не выпуская толпу из вида, потому что это был для него единственный ориентир, без которого он просто не мог идти.

Щербаков двигался как сомнамбула. Прошел мимо парализованных сибирских мужиков, вышел почти на авансцену — дальше его не пустил задник — и замер.

Здесь он должен был объясниться с мужиками:

— Я человек из центра, привез вам письмо от Ленина. А-а, я вижу, вы мне не доверяете, и правильно делаете. Вот мой мандат.

С этими словами он должен был вытащить из-за голенища мандат и письмо. Но Аркадий все забыл. Безумными глазами смотрел он в зал и судорожно пытался вспомнить, что должен говорить и делать. Все же что-то промелькнуло у него в мозгу. Отцепив наконец от себя задник и потеряв опору, он рухнул на колени, стал на четвереньки и, глядя в зал тоскливым взглядом, сказал:

— Вот вам и манда... — Тут, видно, силы окончательно покинули его, и последнюю букву в последнем слове он произнести уже не смог.

Зал разбил паралич — огромное черное море замерло. В абсолютной тишине раздался жалобный голос Колеватова:

— Занавес закройте, пожалуйста...

Конечно, тут же к Колеватову подошли черные пиджаки, поблагодарили за спектакль и удалились.

Колеватов побежал за кулисы.

— Где этот негодяй? — И, не дожидаясь ответа, бросился в гримборную, где сидел Аркадий.

— Аркадий! — завопил он. — Я хотел вернуть тебя к жизни, я тебе помог, а что ты делаешь со мной? Что ты сделал со всеми нами? Мне что теперь — уходить? Ты думаешь, мне после этого не предложат оставить пост директора? Пьяная ты морда!

В ответ Аркадий неожиданно заорал:

— Я?! Пьяный?! Как вам не стыдно! Я взволнован революционной тематикой!

От такой наглости у Колеватова глаза стали совсем квадратными, и он тоже завопил:

— Ах, ты взволнован революционной тематикой?! Сейчас ты все получишь!

Он захлопнул дверь гримуборной, запер ее на ключ и убежал.

За дверью раздался страшный грохот, звон стекла, какой-то скрежет — видно, Аркадий крушил трельяжи, гримстолаы, ломал стулья и все, что попадало под руку. Наконец, когда он, видно, все порушил, наступила тишина.

Через некоторое время в коридоре показался Анатолий Андреевич. Рядом с ним шел маленький-маленький человечек. У него не было лица, а было два огромных-огромных глаза. Он был то ли близорук, то ли дальновзорук: линзы в очках такие, что увеличивали глаза раз в пять. И этот человек нес в руке старинный врачебный чемоданчик, с какими ходили уездные врачи во времена Чехова. Он вопросительно посмотрел на Колеватова. Тот отпер дверь и сказал:

— Вот!

И все увидели Аркадия — он лежал в руинах, приняв этакую трагическую распластанную позу. Аркадий взглянул на маленького человечка, в глазах у него появилось странное выражение — они опять стали наливаться кровью. Приглушенным сиплым голосом он спросил:

— Ты кто?

Человечек, не выговаривая толком ни одной буквы, неожиданно сказал:

— Я экс-пег-тиза!

— Ты — экспертиза?! Слушай, гном, я тебя вот на эту ладонь поставлю, а другой прихлопну, и в стороны только брызги полетят! Ты меня понял, экс-пер-тиза?! — И хлопнул ладонью о ладонь.

Это был чудовищный звук.

А маленький человечек ласково сказал:

— Где вы так нажг'ались, батенька? С кем?

Реплика была настолько неожиданной, что страшное выражение на лице Аркадия сменилось вдруг беспомощной детской гримасой, он рухнул на колени перед маленьким человечком, положил подбородок ему на плечо и завопил:

— С кем?.. С при-я-те-ле-ем!

И тогда человечек попросил:

— Оставьте нас вдвоем.

Их оставили наедине. Через несколько минут врач вышел. Он подал Колеватову какую-то бумажку и сказал:

— У этого человека остаточное явление.

Колеватов заорал:

— Какое остаточное явление?! Ему спичку поднеси — он взорвется!

И вдруг гном завопил высоким фальцетом:

— Вы забываете, с кем вы газговагиваете! Я судебная экспегтиза! Вы знаете, что я с вами сделаю?! Вы жестокий человек! Больше я к вам не сделаю ни одного шага!

И пошел по коридору. Все замерли. У Колеватова было совершенно растерянное лицо.

На следующий день на стене висел приказ: Аркадия все-таки уволили из театра.

А недавно я ехал на такси, и водитель, на которого я несколько раз пристально посмотрел, вдруг улыбнулся и сказал:

— Лев Константинович, всё правильно, всё правильно! Я знаю — я для вас очень знакомое лицо. Я сын Аркадия Щербакова. Вот видите, работаю на такси.

— А где отец?

— Не знаю. Куда-то уехал. Сначала писал, а потом исчез...

— И вы не пытались его найти?

— Пытались. Не нашли.

Вот такая грустная история.

Французский актер Жерар Филип говорил: «Я никогда не читаю рецензий, так как слишком серьезно отношусь к своей профессии. Если меня ругают — меня это ранит и на какое-то время выбивает из седла. Если хвалят — мне это ничего не прибавляет».

Как ни странно, от рецензий я никогда не страдал. Критиковали косвенно — например, что снялся в плохом фильме.

Покойный Эфрос как-то сказал (я тогда еще молодой был):

— Ну что ты во всяком говне снимаешься?!

На что я ответил:

— Анатолий Васильевич, босиком в метро не пускают.

Имя драматурга Николая Михайловича Дьяконова стало широко известно после того, как на экраны вышел фильм «Свадьба с приданым», снятый по мотивам его пьесы. А «мотивы» эти были порой очень даже забавны.

Так, например, у Татьяны Пельтцер была проходная, эпизодическая роль. Ее героиня появлялась по ходу действия все-

го раза два-три — чтобы разрядить обстановку своими экстравагантными поступками и простодушно-острыми репликами. Татьяне Ивановне так понравились потенциальные возможности ее героини, что она упростила Николая Михайловича дать ей еще «поиграть». Дьяконов добавил в сценарий несколько реплик.

— Вот видите, — сказала она, — совсем другое дело! Вот еще бы...

И автор добавлял еще — то реплику, то мини-монолог. И в конце концов эпизодическая роль Пельтцер стала если не главной, то существенной: Дьяконову пришлось даже поменять некоторые эпизоды и сюжетные ходы в уже готовом, казалось бы, сценарии. Ну а результат известен: роль артистки придала всему фильму яркий, динамичный характер, которого так не хватало пьесе.

Но Дьяконов был не только драматургом. В республиканском театре в Сыктывкаре он ставил свои пьесы как режиссер и сам же играл в них.

Звание народного артиста Коми АССР он получил в тридцать с небольшим лет. А до этого...

До этого молодой артист объехал с гастрольями всю свою республику вдоль и поперек. Играл в городах и шахтерских поселках, в сельских клубах и на оленеводческих стойбищах — везде, где только были люди, а сценической площадкой мог служить и ягель — олений мох.

Случай, о котором как-то рассказал Николай Михайлович, произошел в заполярной Воркуте. Известно, какое в Заполярье лето — с воробьиный нос. Правда, погода в это время неприхотливых северян и ласкает, и балует.

И вот городские власти решили сделать горожанам небольшой подарок: построили в чахлой рощице, которую громко называли парком, небольшой летний театр, а проще говоря, фанерную «ракушку» — примитивную крытую сценическую площадку, на которой могли бы показывать свое искусство приезжие драматические актеры, певцы, фокусники и прочие гастролеры. А чтобы иметь еще и прибыль от этой «культурно-массовой точки», ее огородили крашеным, фанерным же, забором (пусть, мол, зрители, как все приличные люди, платят за вход) и установили несколько рядов лавок. В ту пору шахтеры были людьми денежными, и с них без стеснения драли такие деньги,

как нынче за билеты в Большой театр. Наверное, все-таки это было сделано для того, чтобы зрители прочувствовали истинную цену высокого искусства, а не грызли бездумно семечки во время спектаклей.

А поскольку «точка» была рассчитана на короткое лето, ее и строили по методу «тяп-ляп» — как говорят портные, «на живую нитку», — чтобы не упустить драгоценные дни. Поэтому этот «очаг культуры» уже через месяц принял вид старейшего памятника архитектуры: электропроводка на сцене провисла, некоторые лавки были порушены, а на заборе красовались фанерные заплатки, на которых краски уже не хватило.

Когда Дьяконов со своим товарищем Сашей приехал в Воркуту, там вся милиция стояла на ушах: накануне в самом центре города некие умельцы «взяли» ночью кассу управления шахты «Центральная». Как они умудрились это сделать, на тот момент было не ясно. Со слов охранника выяснилось лишь, что в соседнем с кассой помещении в полночь произошло в проводке короткое замыкание. Раздался треск, полетели снопы искр, в кассе погас свет. Охранник на какое-то время растерялся, потом стал звонить пожарным, но телефон не работал. Этажом выше тоже стоял телефон, и страж побежал туда. Наконец дозвонился. А когда возвратился на свой этаж, то успел заметить, как в конце коридора мелькнула мужская фигура и сразу же скрылась за дверью. Охраннику лишь запомнилось, что неизвестный был среднего роста, крепыш, а волосы у него свисали до плеч. Дверь в кассу была открыта настежь, дверца сейфа — тоже.

Работали мастера своего дела, которых в Воркуте всегда хватало: кругом лагеря, а где лагеря, там и беглые, и «отмотавшие» срок, и всякий прочий люд, падкий до поживы.

Короче, все горожане были под впечатлением этого дерзкого ограбления, знали все его подробности (опять же со слов охранника) — к ним и сводились все разговоры. Дьяконов это понял, как только увидел лица своих зрителей.

— Надо сразу встряхнуть их, — посоветовал он своему приятелю. — Сразу играем на форсаже. Не бойся переиграть, Сашок, они так взвинчены, что будет в самую пору.

А играли они известный отрывок из «Леса» Островского, где встречаются два старых приятеля-актера Счастливец

и Несчастливцев: «Откуда ты?» — «Из Вологды в Керчь. А ты?» — «А я из Керчи в Вологду».

Дьяконов играл Несчастливцева. В небольшом закутке, который служил гримуборной, они подгримировались. Дьяконов, как и положено провинциальному трагику, надел парик с длинными немытыми космами, Саша взял на плечо свой посох, на который навесил узелок со скудным театральным реквизитом, и они вздохнули.

— Ну, с богом. — И Несчастливцев первым вышел на сцену. Зрители замерли. Наступила какая-то странная напряженная тишина. «Затишье перед бурей», — не к месту подумал Дьяконов и сел на приготовленный заранее пенек. Он долго шарил по карманам в поисках табака, но так ничего и не нашел. И тут появился Счастливцев. За его спиной болтался на посохе тощий узелок.

Подали первые реплики. А зрители, кажется, их совсем не слушали — они о чем-то перешептывались между собой и показывали испуганными глазами на Несчастливцева. И когда непонятное напряжение в зале достигло предела, Счастливцев, удивленный очередной репликой партнера, резко повернулся, его посох задел за свисающие провода, раздался треск, посыпались снопы ярко-белых искр — и свет погас.

Зрители в ужасе вскочили с мест и бросились к выходу, началась давка. И тогда наиболее догадливые проломили фанерные листы забора, и люди ринулись в рощу. Выручили белые ночи, иначе никак бы не миновать членовредительства.

Сбежалась милиция, раздались тревожные трели, какой-то страж порядка в растерянности бабахнул из своего табельного орудия в воздух. Завизжали женщины, и паника стала разрастаться, как снежный ком.

Счастливцев с Несчастливцевым, спасаясь от искр, спрыгнули со сцены и не знали, что делать. Тут их и приметили, одиноких и растерянных.

— А-а, сволочь, попался!

Бдительный страж порядка одной рукой схватил Несчастливцева под локоть, а другой — за волосы. И вдруг эти волосы остались в его пятерне — парик! А тут еще у обоих артистов потек грим.

— А-а, падлюки, замаскировались!

— Мы артисты! — завопил Дьяконов.

— Это и так видно! Гастролеры! — обрадовался старшина и изо всех сил дунул в свой свисток.

Сбежались другие милиционеры. Артистов скрутили, и Дьяконову досталось больше, чем его напарнику. Во-первых, потому что он был в парике, похожем на парик грабителя, а во-вторых, истошно вопил:

— Я — Несчастливцев!

— А твой друг, думаешь, Счастливец? — ядовито спросили его.

— Да, Счастливец!

И за эту «шутку» ему добавили еще пару горячих. Милиционеры, видно, Островского не читали и спектакль не смотрели. А в милиции уже рапортовали высшему начальству:

— Все очень просто, товарищ генерал! Взяли тепленькими! Все улики налицо! Замаскировались, сволочи, да нас не проведешь!

Не знаю, что им за это пообещал генерал, но через короткое время из столицы республики Сыктывкара раздался звонок и грозный голос сказал:

— Вы что там — совсем офонарели? Хотите, чтобы я вас всех разогнал? Чем вы занимаетесь, мать вашу!..

Разобрались.

Но ведь ребятам надо было играть Островского дальше. А у Несчастливцева морда такая, что никакой грим не спасет. И тогда они придумали за Островского еще несколько реплик:

— Послушай, брат! — восклицал Счастливец. — Кто тебя так разукрасил?

— Кто меня может разукрасить?! — гневно спрашивал Несчастливцев. — Ты же меня знаешь — я сам кого хочешь разукрашу! А это... Я был на Волге, брат, и очень мне захотелось подняться на утес Стеньки Разина... Помнишь, «Есть на Волге утес...». Упал я с него, брат, и расшибся. Крепко расшибся. Что ж, шрамы украшают трагика.

А дальше все шло по тексту.

Расскажу еще один забавный случай. Я видел это в Театре Советской (ныне — Российской) Армии. Не помню, как точно назывался спектакль, по-моему, «Корабли штурмуют бастионы», про адмирала Ушакова. Случилось все во время общественного просмотра.

Открывается занавес. На сцене — город, где все умирают от холеры. Должен приехать Ушаков, а с ним и Пирогов, чтобы лечить людей. И вот, одному артисту нужно бежать с депешей. Но пока он бежал, решил почему-то лихо прыгнуть. И не рассчитал (там же сцена огромная, двухэтажная) — прыгнул на ступеньку, а она вылетела у него из-под ног. Актер кувырком докатился до рампы, ударился о нее — раздался звон стекла — и напоследок еще все эти стекла собой передавил; сабля его отлетела в одну сторону, депеша — в другую, треуголка — в третью. В довершение всего актер встал на колени, распростер руки и сказал всему залу:

— Твою мать!

А потом принялся подбирать то, что уронил при падении. Он подбирает саблю, сует ее под мышку, наклоняется за треуголкой, надевает ее на голову, наклоняется за депешей — и сабля у него падает! Он берет депешу под мышку — падает треуголка! Получился настоящий цирковой номер. Хохот в зале стоял чудовищный! В конце концов артист все бросил и, пробормотав: «Да пошли вы все!», ушел со сцены. Занавес, конечно, тут же закрыли. А когда открыли, за кулисами раздался жалобный, изнуренный хохотом голос актера Бориса Ситко (игравшего губернатора, которому и должны были вручить эту депешу):

— Я не могу-у-у выйти на сцену! Я не могу-у-у!..

На сцене в это время лежали два «трупa» — и тряслись от безудержного смеха. Естественно, никуда уползти они не могли. Вышел Ситко — у него слезы по лицу — и обратился к залу:

— Товарищи, подождите немножко, сейчас мы отсмеемся.

В зале опять хохот. Наконец из зала раздался жалобный голос Алексея Дмитриевича Попова, главного режиссера и постановщика спектакля:

— Ну что, теперь можно?

Ситко сказал:

— Можно.

И спектакль продолжился...

Кстати, в том же театре произошла еще одна смешная история. Шел спектакль про Сталинград. Играл там Макаров, знаменитый артист, красавец, он и в кино много снимался. В финале этого спектакля Макаров лежал и, умирая, говорил:

— Перед смертью хочу испить волжской воды.

На сцене — огромная массовка. Кто-то убежал и возвращался с каской, полной воды. Макаров пил, произносил:

— Ну вот, теперь можно и умирать, — и умирал.

Однажды, когда, очевидно, в зале никого из официальных лиц не было (к тому же это уже финал спектакля, и ничто не могло повлиять на его продолжение), актеры решили Макарова разыграть. Приносят ему каску. Он подносит ее к губам, на долю секунды замирает, а потом не отрываясь выпивает все до конца. После чего протягивает каску и, сделав выразительную паузу, говорит:

— Еще!

На сцене — не хохот, а дикое ржание! Все актеры просто поползли! И я понял, в чем дело: они за кулисами влили в каску бутылку водки.

Макаров с этой каской в руке посидел-посидел и говорит:

— Нет, не дожидаться. Видно, придется умереть...

Уронил каску и откинулся в очень красивую позу.

На «Мосфильме» работал пиротехник Гена. Замечательный, настоящий пиротехник: на одной руке у него не было трех пальцев, на другой — двух. Как известно, пиротехник — это не только дым, туманы, не только разоженные костры, но и взрывы бомб, снарядов, подрыв танков и пр., и пр., и пр.

Кстати, эффектные взрывы на воде делаются очень просто. Берется обычный заряд, покупается обычный презерватив, заряд закладывается в него и погружается в воду. От заряда тянутся проводки к пиротехнику, который сидит на берегу. Он замыкает электрическую цепь, и происходит взрыв. Очень красиво и эффектно поднимается столб воды.

Так вот, Гена был одним из самых интересных пиротехников на «Мосфильме». И с ним обычно происходили какие-то невероятные истории.

Как-то мы вместе работали в картине «Город первой любви». Съёмки проходили в Киеве. Была отличная погода, и мы с Геней сидели на Андреевском спуске, наслаждались природой, болтали о чем-то. Вдруг метрах в двухстах от нас раздался оглушительный взрыв. И Гену, и меня отбросило куда-то, прижало спинами к какой-то стене... Оказалось: сработал запал и подорвал всю нашу взрывчатку на складе. Но, сла-

ва богу, никто от взрыва не пострадал. Правда, в окнах ближних домов выбило все стекла. Жильцы нас предупредили:

— Если вы до семи вечера, когда вернутся с работы мужики, не вставьте стекла, будет беда.

И в домах на Андреевском спуске вся труппа взялась вставлять выбитые стекла. Обошлось более-менее без скандала.

Но самая интересная история, Гену прославившая, случилась в Ростове. Там, во время съемок уже другого фильма, не была еще подготовлена комната для хранения оружия и прочих боеприпасов, поэтому Гена принес все это хозяйство к себе в номер гостиницы.

Съемки еще не начались, и Гена жил довольно празднично и вольно. Человек он был совершенно не агрессивный, интеллигентный, доброжелательный. Но — с определенной человеческой слабостью. И вот как-то, когда, придерживаясь за стены, он возвращался к себе в номер, дежурная сказала:

— Вот артист! Ходят тут...

Гена, как обычно молча, прошел к себе, но реплика дежурной его все же задела. Через пять минут он вышел из номера, таща за собой пулемет «Максим». Лента в пулемет уже была заправлена. Гена развернул ствол в сторону дежурной и сказал:

— А теперь получай, старая б... — и дал очередь.

Надо заметить, что, когда стреляют холостыми патронами, это даже пострашнее, чем боевыми, потому что из ствола вылетает огромное пламя.

Дежурная ойкнула и завалилась за стойку.

Изо всех дверей высыпали люди. Гена крикнул им:

— Ложись! — и дал еще очередь.

Появилась милиция, Гена и им крикнул:

— Менты, ложись! — дал очередь — «менты» тоже залегли.

Короткими очередями Гена положил всех на пол. В конце концов патроны у него кончились. Тогда он встал на колени — из-за щитка на всех глянули его жалобные глаза. Он пытался встать с поднятыми руками, но его скрутили, немного побили и увезли в милицию.

Режиссер попросил меня выручить Гену. Я пошел в милицию и стал объяснять, какой Гена хороший человек, какой высокопрофессиональный специалист, но вот, мол, в его адрес была брошена оскорбительная реплика, и как же после этого он мог сдержаться?!

— Ребята, — сказал я, — ведь вы тоже своих друзей любите и уважаете, и, если бы ваш товарищ так же защищал свою честь, вы, наверное, простили бы его.

Милиционеры подумали-подумали и отпустили Гену.

А еще одна история приключилась с ним, когда мы снимали картину «Пядь земли». Пиротехником у нас, как вы уже догадываетесь, был Гена, а оператором... Назовем его просто Юра. Это был очень худой грузин, заросший по всему телу невероятной шерстью. Когда он раздевался, то создавалось впечатление, что одет он в огромный черный мохеровый свитер.

И вот на танкодроме в Тирасполе стали опробовать взрывы — надо было снять обстрел артиллерийской батареи.

— Гена, — командует оператор. — Попробуй устроить хороший взрыв.

А земля была твердая, как бетон.

Гена что-то зарядил, подключил, за бугром пукнуло — и несколько кусков этого самого грунта взлетели вверх.

Юра говорит:

— Гена, разве это взрыв? Сделай настоящий, я тебя прошу!

— Сейчас, сейчас, сейчас...

Опять — бум! — и два куска полетели вверх.

Юра стал кричать:

— Гена, ты пиротехник или кто? Ну сделай настоящий взрыв!

— Сейчас, — сказал Гена и куда-то пошел.

Через некоторое время возвращается с полными ведрами воды, уходит за бугор, а оттуда идет уже с пустыми ведрами. И так — несколько раз. Я говорю Збруеву (мы лежали неподалеку):

— Саш, мне что-то это не нравится... Что-то Гена затеял.

— Мне тоже все это подозрительно, — говорит Збруев. — Давай-ка отползем в стороночку.

А Юра кричит нам:

— Эй, вы! Снимаетесь в военной картине, а боитесь. Трусы!

И в это время раздался милый интеллигентный голос Гены из-за бугорка:

— Я готов...

Но что-то недоброе крылось в его интонации.

— Давай!

Взрыва вроде и не было: просто с жутким шелестом из-за бугра возник огненно-черный столб, и пошла невероятно горячая волна. Мы врылись со Збруевым в землю, хотя лежали от взрыва относительно далеко. И услышали дикий вопль.

Обернувшись, увидели: Юры на месте нет. И еще увидели пробитую в недалеком кустарнике просеку, которой раньше не было.

— Знаешь, — говорю Збруеву, — это Юра.

И мы побежали по просеке. Чувствую: пахнет паленой шерстью... Юра стоял на коленях в конце просеки, и на нем не было его знаменитого «свитера». (А до этого он сидел с нами по пояс обнаженным, потому что было очень жарко — около 45 градусов. А мы со Збруевым снимались в танке — там вообще можно было свариться.) И вот Юра стоит на коленях, все его тело покрыто желтой корочкой, и он страшно пахнет паленой шерстью.

— Юра, — сказал я, — дело твое плохо, это страшный ожог, и мы должны на тебя пописать.

— Что-о? — закричал он. — Я князь и не позволю!..

— Князь не князь, но если хочешь жить, Юра, придется смириться.

— Но вы же будете трепаться!

— Никогда!

И мы с Сашей — я сейчас рассказываю об этом в первый раз — описали его, а он все продолжал ругаться:

— Я князь!.. Я князь!..

Когда мы привезли его в больницу, нам сказали, что, если бы мы не проделали этой процедуры, его дела были бы совсем плохи. К тому времени его тело покрылось огромным волдырем. Но мы все-таки смягчили его страдания.

А виноват во всей этой истории был наш замечательный пиротехник Гена.

После этого он скрылся и не появлялся три дня.

Юра просил:

— Как только появится, скажите мне — я его убью.

Но не убил. Катастрофа миновала. Появился Гена, они пожали друг другу руки, и все кончилось мирно.

На этой же картине произошло еще кое-что.

Режиссер Яшин сидел на маленьком складном стульчике, а Гена проверял взрывы — уже среди орудий. Яшин все кричал:

— Давай больше! Больше! Больше!

Мы со Збруевым спрятались за автобусом. Лежим и наблюдаем за всеми этими действиями.

Вдруг — страшный взрыв, и мы видим: огромный ком земли описывает дугу и летит прямо на Яшина. Мы замерли, услышали шмякающий такой звук, Яшин подлетел метра на полтора со своего стульчика и завопил. Оказалось, ком этот упал ему точно на подъем и сломал косточку на ноге.

До конца съемок Яшин ходил в гипсе, мы его называли «адмирал Нельсон», и он дико злился.

А Гена навсегда вошел в историю «Мосфильма»: ведь настоящие пиротехники не могут жить без происшествий.

Вещи не ревнуют друг к другу и не кичатся своим происхождением. Они могут мирно сосуществовать рядом при разнице в возрасте в две тысячи лет и не замечать этого. Могут относиться к разным эпохам, цивилизациям и не обращать на это никакого внимания. Им все это до лампочки, потому что они — свидетели прошлого, свидетели истории.

Вот у меня на книжной полке хранится в маленькой рамочке экслибрис. На нем государственный герб Российской империи — двуглавый орел и текст: «Библиотека Его Императорского Величества. Зимний дворец». Как у меня появился этот знак, даже вспомнить не могу. Но — вековая история.

А рядом с этой рамочкой лежит кусок колючей проволоки — история новейшая: память о событиях 1991 года у Белого дома в Москве.

В ту августовскую ночь я не мог оставаться дома и посчитал своим долгом гражданина быть на Краснопресненской набережной рядом со всеми, кто пришел туда защищать свою честь, свое достоинство.

Я долго бродил среди толп людей, где, кстати, было и много молодежи, женщин с детьми. И вдруг слышу:

— Лёва, иди сюда!

Я обернулся и увидел рыжего бородача в камуфляжной форме, да еще, вроде, парадной. Лицо его мне показалось знакомым, но я никак не мог вспомнить, где я его видел. Подошел. Оказалось, что попал к представителям штаба внешней охраны Белого дома. Этот бородач очень лихо всем распоряжался и все время уговаривал ребят не пускать в дело «дурь» — бутылки с зажигательной смесью.

Он послал навстречу войскам своих ребят с листовками и просил их:

— Ребята, разговаривайте с солдатами культурно, интеллигентно. Они же сами не знают, куда идут. Они выполняют приказ. Они же военные люди. Будьте с ними деликатны.

Потом к этому бородачу подошел какой-то парень и говорит:

— Ты что, командир, не видишь вон того в голубой куртке? Подозрительный тип...

— Вижу, — сказал бородач. — Давно за ним наблюдаю. Давайте его сюда.

Привели типа в голубой куртке. Бородач спрашивает:

— На кого работаешь?

— Не понимаю...

Тогда бородач резким движением сорвал с него куртку, и мы, стоявшие вокруг, увидели под ней рацию. Тот сразу как-то завял, а бородач приказал своим:

— Ведите его в штаб. Там разберутся.

И этого, с рацией, увели в Белый дом.

Я спросил:

— А в чем дело?

— Да я давно уже за ним слежу. Он все время передает кому-то, что происходит вокруг Белого дома.

Спустя какое-то время стали говорить, что все, что происходило тогда вокруг Белого дома, было несерьезно, чуть ли не шутка. Да нет, все было очень серьезно. Если бы тогда «Альфа» не отказалась штурмовать Белый дом, то было бы... страшно подумать. Недаром кто-то из Белого дома через громкоговоритель все время повторял:

— Я профессиональный военный. Женщины и дети, я вас умоляю уйти отсюда, потому что, если начнется здесь, вы в мышеловке. Вы сами заперли себя баррикадами и не представляете, что здесь будет твориться. Умоляю вас, уходите отсюда!

Через некоторое время опять:

— Я вижу, вы здесь остаетесь. Прошу вас, как только начнется стрельба, ложитесь на набережной под парапет.

Но как он ни уговаривал, никто так и не ушел.

Возвращался я домой под утро, промокший насквозь. Видал эти ромбики, сделанные из досок. В них лежали кровавые сгустки. И уже кем-то были положены цветы...

Видал какую-то элегантно одетую женщину с депутатским значком, которая выводила из трагического тоннеля броне-

транспортеры. Смотрел на солдат, сидевших на броне, — потухшие глаза и серые лица. На них было страшно смотреть. На некоторых танках уже были вывешены трехцветные флаги.

Врезалась в память незабываемая сцена. Возле танка сидит капитан — усталый до изнеможения, черный. Но очень красивый. А перед ним прыгает какой-то тип с депутатским значком и кричит:

— Снимите этот флаг! Этот красный флажок со своего танка! Укрепите вот этот! Вы что, пришли сюда убивать?

И капитан устало:

— Да перестаньте вы прыгать!.. Никого я не собираюсь убивать. А флагу я присягал вот этому, красному. Вот когда сменят присягу, тогда я присягну этому флагу. А если, кстати, хотите, меняйте сами, а меня оставьте в покое.

Депутат все продолжал прыгать. И тогда я не выдержал, взял его за грудки и сказал:

— Оставь его! Ты что, не видишь, что он не в себе? Что он, сам не понимает, что выполняет противоестественный приказ? А ты еще перед ним прыгаешь!

И этот господин со значком отскочил, скрылся в толпе. Капитан поднял глаза и сказал:

— Спасибо. — Потом рассмотрел меня: — А-а, артист Дуров?

— Да, — говорю.

— Вот видишь, какая история...

— Отдыхай, капитан. Я пошел.

А уже перед тем, как мне покинуть площадь, меня остановили, откусили кусочками кусок проволоки от ограждения и вручили без всяких торжественных слов. Просто сказали:

— Возьми, Дуров, на память.

Потом я узнал, кто такой этот рыжий бородач, что стоял в охране Белого дома. Как-то на улице меня окликнули — и я увидел перед собой того самого командира. Оказалось, это писатель Виктор Доценко, автор детективных романов, и что мы живем с ним в одном доме. Потому мне и показалось тогда его лицо знакомым — значит, когда-то встречались взглядами то ли в лифте, то ли в подъезде.

Живем рядом, а встретиться и поговорить все как-то недосуг. И только кусок колючей проволоки напоминает мне о той тревожной ночи.

А вот эта красивая вещица называется волчанка. С ней охотятся на волков. Садятся джигиты на коней и мчатся по степи за волками. Догоняет такой охотник волка и с седла бьет его волчанкой. Считай, что волка нет.

Выглядит же волчанка очень даже изящно: этакая искусно оплетенная палочка, вроде дубинок у наших милиционеров. В полметра длиной и сантиметра два в диаметре. Судя по весу, оплетен или свинцовый, или стальной стержень.

Подарил мне волчанку мой большой друг Мухтарбек из знаменитой цирковой династии осетинских наездников-джигитов Кантемировых. А создал группу — с ее великолепным красочным номером поразительной джигитовки — Алибек Кантемиров еще в 1924 году.

Мухтарбек обладает необыкновенной физической силой, владеет карате и всеми видами оружия, причем предпочитает холодное оружие. Все, что ни бросит, у него втыкается.

Мы с ним попадали в разные ситуации, и он никогда не использовал ни свою физическую силу, ни свое спортивное умение. Это один из добрейших людей, которые мне встречались за всю мою жизнь: он просто не может обидеть человека — это противно его характеру.

Он начинал выступать в цирковой группе Кантемирова, а потом создал свой театр лошадей. Стал изумительным актером, каскадером. Мне довелось сниматься с Мухтарбеком в одном фильме, и я получил от общения с ним огромное удовольствие.

Нужно только видеть, как Мухтарбек скачет на лошади. Потрясающее впечатление! Невозможно понять, где лошадь, а где наездник. Кажется, что они сливаются в единое существо.

А следует заметить, что лошадь очень умное и коварное животное. Человек к ней еще только подходит, а она уже понимает: умеет он ездить верхом или нет. И если видит, что имеет дело с новичком, тут же начинает проявлять характер. Когда на ней затягивают подпругу — надувает живот, а стоит выскочить на манеж — тут же выпускает из себя воздух, и неопытный наездник под веселый хохот зрителей вместе с седлом оказывается у нее под брюхом.

А бывает и так: когда такой горе-наездник начинает ее седлать, лошадь просто наступает ему на ногу. Боль жуткая! Тот

орет, а она ни с места. Но тут на вопли выбегает конюх: «Ты что? А ну-ка!» И лошадь сойдет с ноги, потому что знает: за окриком последует наказание, и больно будет уже ей.

Когда Мухтарбек подходит к лошади, он начинает говорить ей ласковые слова:

— Куколка, бабочка, красавица...

И даже колхозные одры начинают мелко-мелко дрожать в нетерпении. Это нужно видеть.

Так вот, этот прекрасный человек и подарил мне такую изумительную вещицу — волчанку.

Кинул я зачем-то этот драгоценный подарок в «бардачок» своей машины и вроде бы даже забыл про него. В Москве, как известно, волки по улицам не бегают, а прохожих бить я не собирался. Я уже был известным артистом, и меня узнавали в лицо. О хулиганском периоде моей жизни я вроде уж и забыл. И не только никогда больше «не шутил» над прохожими, но даже научился быть с ними вежливым и предупредительным.

И вот как-то еду я куда-то, тороплюсь, а меня подрезает шикарный «мерс», в котором сидят два амбала. Они притормаживают, одна бандитская морда высовывается в окошечко и начинает хамить.

— Да пошел ты!.. — огрызаюсь на ходу, потому что мне некогда с ними базарить, и еду дальше.

Останавливаюсь на минуту у магазина, чтобы купить кока-колу. И они останавливаются. Вылазят два шкафа с глазами, видно, бывшие борцы, и в лицо меня не узнают. Значит, думаю, «новые русские» телек не смотрят — у них другие забавы. И один из них спрашивает:

— Ты действительно послал нас?..

— А чего, — спрашиваю, — вы плохо слышите?

И тогда один другому говорит:

— Убей его.

— Ребята, — возражаю я, — вас двое, а я один. Схожу за приятелем.

— Иди, — говорят.

Я взял из «бардачка» эту волчанку и — навстречу амбалу, который уже принял боевую стойку. Тут я ему этим прибором и врезал в грудь. Он рухнул на колени — и лбом об асфальт.

Второй ничего не понял, спрашивает:

— Ты чего?

— Сам не знаю, — отвечаю, потому как не ожидал такого эффекта.

Наконец тот, который лбом об асфальт, очухался:

— Чего это было?

— Сам не знаю, — опять говорю им честно и прошу: — Вы, ребята, подождите, я сейчас кока-колы принесу, а то его, может, тошнить будет.

Купил кока-колу, дал ему попить, а он никак еще в себя не придет и все интересуется:

— Чего это было?

— Да друган тебе расскажет, а я поехал. Пока!

Приезжаю домой и сразу звоню Мухтарбеку.

— Послушай, — говорю, — что ты мне подарил? Я тут чуть человека не убил — попал ему в грудь.

— Он отключился? — спрашивает.

— Конечно!

— Правильно. Он и должен был отключиться. Но это, — говорит, — скоро проходит: обычный шок.

— Нашел, — говорю, — кому дарить: я ж лефортовский. Как говорят блатные, вынул нож — так бей!

А тут еще один дружок — Ваня из Японии, Ваня-сан — привез мне два сувенирных самурайских меча. Шикарные мечи! Но что мне с ними делать? Пусть лежат, не в «бардачок» же их класть. А то попадутся еще в дороге крутые ребята, и что мне тогда прикажете? Вот то-то и оно! Волчанка хорошо, а мечи-то — лучше...

Есть у меня еще иконы. Но я их специально не собирал: они достались мне по наследству от мамы. Когда я смотрю на эти древние лики, то ощущаю себя причастным не только к православию, но и к своему древнему роду, который никогда не изменял вере русской, а уж пострадал за нее достаточно.

Мне рассказывали, как в древнем русском городе Старица, известном с XIII века, где был основан в XVI веке Успенский монастырь, а всего там было семь монастырей-крепостей, так вот в этих монастырях во время гонений на церковь при советской власти сдирали иконостасы и либо уничтожали на месте, либо грузили на машины и вывозили неизвестно куда.

А теперь появились коллекционеры, у которых все стены в иконах! Это что — почитание святынь? Да ничего подобного! Люди, считающие себя верующими, превратили предметы православного культа в некое подобие переходящей моды, вроде моды на кассеты с записями эстрадных звезд.

Как-то меня спросили: «А не думаете ли вы, что эти коллекционеры охраняют сокровища от разграбления?» Нет, не думаю. Охрана исторических ценностей нации — обязанность государства. Так, господа коллекционеры, отдайте их под охрану государства!

Не отдадут!

Но вот поразмыслил еще — и меня взяло сомнение: а может, и правы коллекционеры? Какого государства? У которого размыты не только внешние границы, но и внутренние законы?

Довериться Храму? Но его уже однажды взрывали, и кто поручится за то, что не взорвут еще раз?

Видно, все-таки коллекционеры правы: пусть уж держат эти «культовые предметы» в своих сусеках.

А вот уже пошли древности.

...Глиняный кувшинчик странной формы: то ли это лотос, то ли символическая фигурка женщины.

Мне его подарил артист Гасанага Турабов. Мы снимались с ним в Азербайджане в картине Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой». Я очень полюбил этого артиста и как-то, выступая на телевидении, сказал, что он мог бы украсить труппу любого европейского театра. И видно, мои слова до того его тронули, что он решил сделать мне памятный подарок. И, передавая мне этот кувшинчик, сказал, что ему две тысячи лет, а найден он в древних захоронениях.

Не знаю, сколько ему лет на самом деле, но кувшинчик очень красивый.

...Маленький глиняный конус. Может быть, носик от какого-нибудь сосуда. Его я нашел сам. В Крыму. Плавал с маской и как-то увидел на дне целое кладбище разбитых амфор: лежали там, наверное, еще с древнегреческих времен. Вот эту античную вещицу я и достал со дна моря — на память о Крыме.

...Еще одно глиняное изделие, напоминающее по форме наш русский чугунок. Его я нашел в Бахчисарае, где вообще случилось несколько замечательных историй.

Мы там снимали фильм «Христос приземлился в Гродно». Место, где снимались, называлось Оползневое. Вокруг него не было ни одного селения, и это показалось поначалу странным. Но потом нам объяснили: здесь постоянно дует сильный ветер, дует без перерывов с одной и той же скоростью, и это влияет на психику человека. Более получаса на нем невозможно выстоять. Начинаешь нервничать, дергаться, появляются сильные головные боли.

У нас была большая массовка, наверное, человек двести или триста. И вот как-то в группе появился еще один, который представился Василием Рыбкой. Сказал, что занимается раскопками и сейчас здесь, наверху, раскапывает древний курган. Предложил: если кто хочет покопаться, может присоединиться к нему.

Кто-то из любопытства пошел. Через несколько минут Вася кричит:

— Нашел!

И показывает нам медный наконечник от стрелы. Чуть не все, конечно, схватили лопатки и бросились наверх — крушить курган. Ничего интересного не нашли, но азарт поиска уже захватил людей, и на следующий день массовка сильно поредела.

— Нашел! — кричал Рыбка и показывал всем стеклянный сосуд. Объяснял: — Это для благовоний. У меня такой уже есть, теперь будет второй.

На третьи сутки наша массовка раскурочила весь курган, но что-то находил только Вася Рыбка: то монетку, то кусок древней керамики... А через несколько дней он подошел ко мне и говорит:

— Константиныч, понимаешь, у меня денег нет на раскопки, а как заинтересовать людей? Вот я из дома и приношу эти древние вещицы и подкладываю. И видишь — массовка раскопала целое городище.

А потом Рыбка стал главным егерем Крыма. И стреляли в него браконьеры, и чуть ли не капканы на него ставили — всякое было.

Интересный человек. Писал стихи, статьи и очерки по истории Крыма, о древних племенах, которые населяли этот остров.

Ездили мы с ним собирать травы на высокогорные луга — ведь там весь набор лечебных трав. Однажды он мне сказал:

— Константиныч, знаешь чего? Ты должен принять императорские ванны.

— А что это такое? — спрашиваю.

— Сам увидишь.

Рыбка привез меня на окраину Ялты в какую-то небольшую хибарку на берегу моря, рядом с санаторием. Вокруг хибарки — садик, и в нем, как полагается, сливы, персики, груши, гранаты, виноград. А посреди дворика стоит ванна на кирпичных столбиках.

Какие-то люди мне говорят:

— Раздевайтесь, сейчас будете принимать императорские ванны.

И стали в эту ванну таскать какие-то венички, свежескошенную траву, а потом разожгли под ней костер. Когда вода закипела, мне сказали:

— Залезайте!

— Вы что, обалдели? — взмолился я. — В кипяток меня суете!

— Вот-вот, — говорят. — Вы не трусьте, не обожжетесь. Горячо будет, но вкрутую ваше хозяйство не сварится.

Я залез и чувствую, что действительно терпимо.

— А вот ветки, — говорят, — под себя подкладывайте.

Я подложил. Жутко горячо, но я терплю. А вокруг меня все булькает, и не поймешь, в чем варишься — то ли в борще, то ли в щах. А тут еще из каких-то флакончиков благовония подливают — вроде приправы...

Вот так варился, варился я, не знаю сколько, может быть полчаса, может больше. И наконец мне сказали:

— Вылезай.

Я вылез, а меня качает.

— Это естественно, — говорят. — Это травы так действуют.

И повели меня под руки к морю.

— Давайте поплавайте немного.

Я поплавал. Вылез на берег — а меня опять в этот кипяток.

— Эти ванны, — говорят, — омолаживают. Лет на десять будете моложе.

На сей раз меня поменьше поварили: минут десять. И — опять в море. А после этого дали какую-то черную настойку — ма-

ленькую рюмочку. Оказывается, настоечка была на зеленых грецких орехах. Ну, я выпил и упал как подкошенный.

Проснулся, а меня спрашивают:

— Ну как вам — хорошо?

— Да, — говорю.

— Вы помолодели лет на десять.

Я посмотрел на себя в зеркало: да нет, особенно не помолодел, но то, что приобщился к римским императорским ваннам — это точно. Я этими благовониями пах около месяца, никак не мог от этого запаха отмыться...

Мы с Рыбкой долго переписывались. Ну, а со временем связь прекратилась, и теперь я даже не знаю, чем он занимается.

...А вот стоит самовар. Мне его подарил мой друг Толя Заболоцкий после съемок картины «Калина красная», когда мы были в Белозерске.

Толя Заболоцкий — оператор, друг Василия Макаровича Шукшина. Он снимал почти все его картины. Еще у него была картина про Дагестан, которую запретили к прокату. И хроникальный фильм «Покос» — про то, как крестьянин косит. Там был совершенно грандиозный план — начинался с сухой рубашки, в которой человек только вышел на покос. Толя снимал его со спины. Шел, шел за косарем, а рубашка темнела, темнела, темнела, потом на ней проступали капли и... начинали литься ручьи пота. Это была поэзия настоящего крестьянского труда — поэма о труде. Замечательная картина!

А вообще Толя много снимал художественных фильмов — и в Москве, и в Ленинграде. А после смерти Макарыча с кино порвал и стал заниматься художественной фотографией. Фотографии он делает совершенно невероятные. У него уже было несколько персональных выставок. Кроме того, он иллюстрирует книги. Вот у меня стоит юбилейное издание «Слова о полку Игореве», которое оформлял Заболоцкий. Иллюстрировал он и книги Виктора Астафьева.

Несколько лет назад финны заказали Заболоцкому календарь «Русский женский портрет». Толя ходил по всем музеям, израсходовал километры пленки, потратил все свои деньги, но календарь сделал — шикарный. И подарил мне экземпляр.

Я заказал рамки, застеклил и повесил на даче: двадцать четыре женских портрета! Изумительные лица — и Юсупова, и Ланская (Наталья Гончарова, которая после смерти Пушкина стала женой генерала Ланского)... И все это на отличной бумаге, передающей патину подлинника.

Толя удивительный человек. Абсолютный бессребреник, дважды заслуженный деятель искусств — России и Белоруссии, где он проработал много лет. Человек с неожиданными проявлениями.

Однажды звонит мне и говорит:

— Лёва, выручай. Я вчера в милицию попал. Все документы отобрали.

— А в чем дело?

— Да потом, — говорит, — я тебе расскажу. Плохая история со мной приключилась.

Я спросил у него, какое отделение милиции, и поехал. Прихожу к начальству.

— Ну вот! Дуров заступаться приехал! — говорит начальник. — Мы его сажать будем!

— Здравствуйте, — говорю, — в чем дело?

— А вот, пожалуйста, протоколы, показания милиционеров, которые его привели к нам.

— Так в чем все-таки дело?

— Видишь ли, — объясняет начальник, — он поехал домой на такси. А улица Алексея Толстого — она ж правительственная, и она закрыта. Ему пришлось вылезти из машины и пойти пешком. Он шел, шел и неожиданно лег посреди улицы. Подходят милиционеры: «Ты что здесь разлегся? Вставай, это правительственная улица». А он говорит: «Потому и лежу, что с этим вашим правительством по одной земле ходить не хочу». Они настаивают: «Вставай!» А он им: «И с вами заодно тоже не хочу ходить по одной земле, потому и лежу». Ну они его подняли и повели. А он все и рассказал по дороге: что он думает и о партии, и о правительстве, и о милиции. Вот мы и отобрали у него все документы и сказали, что будем сажать.

Я говорю:

— Начальник, скажи, пожалуйста, вот ты читаешь все эти показания, а я выйду сейчас из отделения и напишу на тебя телегу твоему министру: мол, разговаривал я с тобой, а ты ругал Политбюро и все на свете. Отбрешешься?

— Никогда!

— Так чего ты эти протокольчики собираешь? Мало ли что могли твои нагородить!

— Действительно... Пусть он ко мне зайдет.

Заболоцкий зашел. А потом мне этот начальник звонит:

— Дуров, слушай, да какой же этот Заболоцкий замечательный человек! Мы тут так побеседовали, что я его вообще отпускать не хотел. Вот с ним бы вместе в камеру сел и год бы просидел — очень интересный человек!

— Ну, вот видишь, — говорю. — А то сразу: сажать!

Посмеялись, и на этом вся эпопея закончилась. А потом, когда я приехал на съемки в Бахчисарай, мне говорят:

— Толя Заболоцкий болен. Лежит в гостинице.

— Что с ним?

— Простудился и подхватил ангину.

А жара градусов тридцать пять! Захожу к нему в номер, а он лежит весь багровый.

— Открой рот, — говорю. — Хочу посмотреть.

Он открывает рот, и я вижу, что у него там висят ангинальные лохмотья. И тут мне ударяет в голову глупость. Не знаю, что со мной случилось, но мне очень хотелось помочь товарищу, и я побежал в аптеку. Покупаю там пузырек таблеток пенициллина. Захожу в номер.

— Открывай рот, — говорю.

Обжег я чайную ложку и стал соскребать у него с нёба все эти лохмотья. До того доскреб, что даже кровь пошла.

— А теперь, — говорю, — прими таблетку пенициллина.

Пока я мыл ложечку, слышу: хрум-хрум-хрум. Оборачиваюсь:

— Что ты делаешь?!

А он высыпал все таблетки в рот, разгрыз их и запил водой.

— Все нормально, — говорит. — Я уже чувствую, что мне лучше. Только завтра пусть отведут меня в баню, и все будет отлично.

Я испугался, что он отравится таким количеством пенициллина. А он утром проснулся — и хоть бы что.

Повели его в баню, там он попарился, и на второй день стал сниматься. А я понял, что могу еще и врачевать.

Заболоцкий вообще любил париться, а с Шукшиным — особенно. А мне с ними не везло.

Однажды мы сидели в парилке втроем: Толя, я и Василий Макарович. Сидели мы в рядок, чин-чином. И тут кто-то плеснул ковшик на камни. Им хоть бы что, а меня обварили с ног до головы этим паром. Так что к баням я отношусь очень осторожно.

Вспоминается еще история. Сидим мы в Белозерске в перерыве между съемками, опять же втроем, в какой-то столовке. И нам подали рагу: это такие макароны в большой палец толщиной, серого цвета и как будто ворона пролетела над тарелкой — это самое рагу. И — огромный, сморщенный, желтый, как дыня, соленый огурец.

Василий Макарович смотрит на этот огурец пристально-пристально и вилкой по жижице водит, водит, водит... И неожиданно бросает вилку и говорит:

— Вот сволочи! Огурец по бочкам замучили...

Встал и ушел. Мы с Толей переглянулись, а у меня даже сердце сжалось. Думаю: если у него такая боль за этот огурец, то уж за людей-то... Видно, представил Макарыч этот огурец на грядке — молодой, зелененький, красивый. И вот во что его превратили люди.

У Макарыча всегда желваки так и ходили на лице, будто он постоянно на что-то сердился.

И еще вспоминаю. Ехали мы вместе со студии Горького в «рафике». Шукшин сидел такой сумрачный-сумрачный. Вдруг снял с себя шапку, пересел на пол и сидит. Все молчат. Едем. Водитель притормаживает, оборачивается:

— Василий Макарович, вам лучше здесь выйти.

Шукшин сжимает в руках шапку и вдруг говорит:

— Пусть он только на меня крикнет — я ему крикну.. — И выходит.

Потом выяснилось, что его вызывал министр кинематографии, чтобы обсудить начало «Калины красной». И вот в кабинете они долго-долго говорили, министр вилял-вилял и, подводя черту под разговором, сказал:

— Ну, знаете, Василий Макарович, давайте так: я начальство, мне и решать!

Тут Шукшин неожиданно спросил:

— Слушай, начальство, когда у тебя рабочий день кончается?

— Ну, в семнадцать часов.

— А в семнадцать часов одну минуту я тебя пошлю знаешь куда? — И Шукшин пояснил куда.

Не знаю, пошел туда министр, куда его Макарыч послал, или не пошел. Но, говорят, он сидел после этого в кабинете, не вылезая, три часа — видно, обдумывал, что ему делать.

А в день смерти Макарыча... Наверное, такое только у нас бывает... Вот как это считать: кощунство — не кощунство? В день его смерти на одной из дверей «Мосфильма» прибили табличку: «“Калина красная”. Василий Шукшин». А что же при жизни-то?

Многие не хотели, чтобы снималась эта картина. Ему даже в группе вставляли палки в колеса: «Зачем нам нужна картина о бунтаре? Не нужна нам такая картина!..»

Помню, из Белозерска парнишка — ассистент оператора должен был вывезти на профилактику аппаратуру и прихватить с собой отснятый материал. Я в тот момент был свободен от дел, и Шукшин меня попросил:

— Помоги парню. Одному ему не справиться.

Понятное дело: огромные кофры с аппаратурой, пленки — там и вдвоем-то намаешься.

— Приедете в Вологду, — успокаивал Шукшин, — там вас встретят, помогут сесть на самолет. Прилетите в Москву, вас там тоже встретят и отвезут со всем хозяйством на «Мосфильм».

Приехали в Вологду — никто нас не встретил. Взяли мы с этим парнем машину, загрузили ее и поехали в аэропорт. Приезжаем и узнаем: такого рейса, который нам назвали, нет и в помине. Мы назад, на вокзал. Приехали. Оказалось, что билетов нет и в Москву уехать никак невозможно.

Выгрузили мы эту груду коробок и ящиков на привокзальной площади и стали по очереди охранять ее — цена аппаратуры была фантастической. А пленки? Это же весь материал, отснятый в экспедиции! Пошел я к начальнику вокзала.

— Никак не можем уехать, — говорю.

— Никто не может уехать, — отвечает. — Вы видите, у меня здесь как во время войны.

— Понимаете, — продолжаю, — у нас дорогостоящая аппаратура.

— У всех аппаратура.

— Да это картина «Калина красная»! Шукшин снимает!

Он сразу замер.

— Кто? — переспрашивает.

— Шукшин, — говорю. — Из Белозерска привезли.

— Шукшин? Новую картину? Какую?

Я ему вкратце рассказал сюжет фильма, и начальник загорелся:

— Ребята, да вы что! Первым же поездом! Сейчас телегу притащим!

Притащили огромную телегу для багажа, мы в нее все сложили и подкатили к тому месту, где, как сказал начальник, остановится наш вагон. Наконец сели. Приезжаем в Москву — и здесь нас никто не встречает. Погрузили свой багаж в такси, привезли ко мне домой. Я тут же позвонил на «Мосфильм» и сказал, что аппаратура и пленка «Калины красной» у меня дома.

Всё это забрали у меня только через неделю.

Очень многие хотели, чтобы не было этой картины — «Калина красная»...

Вот сколько веселых и грустных историй напомнил мне обычный русский самовар, который подарил мне Толя Заболотский.

А это уже опять из мира спорта: две хоккейные шайбы. На одной написано: «Владислав Третьяк. На память». На другой — эмблема чемпионата мира, который состоялся в Западной Германии.

Я поехал на чемпионат в составе группы поддержки. Нас было в группе трое: певец Иосиф Кобзон, пародист Александр Иванов и я.

Выехали мы по туристическим путевкам за символическую плату. Но перед тем, как нам выехать, в Москве появился мой друг Фима Нухимзон. Он когда-то руководил симферопольским Клубом веселых и находчивых. Остроумнейший человек. Фима вручил мне набор красивых нагрудных значков и сказал:

— Будешь вручать эти значки лучшему игроку после каждого матча.

Стал я рассматривать эти значки и пришел в ужас. На одних было написано: «Ребята, канадцам — конец!» Только вместо

слова «конец» другое, более емкое русское слово. На других: «Ребята, чехам —!», «Ребята, американцам —!», «Ребята, немцам —!» Только на одном была приличная надпись: «Ребята, отыграем клёво, и рядом с вами Дуров Лёва!»

Показал я эти сувениры друзьям, и они в один голос стали меня отговаривать:

— Ни в коем случае не вези ты эти подарки! Тебя на таможне сразу завернут.

Но все обошлось, и я благополучно пересек государственную границу. А потом действительно после каждого матча вручал лучшему игроку значок. Ох, и поохотали же наши хоккеисты!

А сам я тоже ходил все время со значком. И с ним-то и нарвался на одну любительницу сувениров. Она подошла ко мне и с восторгом сказала на ломаном русском:

— Боже мой, боже мой! Какой изумительный у вас значок! Я из Америки. Любительница сувениров. Продайте мне, пожалуйста, этот замечательный сувенир! — А на нем как раз было написано: «Ребята, американцам —!»

Я покраснел и говорю:

— Знаете, я не могу его продать, я должен вручить его Третьяку.

— Тем более!

— А во-вторых, — говорю, — я вам ни за что бы не продал, а просто подарил. Но не могу же оставить Владислава Третьяка без этого значка.

А она не отступает и умоляет:

— Ну я прошу вас. Взамен я куплю вам все сувениры, которые продаются на стадионе.

А там чего только не продавали: каски, рубахи со всеми номерами, клюшки, шайбы — все что угодно.

— Нет, — говорю, — ни за что!

Она очень расстроилась и наконец-то отвязалась от меня. А я был рад, что не уступил ее мольбам, потому что после матча торжественно вручил значок Третьяку, который, как всегда, блистательно отстоял эту игру.

Вообще говоря, Владислав пользовался на чемпионате огромной популярностью. Сидим мы как-то с ним возле стадиона на лавочке, и вижу — появляются две молодые жен-

щины, очень красивые высокие блондинки. На их красных майках написано «СССР». А когда одна из них повернулась, чтобы что-то сказать подруге, я увидел надпись и на спине: «Третьяк».

— Смотри, — говорю, — Владислав, в твоих майках ходят.

А он:

— О-о! Мои курочки. Сейчас они подойдут, возьмут автограф и уйдут. Эти девушки из Швеции. Они ездят за мной по всему миру. Никаких притязаний на меня у них нет. Просто такие вот поклонницы: приезжают во все страны, где я играю, берут автограф — именно в этой стране — и уезжают. Из-за меня им пришлось выучить русский язык.

И действительно, они подошли, и одна из них с очень сильным акцентом сказала:

— О, Слава, здравствуйте! Как вы замечательно играли! И мы так рады видеть вас здесь. Распишитесь, пожалуйста.

Они дали ему его же фотографии, и он расписался. Девушки одарили Третьяка ослепительными улыбками и ушли.

И еще запомнился случай на этом чемпионате. После первого периода с чехами, который наши выиграли со счетом 2:0, захожу в раздевалку, куда вообще-то посторонним не полагается заглядывать. Но поскольку и Тихонов, и Юрзинов хорошо ко мне относились, у меня такое право было. Я, конечно, не злоупотреблял.

Так вот, сидят наши ребята, отдыхают: Крутов, Ларионов, Фетисов — ну, словом, все наши звезды. И вдруг стремительно входит Тихонов и начинает их распекать:

— Вы что, думаете, выиграли первый период? Да вы его проиграли! Я смотреть на вас не могу! Что это за игра?!

Я слушаю — и ничего не понимаю: ведь они же замечательно играли!

Тихонов их распекает, а парни сидят и головы свесили — ну как дети в детском саду, которых воспитательница распекает за то, что они кубики разбросали. На это странно было смотреть. Долго он их распекал: настраивал на второй период. А потом они встали и молча пошли на лед.

Несмотря на то что на том чемпионате чехи были самыми тяжелыми противниками и играли жестко и коварно, игру наши закончили просто блистательно.

После матча я опять заглянул в «бункер». Вижу, Фетисова обкалывают новокаиновой блокадой, потому что у него весь бок синий. У многих кровоподтеки, ссадины... Тяжело досталась победа.

Однажды иду вдоль борта ледовой площадки и смотрю, как разминается наша команда. А Владислав Третьяк в воротах делает шпагаты, мечется от штанги к штанге. Я кричу ему:

— Слава, здравствуй!

Он даже головы не повернул в мою сторону. Я еще громче:

— Слава, здравствуй!

Никакой реакции. Кричу еще громче и думаю: ведь не может же он меня не слышать? И снова — ноль внимания. А после тренировки я его спрашиваю:

— Слава, ты что, не слышал, как я тебе кричал?

— Да слышал! Но нам нельзя отвлекаться. Когда я выхожу на лед, я уже в игре, весь собран, уже ловлю, несмотря на то что никто еще на меня не бежит. Я даже жену прошу всегда сесть так на трибуне, чтобы она не дай бог не попалась мне на глаза. Это меня сильно выбивает из игры.

Мне это очень понравилось. Мы, артисты, часто треплемся до самого выхода на сцену. Думаю, что пример Третьяка пошел бы нам только на пользу.

Как-то к нашей группе подошли местные ребята, немцы, и поинтересовались, что это мы там кричим: «Шайбу, шайбу! Мо-лод-цы!» Мы им, как могли, объяснили, и им понравилось. А потом они стали болеть за нашу команду. Правда, в определенных ситуациях они начинали вести себя агрессивно. Мы ведь, как и полагается, всегда ходили с нашим советским флагом. И он их, видимо, очень раздражал. И вот стоят они как-то толпой, а мы проходим мимо. Они начинают что-то кричать, улюлюкать и показывать большим пальцем вниз. Я вышел вперед и сказал им на чистом русском языке:

— Ребята, не так все это делается, а вот как!

И показал им наш замечательный русский жест. По-моему, они сразу всё поняли, потому что начали ржать, а на следующий день снова сидели рядом с нами и орали:

— Шайбу, шайбу!

То первенство мира мы выиграли, и поэтому возвращение на Родину было особенно радостным. С поражением вообще возвращаться страшно — что с чемпионатов мира, что с гастролей. А когда привозишь с собой победу, то и жить веселей, и хочется делать свое дело еще лучше.

Что там еще на моей барахолке? Ага, вот: деревянное распятие с человеческий рост, по крайней мере — с мой. Оно из картины «Христос приземлился в Гродно», но снимали это распятие мало. Мне его принесли, завернутое в сукно, прямо к вагону поздним вечером, когда я уезжал из Минска. Сказали:

— Это старинное распятие — тебе в подарок.

В купе оно не уместилось, и его поставили в тамбуре. Только поезд тронулся — раздается стук в дверь и входит милиционер.

— Это вы везете то, что стоит в тамбуре?

— Да, — говорю, — я.

— А что это такое — скульптура?

— Скульптура.

А он:

— Я сначала испугался, потом постучал, постучал, смотрю — твердое.

Я ему опять:

— Скульптура, скульптура.

— А кто это? — интересуется.

— Ленин.

— Точно! — подтверждает милиционер. — Я сразу догадался. Так пощупал лицо и вижу — борода.

Да простит меня Христос. Я был вынужден выдать его за Ленина, чтобы избежать осложнений с милицией.

А милиционер снова интересуется:

— Это вы куда — на выставку?

— Да нет, — говорю, — я его дома поставлю.

— Как дома?

— А что, — спрашиваю, — вы так относитесь к Ленину?

— Да нет, нет! Я вообще говорю... — Он выскочил из купе, и больше я его не видел.

Я не считаю кощунством иметь дома распятие. Помню, была среди реквизита огромная крашенная скульптура святого. Рос-

кошная скульптура. Так вот, начальство решило сжечь ее, чтобы не распространять религиозную пропаганду. Потом я достал из пепелища маленького ангела. Он тоже стоит на моей полке...

А вот эта вещица у меня со студийных лет. Неказистая на вид, она тем не менее очень дорога для меня. Называется балберка. Это такой толстый кусок пробки с дыркой посередине. И служит он всего-навсего поплавком на рыбачьих сетях.

Тогда я еще ухаживал за своей будущей женой, с которой мы учились в Школе-студии МХАТ. Однако за ней ухаживали и другие. Предлагали руку и сердце. Но она всем своим поклонникам всегда задавала один и тот же вопрос:

— А у тебя балберка есть?

— А что это такое — балберка?

— Вот ты сначала спроси у Дурова, что такое балберка, — отвечала она, — а потом уж навязывай мне свое внимание.

Ребята подходили ко мне и спрашивали:

— Лёва, что такое балберка?

— А это, — говорил я, — очень сложно объяснить. Наверное, не смогу...

— Ну скажи! Вон Кириченко говорит, что у нас ни у кого нет, только у тебя у одного есть балберка.

— Так, значит, — говорю, — пусть эта тайна и останется между нами. Вот когда у вас будут свои балберки, тогда и будете пользоваться вниманием у дам.

Всего-то кусок пробки. Казалось бы, ну что в нем? А это как посмотреть...

В своей замечательной книге «Былое без дум» мой друг Александр Ширвиндт со свойственным ему неистребимым остроумием описывает рожденный его беспредельным воображением «музей-квартиру Дурова».

У меня был очередной юбилей, и Ширвиндт с Адоскиным придумали такую форму поздравления, которая выглядела как закадровый голос к фильму, якобы снятому в честь юбиляра:

«Широкоформатная, стереофоническая лента, посвященная Льву Дурову, в двух сериях.

Первая серия — «Белая птица с черной отметиной».

Вторая серия — «Невелика фигура, но Дуров».

Сценарий Михаила Шатрова при участии закрытых архивов и открытого доступа к ним.

Постановка Никиты, Андрона и Сергея Михалковых. Монтаж Антониони.

Перевод с французского песни “Русское поле” Яна Френкеля.

Действующие лица и исполнители:

Лев Дуров — Ролан Быков

Маленький Лёвчик — Донатас Банионис

Лёвин папа — Вячеслав Невинный

Лёвина мама — Рина Зеленая

Лёвины жены — выпускницы циркового училища им. Щепкина

Лёвины друзья — Георгий Вицин, Евгений Моргунов и Юрий Никулин

Веселый прохожий с системой за пазухой — Олег Ефремов

Эфрос в театре — Марчелло Мазстроянни

Эфрос дома — Альберто Сорди

Эфрос в жизни — Борис Равенских

Москва! Колыбель Дурова... Калининский проспект — улица Горького — и, наконец, старая Москва. Марьино роща — центр культурной жизни Дурова... Вот они, его университеты — проходной двор между домами 4 и 5а, подворотня Старокаменного переулка, свалка у Миус... Движемся дальше... Лесная, Сушевский вал, Бутырская тюрьма — здесь каждый камень знает Дурова. Заглядываем за угол и натываемся на огромный особняк — музей-квартира Дурова... Входим в прихожую — все веет левизной: слева вешалка, слева дверь в узел, слева кабинет, в кабинете слева стол, на нем переписка — квитанции ломбарда, счета, домашние уроки — везде написано слева направо... В скромном уголке Дурова большой портрет Эфроса...

Дуров сегодня — совсем не то, что Дуров вчера, об этом говорят экспонаты... Рядом со вчерашней кепкой — велюровая шляпа, рядом со старой финкой и алюминиевой фиксой — фрак с почти свежим крахмалом. Отдельный стенд — печень трески.

— Откуда? — спрашиваем мы у зрителя музея, она же жена и няня Дурова. — Откуда это, Ирочка?

— Прислали почитатели таланта, — ответила нам она, привычно прослезившись, — рыбаки Каспия, у них недавно давали...

Дурова всегда тянуло к звездам. Вот портрет: Дуров на диване с чигиренком в руке тянется к Евстигнееву, стоящему на соседней крыше у своей голубятни.

На стене висит фрагмент татуировки с груди Дурова, выполненный со вкусом и тактом: на фоне лиры объемный барельеф Шах-Азизова и надпись: “Не забуду мать родную”».

Конечно, ни на груди, ни сзади, пониже спины, никаких татуировок у меня нет. Это может подтвердить каждый, кто парился со мной в бане. Но это так, к слову. Я все о ней же — о балберке. Как Саша мог пропустить ее и не уделить ей хотя бы несколько веселых слов!

А я вот сейчас еще раз посмотрел на этот кусок пробки, и мне на память пришел весельчак и балагур Ходжа Насреддин.

Как известно, Насреддин был бедным человеком. Но когда он расставался с очередной возлюбленной, ему очень хотелось подарить ей что-нибудь на память. И тогда он брал с дороги обычный камешек и говорил:

— Луннолика, ты знаешь, у меня ничего нет. Так пусть этот камешек напоминает тебе обо мне.

И луннолика клала этот камешек в ларец и хранила его как самое большое сокровище. А когда ей было очень уж тоскливо, она открывала ларец и, глядя на этот камешек, вспоминала о своем возлюбленном.

Вещи ценны не своей стоимостью, выраженной в рублях или долларах. Они дороги нам как память о людях, живых и ушедших, о встречах с ними и о событиях, свидетелем или участником которых был и ты сам.

С вещами можно беседовать. Смотреть на них и молча с ними разговаривать. Они о многом могут напомнить. Даже о том, о чем ты и сам, казалось бы, успел забыть...

«НЕ ЗАЗРИТЕ МОЕМУ ОКАЯНСТВУ»

«Еще одно, последнее сказанье — и летопись окончена моя. Исполнен долг, завещанный от Бога мне, грешному».

Вот подходит к концу моя книга, и меня начинают обуревать грустные мысли. Трудно, очень трудно писать книгу воспоминаний.

Грустно же оттого, что часто вспоминаю один случай, который заставил меня задуматься над некоторыми особенностями этого рода литературы.

Раз как-то один большой режиссер попросил меня прочесть рукопись его воспоминаний.

А надо сказать, что автора этой рукописи я уважал, и мне было просто интересно узнать, о чем он пишет, кого вспоминает.

Фолиант был солидный, но я его прочел очень внимательно. И при встрече вполне искренне сказал автору:

— О, рукопись прекрасная, изумительная, очень интересная, но только... я думал, что — «мы», а оказалось — «я».

— Вы что? — рассердился он. — А вот эту книжку вы читали? Там автор всех перечислил! Она что — лучше?

Он был так искренне огорчен, что мне захотелось его как-то утешить.

— Да, — говорю, — я сам не знаю, что лучше, а что хуже. Но, по крайней мере, человек вспомнил всех.

Он, кажется, тоже сам не знал, что лучше, а что хуже. А я и до сих пор не понял: прав я был тогда или не прав. Что же делать? Перечислять всех родственников, чтобы они не обиделись? Рассказывать биографии своих детей и внуков? Но они, наверное, сами напишут свои книги, когда придет время.

Бывает ведь и так, что дети или внуки больше напишут о предке, чем он сам о себе написал. Всякое бывает.

Растерянность и смятение охватили меня...

И не покидает мысль, что кто-то прочитает эту книжку и скажет с грустью:

— Лёвочка, вот мы с тобой столько лет бок о бок работали, а ты даже не упомянул меня.

Прости, мой друг! Но ведь ты прекрасно знаешь, что я о тебе всегда помню. Я никогда не был неблагодарным человеком. Но что мне делать?!

Какие у меня были партнеры на театрах! Сперантова, Яковлева, Дмитриева, Алферова, Талызина, Татьяна Васильева, Филатов, Волков, Мартынюк, Каневский, Лакирев, Сайфулин... Ведь если я только перечислю всех, нужна будет еще одна книжка.

А в кино? С кем только не снимался! С великим Смоктуновским, Джигарханяном, Куравлевым, с Поладом Бюль-Бюль оглы в картине «Не бойся, я с тобой», которая принесла нам большую известность.

И опять — не перечислить всех имен. А ведь были и есть потрясающие актеры, имена которых не столь известны, но они тоже вошли в мою жизнь, в мою биографию. И они ко мне относились и относятся так роскошно, так прекрасно, как и я к ним. И я их всегда любил и буду любить.

И это вот моя главная беда: не дай бог, думаю, кто-то прочтет и обидится, что я его забыл. Да господи, не забыл! Я вас всех помню и люблю! И вы знаете об этом...

А с какими режиссерами выпало работать! Эфрос, Туманишвили, Михаил Ромм, Иосиф Райхельгауз...

А директора театров! Взять хотя бы директора Театра на Малой Бронной Илью Ароновича Когана, с которым мы поработали вместе много-много лет! Мы с ним, можно сказать, не один пуд соли съели.

Вспоминаю такой случай. Я улетал ставить спектакль в ГДР, а он — отдыхать в Ялту. И вот накануне отлета, ночью, звоню ему домой:

— Илья Аронович, я вас, наверное, разбудил...

— Ничего страшного.

— Я забыл с вами попрощаться.

— Всего доброго. Уверен, что в ГДР у вас все будет прекрасно.

— Спасибо. Счастливого вам отдыха.

— Да какой отдых, — отвечает. — Вас не будет — уже скука. И еще сухой закон ввели, а у меня и для друзей, и для гостей всего одна бутылка на целый месяц.

— Елену Сергеевну, — спрашиваю, — тоже разбудил?

— Ничего. До встречи.

Утром они прилетают в Симферополь, а я встречаю их у трапа с букетом цветов и бутылкой. У них глаза стали квадратные.

— Что это?

— Да вот, — говорю, — прилетел извиниться за ночной звонок. И сейчас же улетаю обратно. — И побежал к самолету.

— Дуров! — закричала на весь аэропорт Елена Сергеевна. — Вы сумасшедший!

А все дело в том, что я прилетел на один день на съемки фильма «Человек с бульвара Капуцинов». И мой рейс был на два часа раньше их рейса.

А они, кажется, и в самом деле поверили, что я прилетел извиниться.

О многих и о многом хотелось бы рассказать, но ведь нельзя объять необъятное! Беда с этими мемуарами. Потому, наверное, я и придумал такой подзаголовок для своей книги: «Грешные записки». Все равно ведь перед кем-нибудь да останешься грешным, виноватым: кто-то обидится, кто-то пожмет плечами, а кто-то, может, и выругается. Черт его знает! Ведь всем не угодишь.

Вот беда, беда, беда...

И чтобы не усугублять свои грехи, я не стал даже украшать концовку книги какой-нибудь изящной литературной сентенцией. Все равно бы это у меня не получилось. Поэтому я просто попросил своего хорошего друга Володю Качана, прекрасного артиста и отличного литератора, подарить мне вместо послесловия его изумительный очерк, который в свое время был напечатан в журнале «Вагант-Москва». Володя отказать мне не мог.

А я, завершая книгу, могу только напомнить о том, с чего и начал: «Не зазрите моему окаянству.. писал бо не ангел Божий, но человек грешен...»

На то они и «Грешные записки». Вот так.

P.S. Ах, окаянство!

Отложил было уже готовую рукопись в сторону, вздохнул с облегчением и...

А про близких-то, про родных ничего не написал:

ни про жену,

ни про дочь,

ни про внуков,

ни про сестер,

ни про шуринов,

даже про зятя!

Ужо будет мне! Да нет, не будет. Простят. Ведь они знают, как я их всех люблю. И уповаю лишь на то, что они сами со временем напишут о себе, а я с удовольствием их почитаю.

Владимир Качан
PERPETUUM MOBILE,
или **ПОРТРЕТ Л.ДУРОВА**
В ИНТЕРЬЕРЕ НАШЕЙ ЖИЗНИ

МАСЛО. ЕЛЕЙ
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Тот, кто сказал, что вечный двигатель невозможен, плохо знаком или вовсе не знаком с артистом Львом Дуровым. Я сознательно не упоминаю здесь его регалий и званий по двум причинам. Первая — это то, что он для меня, как ни странно, просто Лёвка, причем чуть ли не со второй недели знакомства, и разница в возрасте и положении тогда этому ничуть не помешала. А знаю я его давно: без малого двадцать лет. Вторая причина — это то, что звания у нас раньше шли по восходящей: то есть заслуженный артист РСФСР, затем народный артист того же образования... и он все эти этапы честно прошел. Потом звания «поехали» наоборот, по нисходящей: те, кто был народными СССР, опять стали народными России. И хотя некоторые титулованные артисты и требуют, чтобы их представляли не иначе как народными артистами СССР, — это уже скорее похоже на акт политический, нежели тщеславный, то есть они так тихо, но твердо протестуют против развала СССР. Дурову же это — просто по барабану. Это свойство характера, вернее, одна из самых обаятельных черт его характера. Груз его регалий на него, мягко говоря, не давит.

Редко кто называет его Лев Константинович, разве что его студенты, да и те через месяц норовят перейти на «ты». Впрочем, согласитесь, трудно вечному двигателю ходить плавно и величаво и называть себя медленно и долго: Лев Константинович. Лёвка, да и всё тут. Это вовсе не унижает его, я бы сказал больше — это ему идет. Он мобилен, легок, не трясет жировыми складками своих вкладов в русскую культуру — у него этого целлюлита вообще нет, это ему мешает двигаться, потому он это просто выкинул, как выкидывает все, что мешает ему двигаться. А как же еще вечному двигателю? Потому, заканчивая про нисходящие звания, скажу: он достиг сегодня звания высочайшего — просто артист. Сегодня вполне достаточ-

но в любом концерте объявить: «Лев Дуров!», без всяких званий, — услышите, что будет. Это уже элита, спецназ актерской армии. Имя — и только.

Кстати, это и Высоцкого касается. Ведь так и ушел из жизни без звания. Никакого. Представляете?! Даже заслуженного деятеля искусств не получил! Горюшко-то какое! А если серьезно, то — что Высоцкому тогда, что Дурову сейчас при нарушении каких-нибудь правил уличного движения стоило только высунуть голову из машины, как постовой начинал улыбаться и все заранее прощать — за автограф или контрамарку в театр. Причем что в том, что в другом случае это была не просто дань популярности — это было еще и уважение, а в случае с Дуровым — полный разрыв дистанции: какие там звания или знакомства накоротке с самыми влиятельными людьми страны, что вы! Он прост и весел, и гаишники отвечают ему тем же. Кстати, дуровское автомобилевожение — безусловно, следствие его темперамента и заслуживает отдельного рассказа.

Если кто-то заводится с пол-оборота и уже считается темпераментным, то Дуров заводится с намека на оборот. Вот так он и ездит. Человек, сидящий рядом с водительским креслом Дурова, может всю дорогу впечатлениями не делиться, но в конце поездки он будет чувствовать себя каскадером, которому в этот раз здорово повезло. Адреналин сопровождает Дурова. Им, вечным двигателям, без него никак. Поэтому на машине своей он периодически стучается, а через месяц эксплуатации она становится похожей на грязную мыльницу, в которую ненароком попала авиабомба. У него их и не крадут. Потому что — а на фига такое красть?.. Его машина выглядит как вызов общественному мнению, как старые линялые джинсы на вручении отечественной кинопремии «Ника», где все вокруг в смокингах и «кисах». Однако Дуров как никто другой в джинсах на «Нике» смотрелся бы, они бы ему пошли, как идет ему и его машина. Он часто ставит ее в неподобающем месте и, поскольку она не может не оскорблять взгляда работников ГАИ, — оставляет им на ветровом стекле записку шуточного содержания, подписывается «Лев Дуров», возвращается, видит там же оставленную ему от ГАИ записку, тоже с попыткой пошутить. Так и переписывается с ГАИ — через ветровое стекло.

Был у меня юбилей вместе с бенефисом в театре «Школа современной пьесы». Сначала мы быстренько, без антракта, сыграли спектакль «А чой-то ты во фраке?», потом был антракт, потом меня с семьей посадили в ложу, и начался то ли концерт, то ли капустник,

а я, как юбиляр и зритель, этому внимал. Надо сказать, с удовольствием, так как там выступали и Арканов, и Горин, и Кикабидзе, и Шифрин, и Задорнов, и Шендерович, и Дима Харатьян, и Марк Розовский, и Юрий Ряшенцев, в общем — сильный был концерт.

Но первым вышел Лев Дуров с моим бессменным соавтором по капустникам в Театре на Малой Бронной Герой Мартынюком. И Дуров начал:

— Тут, — говорит, — за кулисами стоит куча насильно пригнанных друзей. — Дурову свойственно всякий раз снижать пафос происходящего, он это называет «опустящить». Он имеет на это полное право, так как этот прием чаще всего употребляет по отношению к себе. — Так вот, — говорит, — наш театр, — Театр на Малой Бронной, — всегда славился двумя вещами: во-первых, продолжительностью спектаклей, — тут он повесил ненавязчивую паузу, словно подыскивая слова и давая залу возможность вспомнить, что «Идиот» шел три вечера подряд. Пауза была грамотная, что и говорить, в конце ее в зале стал нарастать хохот, на который Дуров и внимания-то не обратил, — и во-вторых, обилием литераторов и поэтов. Два лучших — перед вами.

Все говорилось очень серьезно и даже якобы с волнением литератора, который сейчас впервые обнародует новое произведение. Он объявил Геру, который прочел свой стишок. Потом Гера тоже объявил:

— Поэт Лев Дуров.

И, вроде бы трепеща, Дуров прочел следующее лирическое четверостишие:

Холодная весна, ну так и что ж.
Не горбись, как старик, а прыгай, как мальчишка.
И не забудь, конечно, про любовь.
У Качана есть тоже кочерыжка.

Ключевое слово «кочерыжка» Дуров произнес про себя, грустно и слегка стесняясь. Хохот был страшный, хотя если бы все это произнес кто-нибудь другой — не вышло бы. Рифма «что ж» — «любовь» вызывает у меня некоторое сомнение, так безнаказанно рифмовать мог только Дуров, да и реприза про кочерыжку тоже носила несколько, как бы сказать, гривуазный характер, но повторяю: то, как он это делает, компенсирует все. Впрочем, я тут занимаюсь совсем глупым делом: пытаюсь на бумаге описать актерские финты Дурова. Нельзя этого делать — идите в театр и посмотрите сами.

Это его «опустышивание», временами эпатаж, конечно же, родом из Лефортова, из его почти блатного детства. Когда он про это детство рассказывает, я начинаю понимать, что все случилось вопреки. Биография сделала какой-то странный зигзаг, и вместо того, чтобы стать лидером лефортовской братвы (у всех нормальных блатных — по одной кличке, у Дурова было целых три: Швейк, Седой и Артист; естественно, одной ему было мало), вместо того, чтобы иметь за плечами минимум три ходки, а на ноге — татуировку типа «750 дней без женской ласки», — вместо всего этого он, поменяв положение пахана на авторитет просто папы девочки Кати, стал любимцем миллионов зрителей и порядочным семьянином.

Я мало видел людей, которые бы так, как он, обожали дом, жену, детей, потом внуков. Он им предан. Он говорит, что любовь — это работа, это обязанность, работа, если хотите. Дуровский клан, за которым я наблюдаю с удовольствием, — это такой монолит, по сравнению с которым любой сицилийский клан выглядит столь же прочным, как куча дохлых медуз, выброшенных на берег вчера при температуре плюс сорок градусов.

Однако привнесенное из детства озорство и даже хулиганство — всегда при нем. Один из любимых спектаклей в моей жизни — «А все-таки она вертится», который поставил Дуров. Я там играл директора школы. Там приглашенные ребята из детдома в прологе играли в футбол. Минут десять. А среди них шустро крутился народный артист СССР, который совершенно очевидно забывал, что в зале давно сидят зрители, и был поглощен только мячом (это объяснимо, потому что он в юности очень увлекался футболом и тогдашними футбольными успехами дорожит чуть ли не больше, чем, допустим, ролью в фильме «Не бойся, я с тобой»). Удовольствие получал и он, и зрители, видевшие Дурова в этом качестве.

А несколько ранее, когда меня только пригласили в Театр на Малой Бронной и я стал для знакомства смотреть их спектакли, первым делом пришел, естественно, на классический эфросовский спектакль «Женитьба». С женой пришел, все как полагается, чтобы все как у людей было... Мы чинно уселись в третий ряд. Спектакль был в самом разгаре, когда еще лично не очень знакомый, но очень почитаемый мною артист Дуров ослабил меня на весь зал. Когда там речь зашла о фамилии Яичница, Дуров, игравший, как известно, Жевакина, говорит: «Однако, престранные фамилии иногда бывают, — перечисляет: такая-то, такая-то и в конце: — Качан, например». И в упор посмотрел в третий ряд. Гоголь этого текста не писал. А мне чуть дурно

не стало. Но позднее я понял, что Дурова без этого просто нет: где имеется малейшая возможность пошалить и похулиганить, Дуров тут как тут. Розыгрыш — его стихия.

Он как-то на улице встретил артиста Бориса Химичева и полчаса ему очень серьезно объяснял, что затеял издание нового журнала о кино и театре, и просил Химичева войти в редколлегию. Он объяснял концепцию нового журнала, описывал обложку, называл авторов, которые уже согласились участвовать в его работе. И наконец, когда Химичев уже был готов, только не знал, как задать решающий вопрос: «Сколько будут платить?», и задал пока другой: «А как будет называться журнал?» — Дуров небрежно ответил: «Звезды и п..ды». Борис потом сетовал, что битый час позволял себя так дурачить.

Он всегда говорит, что человек маленького роста — победитель. Должно быть, это справедливо, ибо как-то нужно компенсировать то, чего недоделала природа. Чем можно победить красивых и высоких? Только талантом и умением работать. И еще — совершать поступки, которые, собственно, и отличают мужчину от не совсем мужчины. Ну кто еще, скажите, едва выкарабкавшись из тяжелейшего инсульта, через месяц поедет на съемки, потому что группа, видите ли, простаивает без него? А еще месяцем позже уже опять будет играть рискованную для себя роль Санчо, чтобы театр больше не отменял спектакли? Да почти никто — большинство себя побережет.

Даже первые дни болезни он лежит, дергаясь. Поминутно пытается вскочить и чего-нибудь изобразить, чем создает домашним дополнительные хлопоты и заставляет тренировать бдительность. Вечный двигатель — чего там... «Ума-то нету», — как говорил его товарищ по фильму «Не послать ли нам... гонца?» Михаил Евдокимов.

Если бы мне предложили определить его амплу, я бы ради Дурова изобрел что-то новенькое, я бы сказал, что он — драматический клоун. То есть в себе сочетает качества и белого, и рыжего клоунов. Счастливец и Несчастливцев. Смешной, злой, вредный, всегда победитель — с одной стороны. И смешной (казалось бы!), однако вызывающий жалость и сострадание — с другой. Вот как его Жевакин в той же «Женитьбе». У вас отчего-то сжимается сердце, когда он в смешной ситуации говорит смешные слова. Он может быть и тем, и тем. Но — клоуном. И в этом ничего низкого, наоборот, это высший пилотаж в актерской профессии — не стесняться быть клоуном и одинаково сильно владеть и трагическим, и комическим. Только не очень далекие люди, которых распирает от собственной значимости, произносят это слово с оттенком пренебрежения, например говорят:

«А что тут делает этот клоун?» Нет, клоун — это *очень* хорошо! Вот Феллини, например, чрезвычайно уважал клоунов. Он говорил: «Заставлять людей смеяться мне казалось всегда самым привилегированным из всех призваний, почти как призвание святого». И едва ли не во всех его фильмах есть клоуны.

Пару лет назад в санатории «Актер» в Сочи (там, к слову, фантазию особенно не напрягают, там и санаторий — «Актер», и ресторан на территории — «Актер», и все прочее — «Актер») в столовой я увидел меню, в котором было одно блюдо с названием «котлета рубленая “Актер”». Это уже не блюдо — это участь. Что напрямую относится к актеру Дурову. Рубленая-перерубленная котлета. Это участь, это доля, некоторые говорят — диагноз.

Но — и счастье, которое посещает иногда в этой профессии. Бывают в ней, знаете ли, минуты, нет, даже секунды, когда ты вместе с твоим залом поднимаешься над злобой дня и у вас у всех становятся одинаковые глаза. Как вы становитесь добры, умны и великодушны, как вы благородны сейчас! И вот тот молодой человек в пятом ряду пойдет сегодня и вдруг напишет письмо маме, которой не писал полгода. Кто-то именно сегодня не повысит голос на жену или сына (ну не захочется отчего-то). Ты что-то сделал сегодня на сцене такое, что его остановит. Вот ради этих мгновений, наверное, мы и живем в профессии. Дурову они удавались чаще других, потому он и счастливый человек.

География его звания (народный артист СССР) формально сузилась до размеров России, а фактически — расширилась. Потому что он по-прежнему народный артист и Белоруссии, и Украины, и Казахстана, и Прибалтики, и Израиля, и США, и всех других стран, где любят и помнят артиста Дурова, драматического клоуна, хулигана, анекдотчика, своего в доску мужика для всех слоев населения, а потому — абсолютно *народного* артиста. Иногда, право, хочется сказать комплименты прямо в лицо, а то мы вечно делаем это за гробовой доской. Скорбно бубним: «От нас ушел замечательный артист». Нет, слава богу, можно сказать: «Среди нас *живет* замечательный артист». Будьте к нему повнимательнее, чаще говорите ему, что вы его любите, ничего, ничего, не стесняйтесь, это *прижизненно* согревает сердце адресату ваших похвал.

Когда ему было пятьдесят, он притащил в театр свой большущий портрет, написанный кем-то в стиле портретной живописи XIX века. Там Дуров в позе графа Нессельроде (на его портретах) сидел и пристально в нас вглядывался. Мы выставили, по предложению Дурова,

этот портрет перед входом в зрительный зал и, чтобы «опустяшить» (опять же!) помпезность позы и содержания, поместили внизу табличку с надписью: «Неизвестный художник XIX века. Портрет Дурова. Масло, 3 р. 60 к. — 1 кг». А поэт Ряшенцев и я сочинили романс, в конце которого было пожелание, «чтоб на вопрос: ну как делишки, Лёва? — ты б никогда не мог сказать... что плохо».

Вот, думаю, всем не хватает счастья. Кому больше, кому меньше, кто считает, что у него вообще счастья нет. А многие даже не знают, что это такое, и принимают за счастье «чувство глубокого удовлетворения» (по Брежневу). Но, может быть, его и не должно быть много? Семья, любимое дело и, наконец, это великолепное умение — заставлять людей смеяться... И быть среди них своим, близким... Может, больше и не надо ничего?.. Нет! Нехорошо! Одиноко как-то быть единственным вечным двигателем. Продолжим эту нехитрую метафору и добавим: вечным двигателем внутреннего сгорания, потому что так, как палит себя Дуров, — никто не умеет, да и конструктор этого вечного двигателя тоже один — изобрел самого себя в одном экземпляре... Хотя, правда, вот еще внук Ваня подрастает... Подает надежды... Так что посмотрим... Посмотрим...

Владимир Ершов
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
ЕЩЕ ОДНО ПОСЛЕСЛОВИЕ

Хочется отойти подальше, посмотреть беспристрастно, оценить как следует и остаться объективным и уважаемым. Не суждено. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Никуда нам не отойти, вечно глядеть в упор, как на фронте, и остаться навсегда крайне субъективными, потому что мы — это семья: жена Ира, дочь Катя, зять Вова, внучка Катя и внук Ваня. Поэтому не будет теорий, анализа, оценок и трудов — как не совместимых с объектом рассмотрения — главой этого тейпа — Львом. Дуровым. Кстати, здесь никому не придут в голову слова «отец», «папа», «супруг», «муж», «дорогой тесть», «уважаемый нар. артист СССР» и т.п. — только Дед и его производные: Дедака, Дедачка, Дедище, Дедушочек (внучкино) и почему-то Дед-Сад.

Это не семейное, старожилы вспоминают, что таким он и родился: лысый, мудрый, небольшой, загорелый, врун (читай — артист) и все время орущий на недостатки. И зовут его Дедом все классы общества. Дед и Дед — мы привыкли, а страна, оказывается, чуть раньше.

Хуже всего дело обстоит с идентификацией. Внук Ваня искренне не понимает: если Дед в послевоенном детстве случайно девятнадцать раз избежал тюрьмы, то почему внуку запрещается разок подраться на матче Спартак — ЦСКА?

С идентификацией понятий «экранно-сценический образ» и «образ Дедушки в тапочках» совсем становится худо, когда Дед-Сад куда-то уезжает, а уезжает он в среднем через день. После его отъезда провожающим постельный режим уже не поможет. И никакой реанимационный — тоже. Никогда (мы не шутим!) во время отъезда Дедище не может найти: а) ключи от дома; б) билет на самолет; в) бумажник; г) удостоверение личности; д) то, что он должен кому-то от кого-то передать; е, ж) другие необходимые вещи.

Длится катаклизм, как всякое землетрясение, недолго, но последствия всегда разрушительны. Правда, имеется плюс. Всякий раз сле-

дует звонок оттуда, где он уже благополучно приземлился. Оказывается: а) он все упаковал заранее; б) летел без билета, потому что его узнали в аэропорту; в) а билет лежит на кухне на хлебнице; г) а погода там чудесная; д) а люди там вообще прекрасные; ж) и «фруктов я вам, засранцам, привезу любых!» И так всегда. Но это большой секрет.

Никогда не находило и активно не находит и сейчас понимания у семьи маниакальное желание Деда превратить нашу дачу в концентрационный лагерь. Товарищи! Если бы ему (Дурову Л.К.) дать волю, сценарий этого триллера был бы такой:

«Похоже, рассвет. Солнца нет. Пять часов утра. На крыльце Дуров в трусах и с рупором. Камера перемещается на грядки, где вся семья в поту и сомбреро собирает кофе. На заднем плане поэт-бард В. Качан поет некролог: “Кавалергарда век недолог...” Песня обрывается. В полной тишине жена Дурова Ирина с энтузиастической улыбкой моет пол. Песня возобновляется: жена Качана поет песню Качана (который тут же шьет рабочим рукавицы), она поет и красит железный занавес-забор. Титры на экране: “Дачник! Забор — твоя защита от местных козлов!” Кот Михаил на задних лапах носит деду выпить. Качан в это время с гостями Дурова (Гусман, Арканов, Якубович и др.) разгружают КамАЗ дров. На фоне КамАЗа песня пьяных революционеров в исполнении зятя Вовы: “В глубоких рудниках металла звон. Из камня золото течет...” На фоне песни — топор, дрова, пот и т.д. Крупно: “Дуров улыбается”. Еще крупнее: “Это еще не КОНЕЦ”».

Так вот, это — если дать Деду волю. Но мы хитрее и нас больше, поэтому на фоне благоустройства мы уже лет пятнадцать умудряемся хотя бы отоспаться.

Дед — барахольщик. Он любит какие-то дурацкие вещицы, которыми завалена квартира. И не дай бог попытаться что-то выбросить! Потом понимаешь, что это не самодурство, а нежелание объяснять очевидные для него вещи: что кроссовки из Англии 1973 года и рваный свитер с «Таганки» — это история нашего национального театра, так же как разбитая шайба Третьяка — та же история, а жизнь не упирается только в театр, кино или магазин... И рыпаться тут некуда. Он прав.

Дед как кроссворд, где вопросы просты, а ответы неожиданны, как анекдоты. Он сводит вертикаль с горизонталью: Мечты и жизнь. Власть и искусство. Вечность и человек. Религия и я. И т.д. И знаете, кажется, он сведет концы с концами.

В семье никакого паритета быть не может — просто по определению любого клана или стаи. Есть главный — и остальные. И всё. Хочется незлобно и тихонько заявить: «Может». Только в одном случае, единственном: когда ГЛАВНОГО уважают остальные и главный уважает ОСТАЛЬНЫХ. И вот тогда рождается любовь взрослых людей. Из уважения, а не от внешних почестей.

Будь здоров, Дед!

Будь здоров всякий!

Твои.
Лично каждый.

СОДЕРЖАНИЕ

5	Вас предупреждали!
8	Лефортово
44	На сцене и за кулисами
139	О времени и о себе
165	Лица друзей
207	Пестрые истории
266	Моя барахолка
288	«Не зазрите моему окаянству»
292	<i>Владимир Кочан</i> Regretium mobile, или Портрет Л.Дурова в интерьере нашей жизни
299	<i>Владимир Ершов</i> Взгляд изнутри

Литературно-художественное издание
Мой 20 век

Дуров Лев Константинович
Смешная грустная жизнь

РЕДАКТОР

В.П.Кочетов

МЛ. РЕДАКТОР

Д.В.Савиных

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

С.А.Виноградова

ТЕХНОЛОГ

С.С.Басипова

ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ

М.Е.Басипова

ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ

ПЕРЕПЛЕТА И БЛОКА ИЛЛЮСТРАЦИЙ

П.В.Мурзин

КОРРЕКТОРЫ

Л.М.Кочетова, Н.В.Семенова

Подписано в печать 10.04.2008

Формат 60x90/16

Тираж 5 000 экз.

Заказ № 4312

ЗАО «Вагриус»

107150, Москва, ул. Ивантеевская, д. 4, корп. 1

Электронная почта:

vagrius@vagrius.com

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

В СЕРИИ

*Мой 20
век*

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

Вирджиния Вулф

ДНЕВНИКИ

Марк Галлай

ИСПЫТАНО В НЕБЕ

Голда Меир

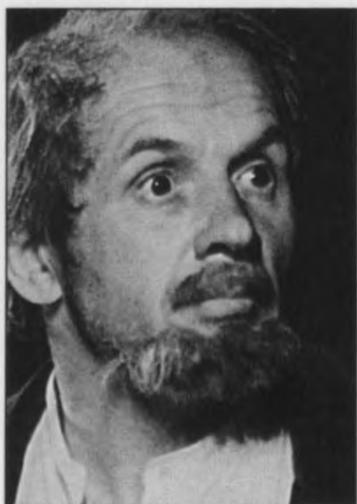
МОЯ ЖИЗНЬ

Корней Чуковский

ДНЕВНИК

Лев Дуров

Смешная грустная ЖИЗНЬ



ISBN 978-5-9697-0661-3



ВАГРИУС



9 785969 706613